АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ—АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1976

СОДЕРЖАНИЕ

Некоторые задачи советского языкознания 3
В. Н. Ярцева (Москва). Типология языков и проблема универсалий . . 6

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. Вашек (Брно). Лингвистическая карпатология 17
Н. Д. Арутюнова (Москва). Референция имени и структура предложения 24
В. М. Никитевич (Алма-Ата). О деривационной системности и предмете деривационной грамматики 36
О. А. Крылова (Москва). Детерминанты в аспекте коммуникативного синтаксиса 43
И. Г. Торсуева (Москва). Теория высказывания и интонация 53
И. П. Распопов (Воронеж). Что же такое структурная схема предложения? 65
А. С. Львов (Москва). Праславянский слой старославянской лексики . . 71

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. Я. Мыркин (Архангельск). Текст, подтекст и контекст 86
К. И. Логачев (Ленинград). О языке и тексте оригиналов древнейших славянских переводов 94
З. Д. Попова (Воронеж). К вопросу о греческом влиянии на падежную и предложно-падежную систему старославянского и древнерусского языков 99
Ю. И. Чайкина (Череповец). Из истории диалектных границ в связи с заселением Северной Руси 106
С. Ш. Джамантаева (Алма-Ата). Морфологическая характеристика глагольной словоформы в казахском языке 120

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Ю. С. Маслов (Ленинград). *S.-G. Andersson.* Aktionalität im Deutschen . . 126
Г. П. Князькова, О. Д. Кузнецова (Ленинград). *А. Граннес.* Просторечные и диалектные элементы в языке русской комедии XVIII в. . . 129
У. Ш. Дондуков, Л. Д. Шагдаров (Улан-Удэ). *Т. А. Бертагаев.* Лексика современных монгольских литературных языков 134
В. Л. Воронцова (Москва). «Суффиксальное словообразование существительных в восточнославянских языках XV—XVII вв.» 137
А. К. Курышжанов (Алма-Ата). «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі». . 140
М. К. Сабанеева, Г. М. Щерба (Ленинград). *Н. А. Шигаревская.* История французского языка 143
М. М. Маковский (Москва). *Г. С. Щур.* Теории поля в лингвистике . . 146
Ф. М. Березин (Москва). По страницам новых журналов 150

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 153

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 103031 Москва, К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука»,
«Вопросы языкознания», 1976 г.

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Весь советский народ с большим воодушевлением встретил XXV Съезд Коммунистической партии нашей страны. Рабочие и колхозники, инженеры и техники, ученые и писатели, все деятели культуры ознаменовали это историческое событие успехами в своем труде, достижениями в самых различных областях нашей жизни и нашего творчества. Советские языковеды тоже включились в это общее всенародное движение и своим трудом стремятся дальше развивать науку о природе и об особенностях языка, о закономерностях развития и функционирования многочисленных языков нашей страны, языков всех народов земного шара.

Как известно, языкознание является общественной наукой. Весь комплекс общественных наук высоко ценится у нас. В конце прошлого года в редакционной статье «Высокая роль обществознания», помещенной в журнале «Коммунист», справедливо отмечалось: «Коренные экономические и социальные изменения в жизни народов СССР обусловили значительные сдвиги в языковом и культурном развитии, потребовали развертывания большой лингвистической работы. Огромным вкладом языкознания в социалистическое строительство явилось создание письменности для более чем 40 отсталых до революции народностей и развитие их языков. Достижения теоретического и практического языкознания в 30—40-е годы были тесно связаны с трудами академиков И. И. Мещанинова, В. В. Виноградова» [1]. В настоящее время перед советскими лингвистами стоит задача дальнейшей разработки теории национальных языков как в общем плане, так и применительно к языкам многочисленных народов СССР. О размере и размахе подобного исследования напоминает сама цифра — сто тридцать языков народов и народностей, населяющих нашу страну. Возникает важная задача изучения взаимодействия между разными языками.

Следует особо отметить роль русского языка среди этих ста тридцати равноправных языков. С помощью русского языка осетины понимают узбеков, эстонцы — молдаван, литовцы — грузин и т. д. Каждый народ, населяющий нашу страну, владея своим родным языком, стремится изучить и русский как язык межнационального общения, как язык Пушкина и Толстого, Герцена и Чернышевского, Плеханова и Ленина. И лингвисты обязаны помочь всем нашим гражданам в их стремлении усвоить и родной язык, и язык межнационального общения.

Все языки человечества развиваются по исторически обусловленным, объективным законам, которые не исключают, а предполагают воздействие отдельных людей на их развитие, их литературную норму, многообразие и обогащение их стилей. Сами люди в состоянии совершенствовать выра-

---

[1] «Коммунист», 1975, 13, стр. 30.

зительные возможности своих родных языков. Этим определяется огромное значение языкового планирования — проблемы, которая сейчас усиленно стала изучаться во всем мире. Эта проблема приобретает особое значение в многонациональной стране. Для подобного планирования у нас созданы прекрасные условия. И перед лингвистами, как и перед писателями, здесь открывается широкая сфера деятельности.

Мы живем в эпоху научно-технической революции, которая оказывает воздействие на самые разнообразные сферы нашей жизни и нашей работы. И язык не является исключением. Под влиянием научно-технической революции ускоряются темпы развития языка, прежде всего лексики, создается весьма обширная специальная терминология, меняется соотношение между общелитературным языком и стилем научного изложения, язык быстро пополняется новыми словами, словосочетаниями, специальными выражениями, новыми стилистическими построениями, осложняется само понятие разных стилей литературного языка. И все это должно быть тщательно изучено и осмыслено.

Институт русского языка АН СССР приступил к созданию «Словаря языка сочинений В. И. Ленина». Этот коллективный труд будет иметь огромное значение для дальнейшего изучения русского литературного языка. Он отразит большое влияние, которое оказал язык В. И. Ленина не только на язык его эпохи, но и на последующую историю русского литературного языка, на языки других народов мира. Животворное воздействие языка Ленина продолжается и в наше время и будет продолжаться. Здесь возникает множество не только теоретических, но и практических вопросов, связанных с общей культурой языка. Хорошо известно, что В. И. Ленин умел писать и строго научно и одновременно доступно для широких масс трудящихся, прекрасно использовал нужные иностранные слова и в то же время призывал бороться против злоупотребления ими. Вот к этому умению сочетать строгую научность изложения с общедоступностью самого изложения следует стремиться нашим ученым — представителям как общественных, так и естественных, технических наук. Здесь тоже возникает целый ряд проблем, подлежащих исследованию. В широком смысле вопросы культуры языка и речи должны быть в центре внимания всех наших филологов.

Во всем мире, в том числе и у нас, сейчас много внимания уделяется проблеме разработки всевозможных искусственных языков для тех или иных научных и технических целей. Важность усилий в этом направлении безусловна, но следует, однако, строго различать область исследования языков человечества — достояние всей культуры — и область искусственных построений «коммуникативных систем» для ограниченных целей. Проблема «машина и человек», весьма важная в нашу эпоху, не должна, однако, ослаблять внимание к проблеме «человек и человек» во всей ее общественной и духовной сложности.

В лингвистической науке всего мира сейчас ведутся споры о пределах формализации самого языка и его основных категорий в грамматике, фонетике и лексике. Понимая большое значение опытов частичной формализации языка для тех или иных целей, советские лингвисты должны при этом всегда помнить классически ясную и глубокую формулировку К. Маркса: «Форма лишена всякой ценности, если она не есть форма содержания» [2]. Наши лингвисты уже кое-что сделали для обоснования на конкретном материале этого тезиса, но главную работу еще предстоит провести в будущем. Проблема взаимодействия формы и содержания, формы и функции в языке остается важнейшей в материалистической лингвистике наших дней.

---

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., I, стр. 159.

За последние два десятилетия у нас мало изучались традиции русской и советской науки. Между тем новое в науке, в особенности в такой, как языкознание, не может не считаться со старым. Приведем здесь только один пример. Американские ученые считают, что социолингвистика возникла только в 1952 г., когда американские филологи выпустили сборник под таким названием. Между тем в советском языкознании проблемы социологии языка (социальной лингвистики) интенсивно разрабатывались уже с середины двадцатых годов нашего столетия и, особенно, — в тридцатые и сороковые годы (не было лишь термина «социолингвистика», кстати сказать, не вполне удачного).

Разработка новых методов исследования языка — очень важная задача науки. Вместе с тем необходимо различать подлинно новое, действительно помогающее теории и практике, и мнимо новое, которое иногда эффектно подается, но по существу не только не помогает теории и практике, но, напротив, мешает им, затемняет их цели и назначение. К сожалению, подобное «новое» возникало и в советском языкознании, в особенности за последние двадцать лет.

Свыше ста лет тому назад Энгельс в одном из писем к Лассалю говорил о филологии, как о «колоссально-обширной науке». Филология и, в частности, ее важнейшая составная часть — лингвистика, остаются «колоссально-обширными» областями знания и в наше время. Перед советскими языковедами стоит общая ответственная и большая задача: тщательно изучая конкретный материал всех языков мира и достижения мировой лингвистики в разных странах, продолжать строить здание марксистско-ленинской науки о языке. Задача эта трудная, но тем более важная и почетная.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1976

В. Н. ЯРЦЕВА

ТИПОЛОГИЯ ЯЗЫКОВ И ПРОБЛЕМА УНИВЕРСАЛИЙ

Принципы и методы типологического исследования, а также его отличие от других форм анализа языкового материала продолжают оставаться предметом оживленных споров среди лингвистов. Часто типологическое исследование языка сводят к сопоставительно-типологическому изучению языков мира, не взирая на то, что это последнее может иметь свое собственное направление и цели. Неоднократно высказывалось мнение, что только неродственные между собой языки могут служить материалом для типологического исследования [1]. Однако, с нашей точки зрения, наличие или отсутствие генетического родства у привлекаемых языков не существенно, так как проблемы и методы синхронного типологического анализа в равной мере актуальны как для языков, генетически между собой не связанных, так и для языков, входящих в одну и ту же генетическую группу. Несомненно, что при типологическом сравнении родственных языков многие конструкции покажутся сходными и как бы «накладываемыми» одна на другую. Однако внешне совпадающие структуры в функциональном плане часто бывают очень далекими, что прежде всего зависит от особенностей той микросистемы, в которую включена данная структурная единица и от тех корреляций, которые устанавливаются между ней и элементами ее окружения. Поэтому учет системных связей элементов языковой структуры и форм иерархической соподчиненности микросистем должен быть составной частью типологического исследования языков.

Системный анализ фактов языка предполагает их сравнение в целях отождествления или нахождения суммы различительных признаков. Процедура противопоставления сравниваемых элементов сводится к выявлению у них большего или меньшего количества несходных признаков на фоне одного общего признака, служащего основанием для конституирования данного ряда. Противопоставление всегда в той или иной мере присутствует при сравнении любых двух величин. Когда форма им./вин. падежа *дом* сравнивается с формой дат. падежа *дому*, то одновременно происходит и противопоставление этих форм. Поэтому противопоставленность элементов в системе языка является одновременно и формой их связи. Хотя принципы противопоставленности в общей форме могут быть сформулированы как универсальные, именно их конкретное претворение на разных уровнях структуры языка помогает понять специфику того или иного структурного ряда. Следовательно для выявления объективно существующих противопоставлений между элементами языка необходимо тщательное изучение свойств и признаков этих элементов. Иными словами, природа сопоставляемых объектов лингвистического анализа, их вариативность и их соотносительная частотность определяют характер их отношений в той же мере, как и позиция, занимаемая каждым из них в системе языка.

При осуществлении лингвистического анализа полезно различать противопоставленность членов изолированного бинома и противопоставлен-

[1] Э. А. Макаев. Соотношение сравнительной, сопоставительной и типологической грамматики, ВЯ, 1964, 1.

ность членов данной пары в целостной системе. Хотя и более сложный по методике своего осуществления, именно этот последний путь лингвистической интерпретации наиболее продуктивен при анализе грамматических структур. В развитие этого положения следует сказать, что существует не только противопоставленность двух элементов — одного по отношению к другому, но и противопоставленность одного элемента общему целому, частью которого является этот элемент. В последнем случае емкость самой системы, в которую включен данный элемент, может быть весьма различной.

При типологическом сопоставлении языков последнее соображение должно приниматься во внимание, когда лингвист имеет дело со сходными приемами передачи грамматических значений. Представители младограмматического направления в языкознании выделили ряд процедур, с помощью которых выражаются в языках мира различные грамматические значения [2].

Типологическое исследование, безусловно, должно основываться на достаточно обширном и разнообразном языковом материале для гарантии того, что все возможные и существующие в языках структуры действительно выявлены и учтены. Разнообразие привлекаемых языков создает уверенность в правильности устанавливаемых типологических параметров. Однако языки отличаются один от другого не самими грамматическими приемами, а характером их использования, степенью их соотносительной продуктивности, их распределением по лексико-грамматическим разрядам со свойственными этим последним грамматическими категориями. Поэтому оценка тех или иных формальных процедур с функциональной точки зрения обязательна для типологических исследований.

Анализ формы слова является важным этапом при типологическом изучении языков. Для каждого языка существует ограниченное количество типичных моделей строения слова. Морфологическое членение слова возможно лишь при существовании в языке других слов, структурно соотносимых между собой хотя бы по одному элементу, входящему в их состав. Следовательно, при анализе морфемного состава слова большое значение имеет оценка группировки слов по различным рядам. Под «рядом» следует подразумевать любое объединение словесных единиц языка сообразно тому или иному структурному признаку. Емкость этих рядов, их устойчивость, количество и важность их разных типов в каждом отдельном языке могут быть очень различными. Одна и та же словесная единица может одновременно входить в разные ряды в зависимости от признака, положенного в основу организации данного ряда. С нашей точки зрения, «ряд» включает те явления, которые традиционно рассматриваются грамматистами на парадигматической и, отчасти, на синтагматической оси. Синтаксическая парадигма («парадигма словосочетания», «парадигма предложения»), в равной мере как и парадигма морфологическая, основанная на принципе чередования переменных элементов, для анализа языков различной типологической принадлежности имеет меньше значения, чем тип строения слова. Синтаксическая типология коррелятивна типологии морфологической, хотя, разумеется, для классификации языков правомерно использовать ту или иную сторону языковой структуры. Еще в конце XIX в. при пристальном анализе языков аналитического склада была установлена зависимость синтаксических построений от характера строения слова [3].

---

[2] Г. Паульь. Принципы истории языка, М., 1960, стр. 145—146.

[3] R. H. Robins, General linguistics. An introductory survey, London, 1964, стр. 331—335.

Перенос центра тяжести на синтаксис в случае бедности морфологических форм для языков аналитического или изолирующего типов стал почти хрестоматийной иллюстрацией соотносительности двух разделов грамматики [4]. Однако понятие позиции и функции элементов языка важно не только для языков указанных типов, но и во всех случаях типологического исследования. Поэтому мы разделяем мнение тех лингвистов, которые придают большое значение при лингвистическом анализе понятиям позиции и функции. В. М. Солнцев пишет: «Понятие *позиция* крайне важно как для характеристики роли элемента в синтагматической цепи, так и для характеристики элемента как члена той или иной парадигмы.

Определение позиции элемента и установление тождественности позиций в разных предложениях при кажущейся самоочевидности этого понятия в действительности сопряжены с большими трудностями. Объясняется это тем, что понятие позиции несводимо к порядковому номеру элемента в конкретном отрезке цепи и поэтому в речевой цепи невозможно установить фиксированную точку начала отсчета позиций.

Понятие позиции элемента неразрывно связано с понятием *функция элемента* и его отношений с другими элементами. *Тождественность* позиций связывается с тождественностью функций. И наоборот, *различие* позиций обусловлено различием функций элементов» [5]. Содержание в языке манифестируется через форму. В целях передачи необходимого содержания говорящий употребляет формы, узуальные для данного языка, и опознает их в качестве получателя сообщения. Поэтому для полноты описания языка и, в частности, его грамматического строя необходимо регистрировать все типы форм, которые могут использоваться в процессе коммуникации.

Описание материала различных языков для целей типологического сравнения предполагает выбор такой категориальной меры, которая могла бы служить единым основанием их сравнения. Сложность этой проблемы заключается в том, что описание различных языков, проводимое на основе их сравнения по общей модели формальных и функциональных признаков, не должно затушевывать индивидуальность каждого отдельного языка. Известно, что ни один из существующих языков не гомогенен по своей структуре. Сегментация языковых подсистем проходит в различных языках по разным линиям и применение абстрактной шкалы соответствий без учета ее возможных вариантов не может привести к полноте описания всего многообразия языков мира. И. И. Мещанинов справедливо указывал, что типология не сводится к регистрации только общих схождений, так как даже при сопоставлении сходных построений, наблюдаемых в различных языках, приходится учитывать отклонения, объясняемые специфическим использованием того или иного приема в языковых системах разного типа [6]. В типологически несходных языках легче обнаружить более широкие категориальные значения, в то время как частные грамматические значения для того или иного языка могут оказаться несущественными.

Семантическое ядро данной грамматической категории реализуется в первую очередь в парадигме, вследствие чего структурная компактность и морфологическая выдержанность парадигмы всегда служили признаком выделимости грамматической категории. Не случайно парадигмы, создан-

---

[4] H. Sebüktekin, Turkish-English contrastive analysis, The Hague, 1971, стр. 18.

[5] В. М. Солнцев, Язык как системно-структурное образование, М., 1971, стр. 69.

[6] И. И. Мещанинов, Типологические сопоставления и типология систем, ФН, 1958, 3, стр. 6.

ные на основе флективной (или, шире, синтетической) техники, не вызывали сомнений, в то время как парадигмы аналитического склада всегда были предметом ожесточенных споров у лингвистов [7].

Выделимость на фоне емкого парадигматического ряда присуща тем языкам, которые широко используют аффиксальные морфемы (в частности, морфемы суффиксального типа), примером чего может служить так называемая «нулевая флексия», когда отсутствие аффикса на фоне других аффиксально выраженных форм парадигматического ряда воспринимается как положительная маркированность данной формы. При типологической характеристике языков распределение нулевых форм в пределах данного ряда, а также их место в общей морфологической и словообразовательной системе языка может явиться одним из существенных критериев для выделения разных морфологических типов. Понятие «нулевого показателя» или «значимого отсутствия» элемента приобрело широкое использование в лингвистике XX в. в связи с концепцией системной организации языка, где каждый элемент определяется своим местом в системе [8]. В приложении к структуре морфологических рядов нулевая форма реализуется как в бинарных противопоставлениях (ср. минимальный бинарный ряд парадигмы существительного в английском языке: *dog* форма ед. ч. общего падежа — *dog's* форма ед. ч. притяжательного падежа), так и в случае выделимости нулевой формы в многочленном парадигматическом ряду (ср. склонение имени существительного типа *дом* в русском языке).

В истории лингвистической мысли типологические исследования ассоциировались в первую очередь с анализом средств передачи грамматических значений. Типологическая характеристика фонологических систем и установление сходства и различия языков по линии строения фонологического уровня привлекли внимание лингвистов в последние десятилетия, но не привели к общепринятой классификации языков на основе их фонологических признаков. Несмотря на формальную четкость фонологических критериев, описание в рамках одного уровня неизбежно приводит к односторонности в характеристике языка. Если же обратиться к формальным средствам выражения содержательной стороны языка, то, видимо, придется согласиться с мнением тех лингвистов, которые указывают, что любой естественный язык имеет меньшее количество морфем, чем лексем, меньше лексем, чем семем, а семем всегда меньше, чем тех познавательных единиц, с которыми может иметь дело человеческая мысль [9]. Уровневая стратификация языка приводит к разным типам дифференциации общих отношений. Отсутствие парадигматического выражения данного значения не исключает возможности его передачи в пределах словосочетания. Однако подвижность синтаксических конструкций и, в особенности, их соотносительные трансформации значительно осложняют проблему статуса грамматических категорий в синтаксисе. Основной причиной всех трудностей является то, что в синтаксической конструкции находят свою реализацию не только грамматические, но и лексические потенции употребляемых слов, и поэтому часто бывает сложно разграничить явления, относящиеся к различным уровням языка.

Проблема связи формы и содержания столь же актуальна для типологического анализа, как и для других направлений в исследовании языка.

---

[7] В. М. Жирмунский, Об аналитических конструкциях, сб. «Аналитические конструкции в языках различных типов», М.— Л., 1965.

[8] R. Jakobson, Signe zéro (1939), в кн.: «Readings in linguistics», ed. by E. Hamp, II, Chicago, 1966; H. Frei, Zéro, vide et intermittent, «Zeitschrift für Phonetik», 4, 1950; R. Godel, La question des signes zéro, CFS, 11, 1953; W. Haas, Zero in linguistic description, «Studies in linguistic analysis», Oxford, 1957.

[9] A. Makkai, A pragmoecological view of linguistic structure and language universals, «Language sciences», Bloomington, 1973, 27.

О. Есперсен в «Философии грамматики» и ряде своих других работ указывал, что любое языковое явление можно рассматривать, исходя из его внешней формы или из его внутреннего значения [10]. Применительно к целям изучения языка Л. В. Щерба метко определил различие между грамматикой пассивной, анализирующей значения строевых элементов данного языка, исходя из их формы, и грамматикой активной, исходящей из потребностей выражения мыслей [11]. Для типологического исследования вышеуказанная проблема осложняется рядом обстоятельств. При описании языков различной типологической принадлежности значение, взятое в изоляции от формы, не может служить надежным критерием разграничения языковых типов, так как в разных языках близкие значения могут оказаться выраженными с помощью средств, относящихся к различным уровням.

Вместе с тем анализ связи формы и значения в различных языках заставляет считать, что сама организация грамматических рядов, порядок их противопоставлений, емкость составляющих эти ряды моделей не безразличны для выражаемого содержания и создают ту или иную направленность в его оформлении. Что касается спора об избрании того или иного пути при анализе языка, то, возможно, был прав Г. Суит, когда еще в конце XIX в. писал, что «имеется две стороны языка, два возможные пути его рассмотрения: есть формальная сторона, связанная с внешней формой слов и предложений, и логическая сторона, связанная с их внутренним содержанием. Изучение формальной стороны языка основано на фонетике — учении о звуках речи, изучение логической стороны языка основано на психологии — учении об уме. Но фонетика и психология не составляют науки о языке, будучи лишь предпосылками для нее: язык и грамматика имеют дело с формой и содержанием не по отдельности, а со взаимоотношениями между ними, именно это является подлинным феноменом языка» [12].

Если характеризовать языки через описание суммы признаков, распределяемых по уровням языковой структуры, то можно обнаружить, что в каждом языке присутствуют почти все признаки, хотя и в разном количественном измерении. Различия в использовании языками этих признаков (или приемов) выступают еще ярче, если они рассматриваются в плане выражаемого ими содержания. Коммуникативно важные понятия не могут не быть выражены в языке. Анализируя содержание грамматических категорий в различных языках мира, лингвисты уже давно пришли к заключению, что одни понятия систематически выражаются во всех языках, в то время как другие передаются от случая к случаю, а иногда не дифференцированы и соединены с другими, близкими по содержанию. Эти наблюдения привели к заключению, что в языке реализуется тенденция разграничивать понятия относительно более существенные и понятия менее важные [13].

При типологическом сравнении языков различия между ними могут проявляться в двух планах: 1) разница в приемах передачи сходных значений, 2) разница в типологии построения самих систем грамматических или иных значений. Безусловно, именно этот второй план сравнения оказывается наиболее перспективным для выяснения общих законов развития

---

[10] О. Есперсен, Философия грамматики, М., 1958, стр. 32—33.

[11] Л. В. Щерба, Грамматика и ее взаимоотношение с лексикой с методической точки зрения, в кн.: «Языковая система и речевая деятельность», Л., 1974, стр. 333, 335.

[12] H. Sweet, A new English grammar, logical and historical, I, Oxford, 1891, стр. 6—7.

[13] Э. Сепир, Язык. Введение в изучение речи, М.— Л., 1934, стр. 73.

содержательной стороны языковых явлений. При сопоставлении языков следует также различать значения, представленные в одном языке, но «опущенные» в другом, и значения, представленные в обоих языках, но выражаемые по-разному. Категория двойственного числа, представленная в склонении существительных в древнегреческом, отсутствует в латинском языке; формы двойственного числа в спряжении глагола готского языка не имеют себе параллелей в других древних германских языках. Оставляя в стороне вопрос о реконструкции общего прототипа, можно констатировать, что парадигматика морфологического выражения категории числа различна в вышеуказанных языках и в некоторых из них значение двойственного числа специально не отмечено. Различия в тех категориях, которые представлены в сравниваемых языках, касаются не только средств передачи значений, но и самих форм организации этих значений, того, что могло бы быть названо их внутренней структурой. Для грамматических значений наблюдается явление «сопряженности», когда, например, в формах глагола обнаруживается взаимозависимость категорий вида и времени, времени и наклонения, наклонения и залога и т. п. К этому примыкает большая или меньшая расчлененность (или дробность) категориальных значений, наблюдаемая в различных языках мира. Сопутствующим явлением может быть сжатость одних категорий и распространенность других в одном и том же языке. В парадигматике глагола немецкого языка зафиксировано три наклонения. В селькупском и ненецком языках исследователи насчитывают пять наклонений глагола, но эти же языки обладают только двумя формально выраженными временами — аористом и прошедшим временем глагола [14].

При сопоставительном изучении языков разных типов, когда вовлекаются в орбиту исследования содержательные или функциональные стороны данного языкового явления, почти всегда оказывается невозможным ограничиться одним уровнем языка. Неоднократно указывалось, что, обладая значительным разнообразием моделей, синтаксис в целом располагает очень малым количеством самих синтаксических приемов. Многие из этих приемов — как, например, согласование или управление — имеют отчетливую опору в морфологии. Учет частотности того или иного вида оформления членов словосочетания возможен при отдельных сопоставительно-синтаксических исследованиях. Трудно сказать, в какой мере при типологическом исследовании можно использовать количественный признак для оценки отдельных языковых приемов. С нашей точки зрения, это допустимо только при выявлении семантического ядра грамматической категории при остальных признаках ее существования. В плане синхронных параметров типологической характеристики языков оценки «больше» или «меньше» иррелевантны. Приемы передачи одного и того же отношения могут быть многообразны. Отношение принадлежности в пределах субстантивного словосочетания может быть выражено соположением слов, изменением формы слова (падеж), служебными элементами, начиная от лексически опустошенных (франц. *de* или англ. *of*) и кончая конструкцией с глаголом *belong* «принадлежать», употребляемой в английском пиджин. Кроме того, в одном и том же языке могут сосуществовать синтетические и аналитические приемы передачи вышеуказанного отношения (например, в английском языке).

Синтаксические отношения с категориальной точки зрения могут считаться весьма обобщенными и универсальными. Передавая объективно

---

[14] Г. Н. Прокофьев, Селькупский (остяко-самоедский) язык, «Языки и письменность народов Севера», I. М.— Л., 1937; его же, Ненецкий (юрако-самоедский) язык, там же.

существующие отношения между явлениями мира, отражаемые человеческим мышлением, синтаксические связи в их абстрагированной форме мало разнообразны. Не случайно логические грамматические схемы универсальных грамматик чаще всего оперировали синтаксическими категориями, общими для всех языков и находящими свое обоснование в общечеловеческих законах логики. Видеть различие между языками в области синтаксиса только в способах языковой техники явно недостаточно. Учет соотносительных областей морфологии при синтаксическом анализе необходим потому, что многие синтаксические значения не только опираются на значения морфологических единиц языка, но и могут иметь в пределах строя данного языка морфологические корреляты синонимического типа. Особенно заметна «опора» синтаксических отношений на морфологию в пределах словосочетания. Выделяемые на базе предложения словосочетания могут включать два типа: те словосочетания, которые легко «живут» и вне предложения (например, определительные), и те, которые всегда должны иметь своим фоном предложение (например, объектно-предикативное словосочетание). Минимальное объединение — двучленное словосочетание — имеет закономерности, порождаемые окружением, в котором оно употребляется, с учетом того общего положения, что значение целого не равно простой сумме значений его частей. Для разных языков дифференциация значений внутри одного синтаксического комплекса может также объясняться различием в валентности управляющего слова, а также различным объемом его значения. Например, русский глагол *возбуждать* может управлять: а) им. падежом существительного неодушевленного и вин. падежом существительного одушевленного (*вино возбуждает его*); б) им. падежом существительного одушевленного и вин. падежом существительного неодушевленного (*крестьянин возбудил ходатайство*); в) им. падежом имени существительного одушевленного, вин. падежом существительного неодушевленного + именем существительным одушевленным в предл. падеже (*бедняк возбуждает жалость во мне*). Каждая из приведенных моделей управления может иметь структурное соответствие только в тех языках, в которых различаются разнонаправленные отношения предиката в формах субъекта и объекта, а не самого глагола.

При общей структуре модели варианты синтаксических значений могут возникать как следствие лексического содержания членов данной модели. Учет этого момента не означает отказа от структурно-синтаксического анализа. Подобные «лексические влияния» ведут к дифференциации и уточнению видов значения внутри синтаксических структур, не нарушая основного синтаксического значения самой модели (ср. для объектно-предикативных моделей выделение дополнения результата, дополнения внутреннего объекта и т. д.). При этом сохраняется сама «рамка» синтаксической структуры со свойственным ей содержанием (предикативности, объектной связи, атрибутивности, адвербиальности). При всестороннем анализе языка (не только его грамматического компонента), особенно при сопоставительном анализе нескольких языков, необходимо учитывать различные формы взаимодействия лексического значения сочетающихся слов в условиях варьирующегося контекста. Синтаксическое окружение может способствовать сохранению единства лексического значения или, наоборот, способствовать его изменению. Это зависит как от позиции данной лексемы в словосочетании, так и от специфики грамматической структуры того или иного языка.

При бедности чисто морфологических показателей деривационных и парадигматических значений и развитии межпарадигматической омонимии возрастает роль синтаксического контекста для определения значений

полифункционального и полисемантического слова [15]. Безусловно, на уровне грамматико-синтаксического анализа необходимо отвлекаться от тех лексических «уточнений» и «осложнений», которые вносит в синтаксическую модель то или иное ее конкретное лексическое наполнение. Однако в языках различной типологической принадлежности разграничение между отдельными лексико-грамматическими разрядами (частями речи) может проходить по разным линиям, в результате чего их функциональное использование в словосочетаниях подвергается значительным трансформациям. Например, нечеткость в различении атрибутивных и адвербиальных (обстоятельственных) связей наблюдается во многих языках. В кхмерском языке качественные определения и обстоятельства образа действия слабо дифференцированы или совсем не дифференцированы. Некоторые прилагательные (например, обозначающие цвет) в обстоятельственной функции выступать не могут. Однако значительное число прилагательных может служить характеристикой и имени, и глагола, т. е. может выступать в роли как признака предмета, так и признака действия (признака признака). Ср. *мэнух тьраэн* «много людей» — *нийеай тьраэн* «много говорить», *тьуэмнгы: кхланг* «тяжелая болезнь» — *чы: кхланг* «тяжело болеть», *рэбах тхлай* «дорогая вещь» — *тинь тхлай* «купить по дорогой цене» [16]. Выделить обстоятельственную связь в вышеприведенных словосочетаниях помогает их соотносительность с другим структурным типом — выражение признака признака с помощью служебного слова *тьеа*. Образования с этим служебным словом могут давать не только качественные, но и неопределенно-количественные или временные характеристики [17]. Правда, часть образований с *тьеа* может определять и имена, а в отдельных случаях *тьеа* сходит на уровень аффикса, образующего наречия или прилагательные (*тьеа-нить* «постоянно», *тьеа-круоса* «задушевно»), но в кхмерском языке существуют служебные слова (например, *тэанг*, *даой*, *аой*), вводящие только обстоятельства образа действия.

Таким образом, определение значения тех или иных синтаксических образований и выяснение содержания синтаксической связи возможно только при учете типологических характеристик тех парадигматических рядов, которые участвуют в образовании синтаксической модели при заполнении членами парадигматического ряда той или иной синтаксической позиции.

Анализ закономерностей, проявляющихся в языках мира, привел лингвистов к идее о связи и соподчиненности ряда закономерностей, получивших название универсалий. Идея иерархии универсалий получила свое обоснование на материале фонологии и была сформулирована как закон о бинарной зависимости, при которой наличие маркированного члена универсалии подразумевает наличие немаркированного. Любые группы универсалий путем их последовательного расчленения могут быть сведены к бинарным оппозициям. Бинарный подход к проблеме универсалий сводится к выяснению связи двух универсалий по признаку оппозиции и нахождению «более универсальной», т. е. более обобщенной закономерности, включающей в себя ряд частных универсалий. Для успешного применения понятия «языковые универсалии» при типологическом исследовании языков необходимо предварительное выяснение ряда вопросов. Является ли языковая универсалия категорией одноплановой или многоплановой и связано ли это с уровневой стратификацией языка? Рассмотрение универсалий в пределах только того или иного уровня чре-

[15] См. подробнее: В. Н. Ярцева, Проблема аналитического строя и формы анализа, сб. «Аналитические конструкции в языках различных типов», М.— Л., 1965.

[16] Ю. А. Горгониев, Грамматика кхмерского языка, М., 1966, стр. 257.

[17] Там же, стр. 262.

вато опасностью их приравнивания к грамматическим или иным категориям языка. Однако игнорирование форм выражения универсалий может привести к их отождествлению с чистыми понятиями. Допустима ли в принципе полисемантичность универсалий, т. е. может ли одна универсалия быть связана с соседней по некоторым признакам, в то время как по другим признакам она примыкает к группе иных универсалий? Последнее особенно важно для сравнения типологически далеких языков, сходства между которыми могут образовывать сложную систему отношений и взаимозависимостей.

Анализ материала показывает, что «всеобщность» языковых понятий — явление довольно иллюзорное для языков мира. Для типологического анализа важен не сам факт, что понятие времени может быть тем или иным способом передано в данном языке, а то, в какой связи стоит это понятие по отношению к другим, воплощенным в этом языке. Поэтому понятие «функции» в типологическом исследовании обретает особый смысл. Сочетаясь с типологическим анализом, функциональный подход к явлениям языка помогает решить вопрос о связи формы и содержания в многообразии языковой реальности. Представители Пражской школы лингвистов, уделявшие много внимания проблеме формы и функции в языке, справедливо указывали, что имеются языки, в которых нет сложной системы в функциональном плане, благодаря чему в них возможно прямое отношение между функцией и формой. Примером может служить языковая структура агглютинативного типа, с моносемантизмом аффиксов и прозрачностью морфемных объединений. Но существуют языковые типы, очень сложные в функциональном плане, характеризуемые синкретизмом значений морфологических форм, полисемантизмом отдельных формантов и пересечением средств выражения одних и тех же значений[18]. Функциональный подход в типологии включает как определение места того или иного приема в системе средств передачи данного значения, так и анализ коррелятивных связей самих значений в их отнесенности к языковым типам. Следовательно отношение «форма — значение» может быть расширено как «форма — функция — значение», слагающееся в свою очередь из отношений «форма — функция» и «функция — значение». Введение понятия «функция» в типологический анализ помогает избежать той доли примитивизма, которая вносится чисто бинарно-оппозиционным подходом к языковым явлениям, хотя нельзя отрицать известной полезности этого последнего.

В типологии, как и в других областях языкознания, интерес к проблеме отношения формы и значения обострился в последние годы в связи с введением понятия «поверхностных» и «глубинных» структур. В сочетании с идеей универсалий вышеуказанные представления привели к мнению, высказанному рядом лингвистов, что в своих глубинных основах все языки одинаковы, точнее говоря, что под всеми языками лежит уровень глубинной структуры, состоящей из одних универсалий, которые семантически определяют каждый из уровней языка. При таком подходе традиционный типологический метод сводится к анализу поверхностных структур. И. Раух пишет: «При учете глубинной типологической классификации, отличной от традиционного типологического анализа по поверхностным структурам, можно ожидать новых показателей без необходимости отбрасывать старые, поскольку эти два вида описания различны. Сейчас принято считать, что в своей основе все естественные языки подобны, так как под всеми языками имеется фактически уровень глубинных структур, состоящих исклю-

[18] Л. Новак, Основная единица грамматической системы и типология языка, в кн.: «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 212.

чительно из универсалий. Все уровни глубинной структуры характеризуются сериями семантически обоснованных категорий, которые и составляют основу для типологических языковых связей» [19]. Нетрудно, однако, себе представить, что в плане синхронии языки могут иметь исторически разновременные напластования, которые по своим типологическим признакам не будут соотносительны не только между разными языками, но и в системе одного и того же языка. Известная дихотомия «имя : глагол», неоднократно обсуждавшаяся в лингвистике с точки зрения генезиса частей речи, относится большинством языковедов к числу универсалий. Однако взаимоотношение класса имен и класса глаголов, так же как и связи их с другими лексико-грамматическими разрядами в различных языках, складываются по-разному и, очевидно, именно эти структурные отличия должны быть учтены в процессе типологического исследования. Методика анализа трансформ, принадлежащих к «поверхностной» структуре и одинаково соотносящихся с «глубинной» структурой, мало эффективна для типологического исследования и может применяться только в отдельных случаях. Она полезна для нахождения точек соприкосновения отдельных структурных единиц различных языков, но не как метод описания целостных систем.

Лингвисты давно осознали трудности в выяснении содержательной стороны языковых конструкций. Эти трудности неизмеримо возрастают, когда дело приходится иметь с типологически несходными языками.

В языке может наблюдаться своеобразный синкретизм грамматических значений и, следовательно, полисемия форм одного ряда. Характеризуя отношение вида и времени в глаголе английского языка, Дж. Лайонз пишет: «Английский имеет два вида, которые довольно легко сочетаются со временем и наклонением: „перфективный“ (например, *I have/had read the book*, *I will/would have read the book*) и „прогрессивный“ (*I am/was reading the book*, *I will/would be reading the book*). Они также легко сочетаются один с другим (*I have/had been reading the book*) в противоположность двум видовым отличиям греческого языка (перфект и имперфект)» [20]. Следовательно, категории времени и вида синтезированы и вид «подается» через временную форму глагола. Двуплановость функций может наблюдаться на уровне структуры слова у элементов, входящих в его состав. В индонезийском языке (bahasa Indonesia) в ряде случаев присоединяемый к корневой морфеме аффикс совмещает две функции: словообразовательную и формообразующую. Например, *didjawab* букв. «быть отвеченным», где форма страдательного залога переходного глагола образована с помощью префикса *di-* от именной корневой морфемы *djawab* «ответ». Исследователи этого языка приходят к заключению, что «такой синкретичностью обладают в большей или меньшей степени все аффиксы индонезийского переходного глагола (поскольку только переходный глагол имеет формообразовательные категории). Синкретизм аффиксов — существенная особенность индонезийской разновидности агглютинации как морфологического типа» [21]. Вышеописанные явления синкретизма отдельных значений ставят вопрос об определении соподчиненности, т. е. иерархии этих значений. Если, например, выражение одним показателем категорий лица и числа в формах глагола представляет собой объединение грамматических значений, внутренне никак не связанных, то при объединении в одной форме

---

[19] I. Rauch, Were verbs in fact noun subsidiaries?, «Proceedings of the XI International congress of linguists», I, Bologna, 1974.

[20] J. Lyons, Introduction to theoretical linguistics, Cambridge, 1971, стр. 315.

[21] Н. Ф. Алиева, В. Д. Аракин, А. К. Оглоблин, Ю. Х. Сирк, Грамматика индонезийского языка, М., 1972, стр. 100.

слова значений вида и времени или времени и наклонения у глагола обнаруживается смысловая взаимозависимость этих последних.

Грамматическая категория существует как набор частных (дробных) значений, объединенных одним центральным смысловым началом. Различия грамматических приемов ее передачи в разных языках бывают несущественными, но чаще выступают как средство дифференциации и выделения смысловых оттенков обобщенного грамматического значения. Несмотря на кажущееся удобство выделения одного признака, по которому можно было бы распределить все языки, практика лингвистического анализа показывает, что необходима некоторая сумма, или, можно сказать, набор, параметров для типологической характеристики и классификации языков. Во многих случаях отдельные параметры взаимозаменяемы. Выделяют языки с так называемой «перспективной» системой глагольных времен, у которых форма настоящего времени может выражать момент речи в будущем, и языки «ретроспективные», где форма настоящего времени выражает момент речи в прошлом или последнее вообще не маркировано. К первому типу принадлежит большинство индоевропейских языков, ко второму такие языки, как дакота, гуарани, хопи и вообще, как пишет Р. Ултан, почти все языки американских индейцев [22]. Однако в индоевропейских языках можно выделить и ряд других типологических тождеств. Следовательно, исходя из некоторых так называемых импликационных универсалий, можно установить достаточную сеть признаков, характеризующих типологическую принадлежность данного языка.

Из всего сказанного следует, что при типологическом анализе полезно учитывать те понятия и процедуры, которые были выработаны практикой лингвистических исследований на материале одного языка. Связь формы и содержания, омонимия и синонимия в морфологии и синтаксисе, взаимодействие лексического и грамматического в языке — эти и многие другие проблемы в такой же мере актуальны для типологии, как и для общей грамматики. Дело, однако, в том, что при анализе типологически различных языков и при их сопоставительном изучении многие категории лексики и грамматики должны пересматриваться в определенном аспекте, а именно, по их соотносительности или взаимозаменяемости, по их количественным показателям — частотности в пределах общего целого, по их относительной значимости для того или иного языка.

---

[22] R. Ultan, The nature of future tenses, в кн.: «Working papers on language universals», Stanford University, California, 8, 1972, стр. 59—60.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1976

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. ВАШЕК

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАРПАТОЛОГИЯ [1]

(К вопросам контактной лингвистики карпатской языковой области)

1. Лингвиста-карпатолога, как и слависта, интересует изучение процессов, которые выходят за рамки одного языка и, ввиду своей изоформности и/или изофункциональности, отражают взаимоотношения и контакты внутри данной славянской или карпатской лингвистической территории, т. е. такие, которые встречаются в большом количестве языков (или даже во всех языках) данного ареала. Изучение причин и последствий карпатских языковых контактов мы будем обозначать термином «лингвистическая карпатология» (ЛК). Сферу карпатских языковых контактов при этом можно понимать или в более узком смысле — как языковую территорию карпатского горного хребта, или в более широком смысле — как всю территорию литературных языков Карпат и других сопредельных языков, прежде всего языков Балканского полуострова (в дальнейшем: «карпато-балканский языковой ареал»). Дело в том, что изучение этих последних в известной мере может дать понятие о характере процессов, протекающих непосредственно в пределах карпатской языковой территории, об их интенсивности, месте, направлении, времени их прохождения и т. п. Можно различить: 1) ЛК в более узком смысле, т. е. такую, которая исследует контакты одного из карпатских языков с каким-нибудь языком карпато-балканского языкового ареала (не обращаясь при этом к общекарпатским вопросам, например, к румынско-славянским языковым контактам) или которая изучает изолированные языки карпатской области (хотя и в условиях многоязычия; например, чешский язык моравских переселенцев в румынском Банате [2] или словацкий язык словацких переселенцев в Венгрии [3]), и 2) ЛК в более широком смысле, собственно ЛК, т. е. такую, которая изучает в той или другой степени языки всего (преимущественно горного) карпато-балканского

[1] Настоящая статья представляет собой переработанный доклад, прочитанный автором на Международном симпозиуме «Проблемы карпатского языкознания» (Москва, 24—26 апреля 1973 г.). Вопросам контактной лингвистики посвящена моя статья «Z aktuálních otázek kontaktové lingvistiky» (SaS, XXXVII, 1976).

[2] См.: A. Vašek, K vzájemným vztahům slovanských a neslovanských jazyků v rumunském Banátě (Na základě analýzy jazyka moravského osídlení v RSR), «Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze», Praha, 1968; его же, K vývoji «izolovaného» slovanského jazyka, «Slavia», XLIV, 1975 (доклад, прочитанный на VII Международном съезде славистов в Варшаве в 1973 г.).

[3] См.: P. Ondrus, Stredoslovenské nárečia v Mad'arskej l'udovej republike, Bratislava, 1956.

языкового ареала. В настоящей статье речь будет идти о ЛК в собственном смысле. Лингвистическая карпатология, таким образом, представляет собой исследование карпатских межъязыковых контактов и теоретическое обобщение соответствующих фактов. Термины «лингвистическая карпатология» и «карпатская лингвистика» являются для нас равнозначными понятиями. Если же мы все-таки предпочитаем термин «лингвистическая карпатология», то только для того, чтобы подчеркнуть целостность карпатской проблематики и необходимость рассматривать ее с разных точек зрения [4].

2. Наш подход к изучению языковой ситуации в области карпатских языковых контактов является социолингвистическим, поскольку он в первую очередь учитывает роль специфических социальных факторов развития местных языковых систем. Социолингвистическое исследование карпатологии может быть двоякого типа: а) исследователь, исходя из изучения основных социальных факторов, оказавших — стихийно или сознательно — влияние на возникновение и развитие языка исследуемой общественной формации, анализирует коммуникативные потребности носителей данного диалекта, а, следовательно, и социальные функции присущих последнему выразительных средств [5]. Наконец, он подходит к исследованию структурной сущности и закономерностей рассматриваемой языковой системы (схема О → Я).

В результате диахронического подхода можно установить, до какой степени изменения в обществе отражаются в языке. Этот подход является, с точки зрения акта коммуникации, «прогрессивным»; б) исследователь сначала анализирует язык определенного круга говорящих (на той или иной территории) с точки зрения звуковой и структурно-функциональной и лишь после этого изучает его социально-функциональную сторону, отражающую коммуникативные потребности членов данного языкового коллектива. Изучая эти потребности, исследователь обращает внимание на расслоение (стратификацию) самого общества: он старается понять характер социальной обусловленности изучаемых средств выражения, т. е. релевантные для данной языковой общины социальные факторы, влияющие на развитие языка (схема Я → О).

Подходя к проблематике с диахронической точки зрения, можно устанавливать историческую изменчивость в формировании тех или иных социальных факторов, а также выяснять, оказывал ли язык (и в какой мере) обратное влияние на указанную изменчивость и формирование. Данный подход, направленный как бы от высказывания к говорящему, можно обозначить с точки зрения акта коммуникации как «регрессивный».

Оба намеченных вида исследования дают возможность установить социально обусловленную стратификацию изучаемого национального языка. Первый из них, «прогрессивный», гораздо более распространен в лингвистической практике. Он основан, как правило, на изучении социальной обусловленности особенностей групповой речи и имеет целью более основательное проникновение в сущность характеристик этих языковых формаций, а также возможное регулирование их будущего развития (язы-

---

[4] О других подходах к карпатологии см., например: A. Vašek, Sur la méthodologie des recherches carpatologiques linguistiques (À propos de l'ouvrage «Valaši na Moravě» de D. Krandžalov), «Romanoslavica», XIV, 1967, или: его же, On the subject and method of linguistic carpathology, «Actes du Xe Congrès international des linguistes, Bucarest, 28 août — 2 septembr 1967», I, Bucureşti, 1969.

[5] См., например: Ф. П. Филин, Ю. Д. Дешериев, Н. Г. Корлэтяну, Социолингвистика и проблема развития общественных функций современных языков мира, «Actes du Xe Congrès international des linguistes...», I.

ковое строительство, или языковое планирование [6]). Второй способ, «регрессивный», позволяет на основе установления релевантных социальных факторов развития языка выделить новые особенности и структурные образования в пределах групповой речи данного языка. Следовательно, становится возможным обнаружить новые «регистры» данного языка, новые закономерности расслоения его социальных диалектов — профессиональной речи, сленгов и арго. Если считать главной задачей исследования в сфере ЛК подготовку и издание международного Карпатского лингвистического атласа, то, по нашему мнению, для изучения карпатской лингвистической проблематики наиболее целесообразно основываться на регрессивном подходе, который обеспечивает изучение карпатских языковых контактов в полном их объеме [7].

3. Методы лингвистического описания (дескрипции) могут быть разными в зависимости от изучаемой языковой ситуации, научной концепции исследователя и целенаправленности его работы. Однако применяемый метод должен соответствовать требованиям научной корректности. Используя регрессивный метод, исследователь должен дать подробное и всестороннее описание и системную стратификацию языковых формаций, встречающихся в карпатской области. Уже в связи с большой площадью исследуемой территории (длина горного хребта Карпат, как известно, составляет около 1300 км) невозможно выполнение данной задачи одним лицом; непосильно это задание и для одного рабочего коллектива. Однако единый подход всех принимающих участие в исследовании работников представляет conditio sine qua non.

Под понятием экспликации в ЛК мы разумеем прежде всего интерпретацию собранных языковых данных в языках карпатского ареала с точки зрения социальных факторов языкового развития, т. е. объяснение того, какими причинами обусловлено данное языковое состояние. Далее следует перейти к изучению сущности самих социальных факторов, оказавших непосредственное воздействие на язык. Экспликация тесно связана с дескрипцией и отчасти — даже в случае социолингвистического подхода — с ней переплетается: сама стратификация описываемого языкового материала требует его оценки. Переплетение дескрипции и экспликации происходит в ЛК при описании социальных функций исследуемых средств выражения и коммуникативных потребностей их носителей.

Дедукция имеет своей целью приобретение научных знаний более общего характера, например, установление социальных факторов, обусловивших возникновение изучаемой языковой формации, структурной значимости этих факторов в сопоставлении с известными экстралингвистическими (а также межъязыковыми и внутриязыковыми) воздействиями, а кроме того, выяснение их взаимной обусловленности и иерархического взаимоотношения.

При прогрессивном подходе также необходима коллективная работа. Лингвисты-карпатологи исходят из подробного и всестороннего описания одного из характерных для карпатской территории социальных факторов развития языка. Под экспликацией в этом случае следует понимать изучение коммуникативных потребностей в данной

[6] См., например: E. Haugen, Language planning, theory and practice «Actes du Xe Congrès international des linguistes...», I; Ю. Д. Дешериев, Soviet methodology, theory and practice of planning and forcasting of language development, «Soviet Sociological Association, Soviet Organizing Committee, VII World Congress of Sociology», М., 1970. См. также: А. Д. Швейцер, Вопросы социологии языка в современной американской лингвистике, Л., 1971, стр. 70.

[7] См.: A. Vašek, Koncepce a realizace Karpatského lingvistického atlasu (доклад, прочитанный на Международном симпозиуме по Карпатскому лингвистическому атласу в Братиславе 15—17 мая 1974 г., в печати).

формации (слое) общества и языковых средств их выражения, а также выявление системной стратификации этих языковых средств и установление того, какие из них являются специфическими для данной общественной формации или на какой территории они распространены. Под дедукцией разумеется выяснение последствий воздействия исследуемого социального фактора в языке данной части карпатского ареала (например, установление того, какие уровни языка затронуты этим воздействием и в какой степени, каково иерархическое отношение между затронутыми уровнями языка, каково соотношение устной и письменной речи и в какой мере это соотношение связано с указанным воздействием и т. п.). Что касается роли дедукции в исследовании ЛК при помощи прогрессивного подхода, то она — в основном — не отличается от использования того же метода при регрессивном подходе.

4. Образованию определенной языковой ситуации в области карпатских языковых контактов способствовало — хотя и в разной мере — много факторов. Вследствие этого лингвист-карпатолог, исследуя особенности карпатского лингвистического ареала, должен, как и в других случаях, считаться со всей совокупностью факторов, наличие которых в процессе развития можно установить. Некоторые из этих факторов обусловливают и регулируют развитие любого языка, воздействие других ограничено теми или другими ареалами, в частности, можно выделить факторы, специфичные только для карпатской области.

Различные факторы развития языка в условиях контактирования (т. е. в условиях, с которыми мы имеем дело в карпатском языковом ареале) можно подразделить на следующие три группы: а) внеязыковые, б) межъязыковые и в) внутриязыковые.

К внеязыковым факторам относится, с одной стороны, все, что непосредственно связано с говорящим как производителем высказываний или с данной совокупностью говорящих — их психические или физические качества, их отношение к родному языку (и к языкам, с которыми они находятся в контакте), к другим лицам или группам лиц (говорящим на том же или на другом языке), с которыми они общаются, их пол, возраст, профессия, вид занятия, религия, образование, культурный уровень, их участие в управлении обществом, степень компактности заселения исследуемой территории той или иной этнической общностью, наличие на данной территории одной, двух (или большего количества) этнических единиц, колонизация исследуемой территории, ее тип и т. п. С другой стороны, мы имеем дело с факторами, существующими вне говорящего (например, языковая политика данного государства), или вне человека вообще — пространство (данные географические и геоморфологические условия) и время (продолжительность, период).

К межъязыковым факторам, играющим роль при объяснении причин и последствий языкового взаимовлияния в области карпатских языковых контактов, относятся, например, взаимоотношение языковых систем соприкасающихся языков, определенная степень их генетической близости, тип языковых контактов, степень билингвизма данного говорящего (группы говорящих), возможность адаптации нового языкового элемента в новой языковой среде и т. п.

Внутриязыковые факторы определяются — и не только в ЛК — структурными особенностями ассимилирующейся языковой системы и ее постоянной тенденцией к уравновешенности и относительной стабильности [8].

[8] См.: V. Mathesius, O požadavku stability ve spisovném jazyce, «Spisovná čeština a jazyková kultura», Praha, 1932, стр. 17; М. М. Маковский, Принцип равновесия в лексике и семантике, «Ин. яз. в шк.», 1972, 4.

Приведенные факторы, регулирующие языковое развитие в области карпатских языковых контактов, не выступают, конечно, как изолированные единицы. Наоборот, все они тесно связаны и взаимно дополняют и обусловливают друг друга. Из этого факта для ЛК вытекают два методологически важных вывода: а) необходимо обстоятельно изучить отдельные факторы развития языка и дать правильную оценку их функционированию; б) несмотря на неодинаковый характер отдельных факторов и часто весьма неодинаковый объем их функций, нужно, анализируя любое языковое явление (структурную формацию, языковую ситуацию), обращать внимание на всю совокупность факторов, которые можно установить, и принимать во внимание возможности их дополнять друг друга и взаимодействовать между собой.

5. Исследование карпатских языковых контактов до недавнего времени было с научной точки зрения неудовлетворительным.

(а) Исследователи ограничивали свои задачи изучением следов только одного (внеязыкового), хотя и очень важного, фактора — карпатской пастушеской колонизации. В стороне оставалось (в ущерб делу) исследование межъязыковых и внутриязыковых, а также и других внеязыковых факторов исторического развития языковой ситуации в исследуемой карпатской области.

(б) Изучая возникновение и формирование языковых структур и ситуаций в карпатском ареале, исследователи, как правило, подвергали анализу в основном только лексико-семантический уровень языка. Звуковой, грамматический и словообразовательный планы до недавнего времени оставались обычно за пределами их интересов. Работы, изучающие эти сферы карпатского языкового взаимодействия, представляют исключение [9]. Конечно, можно и полезно изучать карпатскую лексику, однако всегда отдавая себе отчет в том, что мы имеем дело только с одним уровнем языка, как бы ярко в нем ни отражались следы иноязычного языкового влияния. Только изучение всех языковых уровней языка (лексики, фонетики, грамматики) дает возможность выявить специфику и структурные особенности языков карпатского ареала и, в частности, показать роль таких явлений, как реликты и инновации, взаимодействующих на фоне постоянных языковых контактов и растущего влияния официального языка общения.

(в) Исследователи обычно не уделяют внимания и специфике пастушеской колонизации карпатского ареала, а иногда подходят к этому вопросу с неверных позиций. Необходимо различать политическую, экономическую, языковую и другие виды колонизации в соответствии с теми или иными общественно-историческими условиями. С другой стороны, можно отметить, что колонизация может осуществляться этнически и лингвистически однородными и неоднородными потоками колонистов. Важно, в частности, учитывать тот факт, что колонисты, так называемые валахи, на своем пути встречались с различными этническими общностями; кроме того, в связи с большой протяженностью пути, который им приходилось преодолеть, могло происходить смешение языков колонистов с языком местного населения. Карпатские колонисты, по всей вероятности, представляли собой с этнической и языковой точек зрения гомогенную массу

[9] См., например: С. Б. Бернштейн, В. М. Иллич-Свитыч, Г. П. Клепикова, Т. В. Попова, В. В. Усачева, Карпатский диалектологический атлас, М., 1967; А. М. Рот, Особенности взаимодействия языков и диалектов Карпатского ареала, Ужгород, 1973. Почти исключительно анализу звукового и грамматического (со словообразованием) планов карпатской языковой ситуации посвящена работа: A. Vašek, Jazykové vlivy karpatské salašnické kolonizace na Moravě (Konfrontačně-komparatistická gramatická studie karpatologická), «Rozpravy ČSAV», 77, řada společenských věd, 10, Praha, 1967.

только в самом начале колонизации, т. е. после того, как они покинули территорию нынешней Румынии. Валашские колонисты оказали двоякое влияние на речь местного карпатского населения: а) всей структурой своего родного языка и б) наличием специфической пастушеской терминологии, тесно связанной в жизнью карпатских пастухов (часто румынского происхождения). В этой связи следует указать на так называемую румынскую теорию, согласно которой язык румынских пастухов-салашников повлиял на язык населения Средних и Северо-Западных Карпат, а современные моравские валахи являются их потомками и их язык является продолжением, местной разновидностью румынского [10]. Румынская теория — глубоко ошибочна как по методам, на которых она основывается, так и фактически.

6. Тремя основными предпосылками успешной деятельности лингвистов-карпатологов, с нашей точки зрения, являются: 1) научная подготовленность исследователя; 2) правильная методология работы; 3) координация исследования и ее организационное обеспечение.

(1) Необходимой предпосылкой успешной работы лингвиста-карпатолога является основательное знание одного из находящихся в контакте национальных языков карпатского ареала — конечно, с особым учетом его распространения в собственно карпатской области.

(2) Применяя коммуникативно-регрессивный подход (Я → О), лингвист должен сопоставлять хорошо известное языковое состояние какой-нибудь узкой карпатской области с соответствующим национальным языком того же периода. Языковые явления, не встречающиеся в данном языке вне изучаемой карпатской области (следовательно, специфические для нее), необходимо сравнивать с параллельным материалом предшествующих этапов развития данного языка. Слова и явления, которые нельзя истолковать таким образом, представляют неологизмы, очень часто заимствованные. В результате предварительного сопоставления этих слов и явлений с хорошо засвидетельствованными параллельными фактами на остальной части ареала, где наблюдаются карпатские языковые контакты, можно обнаружить, какие из них занимают большую, а какие меньшую территорию в пределах карпато-балканского языкового ареала. На этом этапе заканчивается работа отдельного исследователя или национального коллектива и начинается работа международного коллектива. Этот коллектив должен сделать необходимый синтез из суммы

[10] Начало указанной теории положила работа: D. P. Marţanu, Ceva despre Valahii din Moravia («Buciumul, ziar politic, literar şi comercial», Bucureşti, 1864, № 281, Revista interiore. Сообщение позднее перепечатано под названием «Descoperiri limbistice» в VI томе журн. «Uricariul», Jassy, 1875). Эта статья послужила поводом Ф. Миклошичу для работы «Über die Wanderungen der Rumunen in den dalmatinischen Alpen und den Karpathen» («Denkschriften der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften», XXX, Wien, 1879). К сторонником теории принадлежали, например, Л. Малиновский (Malinowski), по мнению которого в польском Подхалье находим остатки древнего румынского заселения (L. Malinowski, O niektórych wyrazach ludowych polskich. Zapiski porównawcze, гл. «Sladу wpływu rumuńskiego w mowie góralskiej na Podhalu», «Rozprawy Wydziału filologicznego Akademii Umiejętności w Krakowie», XVII, Kraków, 1892), Ф. Пастрнек, исследовавший румынское происхождение моравских валахов (F. Pastrnek, Slovenský jazyk. Studovanie slovenčiny, «Slovenské pohľady», XIII, 1893), и др. Противников румынской теории было в течение прошлого века также много. Пожалуй, первым из них был чешский ученый Й. Л. Пич (Píč), давший новую оценку лексических архаизмов в Северо-западных Карпатах и утверждавший, что моравские валахи и их язык чисто славянского происхождения (J. L. Píč, Zur rumänisch-ungarischen Streitfrage. Skizzen zur ältesten Geschichte der Rumänen, Ungarn und Slaven, Leipzig, 1886). К самым решительным противникам румынской теории относился Д. Крынджалэ (Crânjală). См. его работу «Rumunské vlivy v Karpatech se zvláštním zřetelem k moravskému Valašsku» (Praha, 1938). Ср. и его книгу «Valaši na Moravě (Materiály, problémy, metody)», Praha, 1963.

результатов национальных исследований. На основе полевой работы устанавливаются специфические карпатские явления и их распространение. После выполнения этой первой и основной задачи ЛК (дескрипции) следует экспликация установленных фактов, призванная вскрыть их социальные функции, отражающие коммуникативные потребности носителей соответствующих диалектов, и объяснить те релевантные социальные факторы развития карпатских языков, которые исторически обусловили именно данную стратификацию исследуемых специфических карпатских явлений.

Используя коммуникативно-прогрессивный подход (О→Я), лингвист-карпатолог исходит из хорошо изученного специфического социального фактора (или совокупности факторов) развития карпатской языковой ситуации, обусловившего (обусловивших) возникновение и формирование той или иной общественной формации (слоя) на определенной узкой области Карпат. Сопоставление характера местного функционирования данного фактора (факторов) с его (их) функционированием на остальных частях территории карпатских языковых контактов поможет вскрыть степень его (их) распространения в пределах изучаемого карпато-балканского ареала, как и территориальное распространение и коммуникативные характеристики языковой формации, вызванной к жизни этим фактором (факторами). Структурная стратификация этих особенностей и определение, какие из них наиболее типичны для языка данной общественной формации, безусловно, будут способствовать более глубокому пониманию языковой специфики этой последней в отличие от соответствующего национального языка.

Чтобы обеспечить координацию исследования в сфере лингвистической карпатологии, было бы желательно: а) создать Комиссию славянских языковых контактов при Международном комитете славистов [11]; б) одной из главных задач этой Комиссии считать исследование в сфере ЛК, в первую очередь, подготовку и издание международного «Карпатского лингвистического атласа».

---

[11] Предложение о ее создании было выдвинуто мной по инициативе акад. Б. Гавранка, председателя Чехословацкого комитета славистов; я поставил это предложение, подписанное также от имени советских лингвистов-карпатологов профессором С. Б. Бернштейном, на обсуждение Международного комитета славистов во время Варшавского съезда славистов в августе 1973 г. По решению МКС наша Комиссия славянских языковых контактов при МКС будет окончательно утверждена на следующем рабочем совещании МКС.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1976

Н. Д. АРУТЮНОВА

РЕФЕРЕНЦИЯ ИМЕНИ И СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы привлечь внимание к некоторым формам взаимодействия между такими категориями синтаксиса, как референция имени, т. е. его отношение к называемому им объекту, логико-синтаксическая структура предложения, отражающая формы человеческого мышления [1], и коммуникативная перспектива высказывания. Под логико-синтаксическими типами имеются в виду наиболее общие модели предложения, в которых обнаруживает себя специфика мысли [2].

Выделение логико-синтаксических типов опирается на следующие свойства предложения: 1) природа терминов отношений — в предложении может устанавливаться связь между любыми из тех сущностей, которыми оперирует человеческое мышление: предметом, понятием, именем, представленными в высказывании денотатом (референтом), сигнификатом и означающим; 2) направление отношения — мысль может двигаться между терминами отношения в том или другом направлении. Названные два признака обусловливают связь логико-синтаксической структуры предлоложения с референцией входящих в него имен и его коммуникативной перспективой: природа терминов отношений обнаруживает себя в референции имени, а направление отношения отражает коммуникативную перспективу высказывания.

Для целей статьи существенно различать два типа употребления имен — идентифицирующее и неидентифицирующее. В первом случае имя представляет денотат, т. е. выступает как знак конкретного предмета, класса предметов, факта, класса фактов, которые оно замещает в предложении. Во втором случае имя не выполняет по отношению к объекту функции субституции, т. е. лишено денотативного содержания. Употребление первого типа будет ниже называться р е ф е р е н т н ы м (ср. *Т в о й б р а т — нахал*), а употребление второго типа — н е р е ф е р е н т н ы м (ср. *Твой брат — н а х а л*).

Из числа возможных логико-синтаксических «начал» применительно к русскому языку, а возможно и другим индоевропейским языкам, могут быть выделены как грамматически релевантные следующие четыре типа: 1) э к з и с т е н ц и а л ь н ы е, или бытийные, отношения, 2) отношения и д е н т и ф и к а ц и и, или тождества, 3) отношения н о м и н а ц и и, или именования, 4) отношения х а р а к т е р и з а ц и и, или предикации в узком смысле этого термина. Каждому из перечисленных логико-синтаксических отношений соответствует определенная синтаксическая структура (по крайней мере, в своей первичной функции): экзистенциальные предложения, предложения тождества, номинативные предложения и предложения характеризации, или собственно субъектно-предикатные структуры, имеющие ряд разновидностей.

---

[1] О взаимодействии логического и грамматического аспектов предложения в языках разных типов см.: В. З. П а н ф и л о в, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971.

[2] Ср. определение логико-грамматических типов предложения в кн.: В. Г. А д м о н и, Введение в синтаксис современного немецкого языка, М., 1955, стр. 103—104.

Ниже речь будет идти о взаимодействии логико-синтаксических структур, выражающих отношения экзистенции, тождества и характеризации. Отоношения именования рассматриваться не будут отчасти по соображениям объема статьи, отчасти потому, что они имеют метаязыковой характер, т. е. устанавливают связь между элементами языка (кода) и элементами внеязыковой сферы. Общее определение логико-синтаксических отношений, предваряющее описание их взаимодействия, дано по необходимости коротко и неполно.

Структуры, создаваемые отношениями экзистенции, утверждают существование (или несуществование) объектов, наделенных определенными признаками. Например, *Снежный человек существует*; *Гномов нет*; *Ведьмы есть*. В экзистенциальных высказываниях имя присутствует не как знак определенной субстанции, предмета, а скорее как знак концепта, понятия, некоторой совокупности признаков. Поэтому в экзистенциальных предложениях неупотребительны собственные имена. Предпочтение отдается именам, соотносимым с признаками класса. Показатель бытия сообщает о воплощенности некоторой совокупности черт в субстанции. Мысль в этом случае движется от концепта (понятия, сигнификата имени) к субстанции, объекту, реализующему определенный набор признаков. Показатель бытия есть связка между понятием и предметом. В абсолютных утверждениях о существовании наличие некоторого концепта составляет предпосылку утверждения, а реализованность (или нереализованность) данного концепта в объекте составляет его смысл. Экзистенциальные утверждения фиксируют переход от мира концептов в мир предметов.

Экзистенциальные высказывания, относящиеся к фрагменту мира, имеют несколько иной смысл. В них локализатор (обстоятельство места), указывающий на область бытования, является исходным пунктом сообщения, данным, а показатель бытия совместно с именем бытующего предмета создают сообщаемое. Ср. *В этом лесу / есть волки*; *Здесь / нет змей*; *В этом краю / много озер*. Утверждение о существовании, сделанное применительно к ограниченной области бытия, утрачивает абсолютность. Оно переводится в план предметной характеристики некоторого пространства [3].

Экзистенциальные предложения создают предпосылку для последующего референтного употребления имени и часто используются в интродуктивной функции. Например, *Есть у меня один приятель. Этот приятель капитан дальнего плавания*. Задача интродуктивных предложений состоит в том, чтобы ввести некоторый объект в предметную область приложения языка, о которой может быть сделано сообщение, понятное адресату. Интродуктивные предложения поэтому редко употребляются в отрицательной форме. В них речь идет о предмете, знакомом говорящему, но не знакомом адресату. Предложения интродуктивного типа составляют шаг, предваряющий предикацию (характеризацию). Поэтому они сами по себе не содержат законченного сообщения. Если после вводного экзистенциального предложения наступает заминка, то адресат речи вправе спросить «Что же дальше?». Ср. «— Есть у меня тут приятель один... такой друг! такой друг! [...] — Ну-с, так приятель... что же этот приятель? — поощрил я его» (Салтыков-Щедрин, Современная идиллия).

Предикация, или характеризация, предполагает инверсию мыслительного процесса, его направленность от объекта к его признакам, состоянию, свойствам, действиям, локализации. В этом случае отправным пунктом утверждения считается денотат имени. Отношения характеризации, сле-

---

[3] О типах «пространств» в экзистенциальных конструкциях см.: О. Н. Селиверстова, Компонентный анализ многозначных слов, М.. 1975, стр. 34 и сл.

довательно, требуют референтного употребления имени. Ср. /*Есть у меня один друг*/. *Мой друг большой любитель рыбной ловли*; /*Снег сверкал на солнце*/. *Сверкание снега слепило*. Субъективное имя является в предложении знаком конкретного предмета (соответственно класса предметов), факта (класса фактов). Его смысл (если он имеется) служит целям идентификации объекта, находящегося внутри предметной области приложения языка, знакомой обоим собеседникам. К нему в принципе предъявляется только одно требование: адресату должно быть ясно направление «семантической стрелки». Сквозь идентифицирующее значение должен просвечивать реальный предмет. Говорящий поэтому стремится подобрать номинацию, наиболее прозрачную для адресата речи. Ср. *Петров* (*мой начальник*, *наш сосед*, *брат Андрея* и пр.) *уехал сегодня в командировку*.

Референтное употребление имени не обязательно предполагает эмпирическое знание предмета речи. Если оставить в стороне случаи косвенного знакомства с объектом, то для синтаксического анализа, как будет видно из дальнейшего изложения, существенно различать по крайней мере следующие два типа референтного употребления имени: референцию к идентифицированному предмету и референцию к предмету неотождествленному, существование и уникальность которого подтверждаются сведениями о некотором событии, статуте, положении дел. Определенные дескрипции типа *президент республики*, *король Англии*, *отец Пети*, *директор этого института* допускают двоякую интерпретацию. Они могут быть поняты как относящиеся к конкретному, эмпирически или косвенно известному лицу, либо как относящиеся к тому объекту (каков бы он ни был «субстанционально»), который отвечает смыслу дескрипции, например, лицу, занимающему указанный в дескрипции пост (*директор магазина*), непойманному преступнику, совершившему обнаруженное преступление (*грабитель магазина*). Такое употребление в логике иногда называют атрибутивным [4]. Оно сочетает признаки референтного функционирования имени с нереферентным [5].

Отношения характеризации, таким образом, имеют в качестве своего первого термина (данного) имя, допускающее два типа референции — конкретно-предметную и атрибутивную. Если второй термин отношений характеризации (предикат) также выражен именем, то оно абсолютно лишено предметной отнесенности, т. е. нереферентно в полном смысле этого слова. Предикатное имя указывает только на признаки или совокупность признаков, выделяемых в субъекте. Например, *Этот ребенок — большой проказник*; *Андрей — учитель*; *Береза — дерево*. Оно выступает только в объеме своего сигнификативного (понятийного) содержания. Об этом свидетельствует значение номинализованной конструкции, опирающейся на предикат. Ср. *Береза — дерево*→то, что береза дерево (=то, что береза обладает признаками класса деревьев) [хорошо известно].

Итак, отношения характеризации устанавливают контакт между денотатом имени (реальным или гипотетическим объектом) и понятием (сигнификатом), элементом мира (реальным или конструируемым) и элементом нашего мышления о мире.

Связь логико-синтаксического типа предложения с референцией имени с очевидностью обнаруживает себя в том, что изменение типа референции может иметь своим следствием перестройку синтаксической структуры

---

[4] K. Donnellan, Reference and definite descriptions, «Semantics», Cambridge (Mass.), 1971.

[5] S. Kuno, Some properties of non-referential noun phrases, «Studies in general and Oriental linguistics», Tokyo, 1970.

предложения. Покажем это на нескольких примерах из области взаимодействия экзистенциальных отношений и отношений характеризации.

В экзистенциальных предложениях, как было сказано, имя нереферентно. В определенных условиях, однако, оно приобретает отнесенность к конкретному предмету, т. е. получает денотативное «наполнение». Подобная ситуация возникает тогда, когда позицию локализатора занимает указание на объект, а имя «бытующего предмета» относится к его части или иному единичному элементу данного микромира и имеет при себе определение. Ср. *У мальчика румяное лицо*; *У нашего соседа мать в деревне*; *У бабушки добрые глаза.* Если в таких предложениях, выражающих суждение об «области бытия», логическое ударение переносится на определение второго имени, то вся синтаксическая конструкция приходит в движение, перестраиваясь по подлежащно-сказуемостному образцу, первичная функция которого состоит в выражении отношений характеризации. Это проявляется в предпочтении определенного порядка слов, возможности оформления прилагательного творительным предикативным, замене бытийного отрицания *нет* предикативным отрицанием *не*. Ср. *У девочки длинные ноги* → *Ноги у девочки длинные* (*не длинные*, *были длинными*, *не были длинными*). Локализатор бытийных предложений (*У девочки*) преобразуется в детерминант (определитель) имени, примыкающий к нему в постпозиции и придающий ему конкретность. Глагол *быть* из показателя наличия, существования преобразуется в показатель грамматических категорий сказуемого (связочное значение). Например, *У них был дом. Дом у них был большой и светлый.* Из приведенной последовательности явствует, что первое предложение бытийно, а второе выражает отношения характеризации: в нем сообщается о признаках конкретного предмета, уже «введенного в бытие» первым высказыванием.

Реорганизация бытийных предложений, их преобразование в предложения характеризации представляет живой, активно протекающий процесс. С ним связаны некоторые особенности русского синтаксиса, в частности специфика детерминации имени: показатель определенности существительного обнаруживает отчетливую зависимость от локализатора бытийных предложений, которая проявляется в разнообразии форм, их лексической конкретности, а также в тенденции к постпозиции. Ср. *Мужики в этой деревне работящие*; *Роща за дорогой залита солнцем*; *Букет у нее в руках был из полевых цветов*; «Для довершения сходства фрак *на нем* [Собакевиче] был совершенно медвежьего цвета» (Гоголь, Мертвые души). Детерминация имени, как показывают приведенные примеры, не была унифицирована по генитивному типу. Для русского языка более естественно сказать *Дома на этой улице старинные*, чем *Дома этой улицы старинные*. Между тем в ряде европейских языков есть тенденция к выражению локальной детерминации имени единообразно, пользуясь моделью, передающей генитивные отношения, ср. англ. *the houses of this street*, исп. *las casas de esta calle*, франц. *les maisons de cette rue* [6].

Стремление придать имени экзистенциального предложения конкретность, как отмечалось, наблюдается в тех случаях, когда актуализуется его определение. Это вполне понятно. Как только сообщаемое сосредоточивается на признаках объекта, существование самого объекта как носителя признаков начинает приниматься как данное, т. е. отодвигается в область предпосылок сообщения. Самого по себе переноса коммуникатив-

[6] О большей «локальности» русского языка сравнительно с французским см. интересные наблюдения В. Г. Гака в кн.: В. Г. Гак, Е. Б. Ройзенблит, Очерки по сопоставительному изучению французского и русского языков, М., 1965, стр. 179 и сл.

ного фокуса бытийных предложений на атрибут имени, однако, недостаточно для перестройки синтаксического типа. Важно, чтобы при этом существовали условия для изменения референции имени, как в приведенных выше примерах. Такие условия отсутствуют, если область бытия понимается как совокупность однородных предметов. Локализатор таких предложений не может быть преобразован в детерминант имени. Ср. *Среди них есть умные и талантливые дети.* Локализатор *среди них* не может занять позицию приименного детерминанта (ср.* *дети среди них умные и талантливые*).

В предложениях рассматриваемого типа существование класса предметов относится к области пресуппозиций. Их сообщаемое состоит в выделении из состава класса некоторой качественно охарактеризованной разновидности. Имя в подобных предложениях (оно часто имеет качественное значение) не может получать конкретной референции, хотя коммуникативный фокус в них нередко наводится на его определение (например, *Есть минуты незабываемые, неповторимые*). Определение здесь относится не к конкретному объекту, а к неопределенной части множества объектов или одному неопределенному члену множества. Ср. *Среди них много умных и честных* =«многие из них умны и честны»; *Среди них был один, который привлек мое внимание* =«один из них привлек мое внимание»; *Среди них были красивые женщины* =«некоторые из женщин были красивы». Употребление подлежащно-сказуемостной структуры (см. толкование приведенных предложений) в целях квалификации неопределенной части множества является в известном смысле расширением области характеризации, или собственно предикации, ведущим к проникновению в позицию подлежащего нереферентных имен, а следовательно и к смысловому перекрещиванию экзистенциальных предложений и предложений характеризации.

Таким образом, атрибуция признака неопределенной части класса предметов может получить двоякую логическую интерпретацию: она может быть осмыслена в терминах экзистенциальной структуры, утверждающей существование некоторой разновидности класса объектов (например, *Среди них есть талантливые дети*), но она может быть представлена в виде субъектно-предикатной конструкции, в которой при субъекте стоит квантор неопределенной части множества (ср. *Некоторые дети талантливы*). Этот пример показывает, что язык постоянно изыскивает способы расширения логических возможностей синтаксических моделей. Так, подлежащно-сказуемостная структура завоевала себе доминирующие позиции в синтаксисе путем развития системы кванторов (показателей логического количества), а также использования глаголов, имплицирующих характер референции субъекта (например, *водиться*, *встречаться*, *иметься* — см. об этом ниже) или объекта (например, глагол, *иметь*, требующий нереферентного объекта).

Вернемся к проблеме взаимодействия экзистенциальных предложений и предложений характеризации. Если определение относится ко всей совокупности объектов, т. е. если создаются условия для референтного употребления имени, язык оставляет экзистенциальную структуру и прибегает к подлежащно-сказуемостной конструкции. Ср. *Среди женщин были красавицы* и *Все женщины были красивы* (*красавицы*). Однако, если целиком взятому классу дается негативная характеристика, то высказывание остается в пределах бытийного типа. Ср. *Среди них не было красавиц* =«все они были некрасивы, ни одна их них не была красавицей». То же касается предложений, в которых позитивная характеристика класса достигается через двойное отрицание. Ср. *Нет русского, который бы не любил быстрой езды* =«все русские любят быструю езду».

Если в коммуникативный фокус попадает количественное определение имени бытующего предмета, то тенденция к преобразованию экзистенциальной конструкции в предикатную не обнаруживает себя столь явственно. Это объясняется тем, что количественный предикат, в особенности указание на число счетных предметов, логически затруднял бы конкретную референцию имени: для того чтобы вычленить объекты из предметного мира, желательно располагать сведениями об их численности, которые, таким образом, обычно относятся к пресуппозициям характеризующих предложений. Это общее положение заставляет многие языки избегать субъектно-предикатной схемы в сообщениях о количестве, т. е. исключать количественные значения из семантической сферы предикатов. Существуют, однако, условия, вызывающие к жизни сообщения, коммуникативным ядром которых является указание на число счетных предметов. Так, например, совокупность предметов может быть выделена по некоторому признаку, не эксплицирующему их численность, а сообщение о количестве следовать за экзистенциальным введением. Ср. *В комнате были стулья. Стульев (которые находились в комнате) было пять.* Ср. также обиходные вопросы типа *Сколько вас здесь? Сколько их было? Сколько в отряде было бойцов?*

Специальные сообщения о количестве сталкиваются, таким образом, с затруднениями логического порядка, которые не одинаково разрешаются разными языками. В некоторых языках количественная характеристика не относится к числу условий, необходимых для референтного употребления имени, и в область предикации допускаются количественные значения. Например, англ. *We are five*; *The chairs are many*; исп. *Las sillas son tres*; *Los soldados eran pocos*; *En esta sala somos cinco*; *Los estudiantes eran doce*. Если язык опирается на принцип количественной, в особенности численной, заданности предметов, обозначаемых референтным именем, т. е. исключает соответствующие значения из области предикации, то для сообщений о количестве используются экзистенциальные структуры, предназначенные для нереферентных имен и создающие, как отмечалось выше, предварительный шаг к их последующему референтному употреблению. При этом внутри экзистенциальных предложений происходит передвижение коммуникативного фокуса на количественное определение. Вследствие этого, имя в родительном падеже, т. е. падеже зависимости от количественных слов, отрывается от показателя количества и получает самостоятельную синтаксическую позицию. Глагол как бы утрачивает согласование с количественным словом, выделенным в позицию ремы. Став синтаксически самостоятельным, родительный падеж, как отмечали многие исследователи [7], приобретает значение партитивности. Ср. *В комнате было много народа — народа в комнате было много — народа было много.* Регулярное расчленение экзистенциальных предложений по этому типу обеспечивает известную морфологическую независимость друг от друга количественного выражения и имени (ремы и темы сообщения). Ср. *Ягод здесь кот наплакал*; *Комнат в квартире всего две*; *Их здесь раз-два и обчелся.* Такие предложения не могут быть «возвращены» в экзистенциальное состояние. Ср. **В квартире было две комнат.* Однако сообщения о количестве все же сохраняют в русском языке некоторые формальные черты экзистенциальных структур. В них, например, невозможна опре-

[7] См., например: Е. С. Истрина, Синтаксические явления Синодального списка Новгородской летописи, ИОРЯС, XXIV, кн. 2, 1919, стр. 30—31. История формирования партитивного генитива и его употребления в славянских языках даны в приложении к кандидатской диссертации: Ю. М. Костинский, Генитивные субъектные конструкции в современном русском языке, М., 1970 (там же см. библиографию по теме).

деленная детерминация имени. Высказывания типа [*В комнате были стулья*] **Этих стульев было пять*; [*У нее есть дети*] **Ее детей восемь* отклоняются от нормы. Предложения типа *Твоих денег здесь пять рублей* имеют иное содержание —«пять рублей из этих денег принадлежат тебе».

Получив значение партитивности, родительный падеж занял место в ряде других конструкций, требующих нереферентного имени, в частности в бытийных предложениях. Такое употребление, в значительной степени вытесненное из современного русского литературного языка, в полной мере сохранилось в севернорусских диалектах. Ср. *Всяких вещей висит*; *Ездило тут всякого народу*; *Попадает белых грибов* [8]. Характер референции, таким образом, связывается в русском языке не столько с детерминацией имени, сколько со структурной схемой предложения: нереферентные имена вытесняются из позиции подлежащего, которое тем самым стремится сохранить соотнесенность с референтным именем, т. е. определенный содержательный признак. Этим отчасти объясняется широкая употребительность в русском языке, в особенности в русских диалектах, односоставных предложений. Показательно, что предложения с причастным сказуемым двусоставны при референтном имени и односоставны при имени, относящемся к количественно неопределенному предмету. Ср. *Накошено травы* и *Трава скошена*; *Коту мяса положено и молока налито* и *Это мясо коту отложено* [9]. В литературном языке тенденция к различению референтного и нереферентного употребления имени самой структурной схемой предложения встретилась, как известно, с другой линией развития синтаксиса, а именно унификацией структуры логически различающихся предложений по подлежащно-сказуемостному образцу (им. пад. + согласуемый с ним глагол или прилагательное), в результате чего нереферентность имени утратила или ослабила связь с генитивом (ср. неотрицательные экзистенциальные предложения) [10] и стала более активно выражаться определителями. Если бы структурная унификация коснулась только формы глагола, но не имени, то в русском языке за генитивом могло бы закрепиться значение неопределенности, как это случилось, например, во французском языке, в котором неопределенный артикль множественного числа, а также партитивный артикль сформировались на базе предлога *de*, выражающего значение, близкое к генитивному. Явление согласования сказуемого с генитивом спорадически наблюдается в русских говорах. И. Б. Кузьмина и Е. В. Немченко в цитированной статье приводят следующие примеры такого согласования: *Бывают зимой таких морозов*; *Комаров налетят*; *С города приезжают девушек и пареньков*; *Ходят старушек к нам*; *Их ведь ходили* и др. Авторы объясняют это явление контаминацией с личными предложениями типа *Старушки (не) ходят*.

Выше отмечалось, что помещение коммуникативного фокуса на качественное определение имени в экзистенциальных предложениях придает имени определенность, опирающуюся на локальный детерминант. Нечто подобное происходит, когда коммуникативный фокус переносится на обстоятельство места. Такая актуализация не совместима с природой

---

[8] И. Б. Кузьмина, Е. В. Немченко, Глагольные конструкции с субъектным генитивом в современных русских говорах, сб. «Материалы и исследования по Общеславянскому лингвистическому атласу» (в печати).

[9] Этот вопрос применительно к диалектному материалу рассмотрен в кн.: И. Б. Кузьмина, Е. В. Немченко, Синтаксис причастных форм в русских говорах, М., 1971, стр. 61 и сл. (там же приводится библиография по теме).

[10] См.: Н. Ю. Шведова, Изменения в системе простого предложения, в кн.: «Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в. Изменения в системе простого и осложненного предложения», М., 1964, стр. 312—318.

экзистенциальных предложений, которые «отталкиваются» от локализатора как от известного, данного. Напротив, в высказываниях локальной предикации указание на место составляет цель сообщения [11]. Такое коммуникативное содержание требует конкретной референции имени: вопрос и сообщение о местонахождении имеют смысл только применительно к определенному объекту. Например, *Где ключ*? — *Ключ в двери*; *Где Петя*? — *Петя на службе*. Предложения типа *Ключ в двери* и *В двери ключ*; *Сестра у него в деревне* и *В деревне у него сестра* относятся к принципиально разным типам. Первые члены пар выражают отношения локальной предикации, т. е. сообщают о местопребывании конкретного предмета. Имя в них всегда осуществляет идентифицирующую референцию. Вторые выражают экзистенциальные отношения, сообщая о том, что в данной сфере бытия имеются объекты некоторого типа. В первые может быть введен глагол *находиться* (*Сестра его находится в деревне*), имплицирующий референтное употребление имени, во вторые — глагол *иметься*, имплицирующий нереферентное употребление имени (*В деревне у него имеется сестра*). Приведенный пример с очевидностью показывает, что характер референции имени прямо связан с коммуникативной направленностью предложения. В русском языке, однако, существуют точки пересечения между экзистенциальными предложениями и предложениями локального отношения. Когда ставится или предполагается общий вопрос локального типа, то отрицательный ответ на него допускает двоякое строение. Ср. *Мое пальто на вешалке*? а) *Нет, твое пальто не на вешалке*, б) *Нет, твоего пальто нет на вешалке*. Хотя формальная структура первого варианта находится в соответствии с его логической структурой и принципом построения позитивной формы (ср. *Твое пальто на вешалке — Твое пальто не на вешалке*), реально более употребителен второй вариант, следующий экзистенциальной модели. Бытийное построение локальных предложений имеет общеотрицательное значение: *Петя здесь*? — *Нет, Пети здесь нет* (=Петя не находится здесь). Если бы локальные предложения не пользовались отрицанием *нет*, то в них общее отрицание для форм настоящего времени не отличалось бы от частного отрицания, относящегося к локализатору, т. е. предложение *Петя не здесь* могло бы означать и 1) Петя не находится здесь и 2) Петя находится не здесь (а в другом месте). Язык, однако, дифференцировал эти смыслы, включив в систему форм локальной предикации отрицание *нет*, заимствованное у бытийных предложений. Между тем позитивные локальные предложения с нулевой связкой допускают две интерпретации при одном и том же актуальном членении: *Петя/здесь* может быть понято и как общее утверждение, и как утверждение, в котором логический акцент падает на локализатор. Хотя эти значения близки друг другу, между ними все же есть различие, которое выявляется в формах отрицания (*Пети здесь нет* и *Петя не здесь*), а также в предложениях с эксплицированным глаголом, ср. 1) *Петя здесь был — Петя здесь не был — Пети здесь не было*; 2) *Петя был здесь — Петя был не здесь* (*а в другой комнате*).

Отмеченная для локальных предложений логическая двузначность не характерна для собственно бытийного типа, в котором соответствующие смыслы дифференцируются при помощи глагола *есть*, на основе которого, как известно, и сформировалось бытийное отрицание. Ср. 1) *Здесь есть грибы — Здесь нет грибов*; 2) *Здесь грибы* (*а не ягоды*) — *Здесь*

[11] О соотношении экзистенциальных и локальных предложений см.: Ch. K a h n, The Greek verb «to be» and the concept of being, «Foundations of language», 1966, III, 3; J. K i m b a l l, The grammar of existence, «Papers from the IX regional meeting of Chicago linguistic society», Chicago, 1973.

не грибы (*а ягоды*) [12]. В отличие от экзистенциальных предложения локального значения не дают параллелизма в употреблении *есть — нет* (*Петя здесь — Пети здесь нет*), что, как кажется, подтверждает вторичность употребления в них бытийного отрицания.

Итак, экзистенциальное *нет* в локальных предложениях имеет общеотрицательное значение. Оно исключает необходимость противопоставления и часто используется при желании избежать позитивного ответа на частный вопрос. Ср. «„Позвольте узнать,— сказал Чичиков с поклоном.— Здесь дела по крепостям?“ Старик поднял глаза и произнес с расстановкою: „Здесь нет дел по крепостям“» (Гоголь, Мертвые души). Выбор отрицания *нет* вместо *не*, уместного в данной ситуации (ср. *Дела по крепостям не здесь, а в другом углу комнаты*), вызвано нежеланием дать нужную справку.

Любопытный материал для наблюдений над связью логико-синтаксического типа предложения и референцией имени предоставляют высказывания, относящиеся к ситуациям, допускающим двоякую логическую интерпретацию.

Высказывания локальной предикации, как говорилось, отличаются от экзистенциальных тем, что опираются на предпосылку существования конкретного предмета или класса предметов. Однако в некоторых случаях локальное сообщение и в особенности вопрос могут относиться к неопределенному предмету и быть в силу этого более близкими к экзистенциальному типу. Ср. *Где здесь* (*есть, имеется*) *молочная?* Вопрос о местонахождении неопределенного объекта в сущности объединяет экзистенциальное предположение и основывающийся на его истинности локальный вопрос: *Где-то здесь, вероятно, есть молочная. Если, это так, то где именно она находится?* Описанная ситуация логически затемнена: остается неясным, можно ли считать достаточным для референтного употребления имени опору на предположение о том, что в данном пространстве должен находиться предмет определенного функционального класса, т. е. можно ли в описанных условиях строить предложение по локальной модели, предназначенной для референтных имен. Поэтому в вопросе обычно реализуется некоторая промежуточная между экзистенциальной и предикатной структура: *Где здесь молочная?* Глагол *находиться*, сочетающийся только с референтным субъектом, избегается. Ответ, как правило, строится по локальному типу, поскольку отвечающий имеет в виду конкретный объект. В этом случае снова отсутствует параллелизм в построении вопроса и ответа.

Особенно часто возникает необходимость в актуализации обстоятельства места в предложениях, касающихся неопределенной части класса. Ср. *Где бывают* (*есть, водятся, встречаются*) *тигры? У нас в стране тигры водятся* (*есть, встречаются*) *в Уссурийском крае.*

Предложения этого типа являются своего рода лимитрофами, соединяющими признаки бытийных отношений (нереферентность имени) и локально-характеризующих высказываний (актуализация обстоятельства места). Русский язык разрешает указанную логическую коллизию лексическим путем, прибегая к глаголам, требующим субъекта со значением неопределенной части класса (*водиться, встречаться*). Наличие таких глаголов позволяет оформлять сообщения о неконкретном объекте по субъектно-предикатному образцу. Здесь уместно напомнить, что гла-

---

[12] И. А. Евреинова справедливо считает, что элемент *не* в бытийных предложениях с нулевой связкой служит частным отрицанием, входящим в позитивное по своему общему смыслу высказывание (I. A. E v r e i n o v, Die Semantik einer Nullform: Versuch einer neuren Definition der Kopula im Russischen, «Linguistics», 98, 1973, стр. 52).

голы бытийного значения (*находиться, иметься, встречаться, водиться*) различаются именно характером референции субъекта, который должен отмечаться в словарных статьях с той же регулярностью, с какой в них фиксируется лексический разряд сочетающихся с глаголом имен.

Теперь рассмотрим отношения тождества и их взаимодействие с отношениями характеризации.

Логико-синтаксические отношения идентификации устанавливают тождество объекта самому себе. В наиболее ясном случае речь идет об одном и том же материальном объекте, т. е. денотате имени (так называемое онтологическое тождество, опирающееся на принцип индивидуации). Отношения идентификации тем самым рефлексивны, т. е. обращены на один объект. Их инверсия поэтому не меняет существа отношений. В предложениях тождества оба имени референтны, т. е. замещают конкретный объект, причем один и тот же. Если в положительной форме предложения тождества утверждают, что существует только один объект, соотносимый с двумя именами, то в отрицательной форме они указывают на существование двух референтов именных выражений, т. е. как бы восстанавливают естественную ситуацию, при которой особому имени должен соответствовать особый объект. Ср. *Чичиков не есть переодетый Наполеон.*

Хотя оба имени, фигурирующие в предложениях тождества, референтны, они, однако, неравноправны в коммуникативном отношении. Расположение именных выражений передает коммуникативное задание. В доглагольной (тематической) позиции находится имя, относящееся к объекту, данному в непосредственном наблюдении или актуальном знании, имя же апеллирующее к прошлому опыту или периферийному знанию и предназначенное для того, чтобы его актуализовать, ввести в фокус, составляет сообщаемое, т. е. при нормальном расположении слов помещается в послесвязочной позиции. Ср. «Палицын был тот самый ложный друг, погубивший отца юной Ольги» (Лермонтов, Вадим), «Вы знаете Агафию Федосеевну? Та самая, что откусила ухо у заседателя» (Гоголь, Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем). Таким образом, несмотря на симметричность логических отношений, предложения тождества в коммуникативном аспекте определенным способом организованы: одно имя в них соответствует теме сообщения, другое — реме. Следует подчеркнуть, что ни при каких других логико-синтаксических отношениях референтные имена не могут быть ремой сообщения. Из сказанного вытекает, что всякие коммуникативные преобразования предложений иных логико-синтаксических типов, в результате которых актуализуется референтное имя, ведут к установлению отношений тождества. Так, ответы на явный или неявный частный вопрос должны рассматриваться как предложения, выражающие логические отношения идентификации. Ср. *Кто пришел? — Пришел Коля* (= «тот, кто пришел, есть Коля; пришедший — Коля»); *Кому ты отдал мой зонтик? — Я отдал твой зонтик нашей гардеробщице* (= «лицо, которому я отдал зонтик, есть наша гардеробщица»).

Изменение актуального членения предложений характеризации, перенос коммуникативного фокуса на референтное имя имеет своим следствием коренное изменение связывающих эти элементы логико-синтаксических отношений. Если предложение *Родион Раскольников убил старуху* выражает логическую предикацию (характеризацию), т. е. сообщает о некотором действии, совершенном конкретным лицом, то, перенося коммуникативный фокус на субъект суждения и превращая его тем самым в рему высказывания, говорящий заменяет отношения характеризации отношениями идентификации: *Старуху убил Раскольников — Убийца старухи — Раскольников.* Ср. «Как кто убил?» — переговорил он, точно не

веря ушам своим,— да вы убили, Родион Романович. Вы и убили-с...» (Достоевский, Преступление и наказание).

Не случайно поэтому во многих языках с несвободным порядком слов предложения, в которых логическое ударение падает на референтное выражение, строятся по модели связочных предложений тождества. Ср. англ. *He who murdered the old woman was John*; *John was he who murdered the old woman* (так наз. cleft sentences); франц. *C'est moi qui vous invite*; исп. *Yo soy ahora quien te lo pide*; *Doña María es quien manda en la casa*; итал. *Era lui che raccomandava di tacere*. Если в коммуникативный фокус, однако, попадает нереферентное имя, то результирующее высказывание выражает не отношения тождества, а отношения, которые могут быть названы классифицирующей (таксономической) предикацией, т. е. предикацией, приписывающей предмету некоторую совокупность признаков. Так, высказывание *Пришел* (*какой-то*) *мальчик* выражает таксономическую предикацию: пришедший причисляется к классу мальчиков, обладает чертами данного класса. Таксономическая характеристика предмета обычно выражается субстантивным сказуемым, поскольку существительное гораздо более, чем прилагательное, склонно соединять в своем значении целый набор различительных признаков.

Специфика предложений тождества, соотносительных с предложениями характеризации и являющихся результатом изменения их актуального членения, состоит в том, что в них теме соответствует атрибутивно употребленная единичная дескрипция (см. выше), т. е. дескрипция, относящаяся к неидентифицированному объекту, а реме — имя собственное, дейктическое местоимение или иное выражение, относящееся к конкретному, известному собеседникам предмету. Иначе говоря, в первом члене, теме, подобных предложений стоит неизвестная адресату речи величина, а во втором члене, или реме, напротив, заключено нечто, известное собеседнику. Такие высказывания имеют э к с п л и к а т и в н ы й характер.

Связочные предложения тождества, в которых теме соответствует атрибутивно употребленная единичная дескрипция, обладают той особенностью, что «рокировка» терминов отношений может разрушить отношения идентификации, преобразуя их в отношения характеризации. Предложения типа *Менделеев — создатель периодической таблицы химических элементов*; *Лермонтов — автор поэмы «Демон»* в обычном употреблении содержат характеристику субъекта и должны прочитываться так: *Менделеев разработал периодическую таблицу химических элементов*; *Лермонтов написал поэму под названием «Демон»*.

Если в предложениях типа *Пришел Коля* глагол в личной форме скрывает за собой единичную дескрипцию (*пришел = тот, кто пришел*; *пришедший*), то в предложениях типа *Лермонтов — автор поэмы «Демон»*, напротив, единичная дескрипция скрывает за собой указание на действие (*автор поэмы = написал поэму*). Определенная дескрипция в этом случае утрачивает референтность. Входящее в нее имя лица (*автор*, *создатель*, *родоначальник* и пр.) эквивалентно глаголу реляционного значения. Таким образом, наличие в реме связочных предложений единичной дескрипции не является само по себе свидетельством того, что перед нами предложение тождества [13].

Итак, не только отношения характеризации могут преобразовываться в отношения идентификации, но и эти последние при определенных усло-

---

[13] Об этом уместно сказать, так как логики обычно не учитывают указанной возможности прочтения связочных предложений. См., например: К. Б е р к а, Функции глагола «быть» с точки зрения современной формальной логики, в кн.: «Логико-грамматические очерки» М., 1961, стр. 170—173.

виях могут получить значение, соответствующее отношениям характеризации.

Выше была сделана попытка показать соотносительность между логико-синтаксической структурой предложения, референцией входящих в нее термов (имен и именных выражений) и коммуникативной перспективой высказывания. В заключение следует добавить, что в соответствии с перечисленными свойствами предложения находится и семантика имени. Не развивая подробно эту тему, заметим лишь, что каждый тип предложения отдает предпочтение определенным типам номинаций. Для экзистенциальных предложений характерен выбор имен, обозначающих широкие классы предметов (таксономических номинаций). В них избегаются слова, лишенные понятийного содержания,— имена собственные, личные и дейктические местоимения. Для предложений характеризации, напротив, типично употребление в функции субъекта, т. е. референтного терма, имен собственных, личных и дейктических местоимений, имен нарицательных с местоименными детерминантами (главным образом функциональных и реляционных) — *мой начальник*, *его брат*, *наш врач* и пр. Если субъектом служит атрибутивная дескрипция, то она создается на ситуативной основе (ср. *пострадавший*, *вор*, *хулиган* и пр.). В сказуемом характеризующих предложений, если оно выражено существительным, естественна качественная номинация предмета. Сказуемое общих суждений классифицирующего типа всегда имеет более широкое значение, чем их подлежащее. В классифицирующих предложениях конкретного значения, напротив, обозначение субъекта осуществляется именем более широкого класса, сравнительно с предикатом. Ср. *Роза — цветок* и *Этот цветок — роза*; *Лебеда — сорняк* и *Этот сорняк — лебеда*. В предложениях тождества, в которых оба имени референтны, фигурируют термы, приспособленные к тому, чтобы наиболее эффективным способом идентифицировать предмет,— имена собственные, дейктические и личные местоимения, определенные дескрипции — реляционные, функциональные и ситуативные. Если оставить в стороне термы, лишенные понятийного содержания (имена собственные и местоимения), то приспособление к наиболее успешному осуществлению коммуникативной функции привело к формированию двух основных типов значения, которые могут быть названы и д е н т и ф и ц и р у ю щ и м и п р е д и ц и р у ю щ и м. В речи идентифицирующее значение складывается из необязательно логически между собой связанных, гетерогенных, варьирующихся по своему количеству, индивидуализирующих по отношению к денотату, максимально объективных компонентов, выбор которых обусловлен прагматически и к которым предъявляется требование известности адресату. Предицирующее значение стремится к семантическому минимуму. Оно допускает высокую степень субъективности, для него характерен широкий спектр оценочных оттенков [14].

Итак, к трем указанным выше взаимообусловленным характеристикам предложения может быть присоединена четвертая — семантика термов, входящих в те или другие логико-синтаксические структуры, и выполняющих в них определенную функцию. Значение слова, пожалуй, более, чем какая-либо другая категория языка, функционально обусловлено.

---

[14] О признаках идентифицирующего и предикатного значения в языке см.: Н. Д. А р у т ю н о в а, Коммуникативная функция и значение слова, ФН, 1973, 3.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1976

В. М. НИКИТЕВИЧ

О ДЕРИВАЦИОННОЙ СИСТЕМНОСТИ И ПРЕДМЕТЕ ДЕРИВАЦИОННОЙ ГРАММАТИКИ

1. Важнейшим фактором, который определяет внутреннюю организацию и внешние границы деривационной системы конкретного языка, является не только продуктивность моделей образования производных слов, но и словообразовательная недостаточность. Она выражается в том, что ряды производных слов с одинаковым словообразовательным значением, как правило, являются количественно ограниченными по отношению к соответствующим рядам производящих (мотивирующих) слов. Глаголы со значением «действие по роду занятий» типа *плотничать*, *учительствовать* не включают в свой состав, например, такие потенциально возможные слова, как *тракторничать*, *педагогствовать*. Из слов *город*, *остров*, *деревня*, *материк* только первые два вовлекаются в процесс образования цельнооформленных названий лица по территориальному признаку (*горожанин*, *островитянин*).

Констатация данного факта сама по себе не существенна и не представляет ничего нового. Но этот факт может и должен быть принят как один из исходных моментов в постановке и решении важных вопросов, связанных с исследованием деривационной системы языка.

Эти факты многое проясняют в проблеме причинности, которая «поднимает» любое наблюдение со ступени описания на высшую ступень — объяснения.

Для общей теории языка существенно установление лингвистических и нелингвистических причин, следствием которых словообразовательная недостаточность во всем многообразии своих фактов выступает как непременное свойство языка. Не менее существенно объяснение в языке рядов «равнозначных» номинаций, которые, на первый взгляд, как бы указывают на избыточность, т. е. нечто противоположное словообразовательной недостаточности.

В своей конкретной части исследование образующей, а также семантической и грамматической структуры замещающих знаков, которые появляются на месте потенциально возможных, но узуально отсутствующих в языке «требуемых» слов, приводит к описанию реальной деривационной системы, функционально объединенной со словообразованием данного языка.

2. В существующей традиции основным предметом словообразования и его конечной целью является исследование связей между мотивирующими и мотивированными номинациями, причем последние обязательно должны быть представлены цельнооформленной единицей — словом. Это оправдано в той мере, в какой сам термин «словообразование» (образование слов) столь прозрачно ориентирован на совершенно определенную, «словесную» форму производных номинаций. Такая зависимость наших представлений о словообразовании от самой структуры означающих, от того, «как сделаны слова» и «как делаются слова» [1], проявилась в объединении во мно-

[1] «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 37.

гом лишь внешне сходных явлений. В одном ряду рассматриваются такие способы словообразования, когда производное слово необходимо появляется как новая единица, заполняя какую-то «пустую клетку» в номинативной системе языка, и такие способы, когда слово возникает как более «удобный» заместитель уже имеющейся номинации. В первом случае оно возникает в результате двустороннего процесса — в плане выражения и в плане содержания — как знак нового значения (*лес* → *лесной*; *ехать* → → *приехать* и т. п.). Во втором случае слово появляется прежде всего в результате конденсации раздельнооформленной номинации, без изменения значения. Простейшим ее видом являются такие сращения, которые отличаются от исходного сочетания слов лишь отсутствием «пробела» (*место жительства* → *местожительство*). Более эффективным продолжением данного процесса является аббревиация, пределом которой всегда окажутся буквенные или звуковые (ср. также слоговые) аббревиатуры.

Это односторонний процесс в том смысле, что он не связан в самом акте словообразования с изменением лексической или словообразовательной семантики. Такое образование слов полностью обусловлено планом выражения; вызвавший его импульс — «семантическое сгущение» в словесном знаке.

Безусловно, конденсация как проявление всеобщего свойства экономии языковых средств лежит в основе всей системы словообразования. С этих позиций могут быть рассмотрены и сами словообразовательные аффиксы, как замещающие знаки, эквивалентные реально существующим или мыслимым словам. Однако даже в пределах аффиксации существенно различать такое образование производных слов, которое дает новые номинации как означающие и означаемые, и такое, которое представляет собой лишь перестройку структуры означающего, не затрагивающую денотативной сущности его означаемого. В последнем случае конденсируемый компонент исходного сочетания будет представлен в слове не тем же мотивирующим знаком, как при сращении, или частью знака, как при аббревиации, а новым знаком — аффиксом, который берет на себя обязанность его лексической воспроизводимости (*зачетка* ← *зачетная к н и ж к а*, но, например, не *в е д о м о с т ь*).

Если считать, что эти производные (*зачетка*) в сугубо словообразовательном аспекте мотивированы не сочетанием, а отдельным словом (*зачет* → *зачетка*), с чем нельзя согласиться, то остается сам факт их коммуникативного варьирования с сочетанием.

Указанное различие остается и в более очевидных способах словообразования. Слова *пересилить* и *безрукий*, образованные способом «префиксации в сочетании с суффиксацией», принципиально не одинаковы в том, что второе эксплицитно соотнесено с раздельнооформленным знаком (*без рук*), который способен выступить его коммуникативным эквивалентом.

Принятое для современного русского языка деление способов деривации на два типа (имеющих одну и более, чем одну, мотивирующую основу) [2], является важным шагом вперед по сравнению с ранее бытовавшим представлением, что мотивирующая единица — это всегда только одно слово. Но поскольку не только слово, но и сочетание слов может быть мотивирующей единицей, логично предположить, что производное тем более не всегда способно «укладываться» в единое слово. Такое решение возникает, когда учитывается не только структура означающего, т. е. как бы внешняя сторона порождения слов, но, что более существенно, когда берется за основу само качество означаемого — внутренняя сторона порож-

[2] Там же, стр. 41.

дения производных номинаций. Тогда становится очевидным, что следует принципиально различать простую конденсацию раздельных знаков в слово и собственно деривацию.

3. Только те способы словообразования, которые представляют собой двусторонний процесс, позволяют охарактеризовать структуру и динамику словообразовательной семантики и определить ее границы в конкретном языке. При исследовании такого рода необходимо принимать во внимание не только те основы, которые вовлекаются в процесс словообразования, т. е. дают цельнооформленные номинации — производные слова, но и другие мотивирующие идентичные им основы, которые в силу своей словообразовательной недостаточности дают раздельнооформленные производные номинации: (ср. *старый → стареть, становиться старым*; и только: *пожилой → становиться пожилым*). Эти номинации обладают тем же словообразовательным, точнее, деривационным, значением, что и производные слова. Тем самым в каждом деривационном значении, объективно закрепленном в конкретном языке на базе словообразовательных моделей, выделяется не только весь ряд мотивирующе идентичных единиц, но и соответствующий ему ряд производимых единиц, таким образом исчезает противоречие, состоящее в том, что мотивирующим может быть как слово, так и сочетание слов, а мотивированным только отдельное слово.

Такой подход делает словообразование лишь основой деривационной системы, выделяет его как флективное ядро, подобно тому как оно выделяется и в самой грамматике — наиболее абстрагированной части языка. Сферой действия деривационной системы является выражение классифицирующей, в данном случае словообразовательной, семантики, но так как термин «словообразование» подчеркнуто указывает по существу лишь на один — лексемный — способ ее выражения, термин «деривация» получает собственное терминологическое содержание и перестает быть, как это принято, простым синонимом термина «словообразование».

Границы деривационной семантики достаточо свободно определяются тем же критерием, что и грамматической семантики, и, в частности, регулярным и наиболее абстрагированным выражением соответствующих значений — способом аффиксации. Способность слов с общим семантическим признаком (например, названия лиц по профессии) выступить с достаточной регулярностью в качестве единиц, мотивирующих присутствие в языке производных от них слов с новым общим семантическим признаком (например, действие по профессии) сообщает данным, лексическим по своей природе, значениям статус деривационных значений. Если в языке отсутствует словообразовательная конденсация такого производного значения, оно фактически не является слагаемым деривационной семантики, как и отсутствие в нем регулярных флективных форм слова не дает оснований говорить о грамматической семантике. В противном случае, если учитывать лишь «качество» и степень абстракции значения, нельзя увидеть уровневой специфики знаковых систем деривации и грамматики в конкретном языке.

Таким образом, границы деривационной семантики во многом зависят от материальных свойств словесных знаков, их способности создавать производные номинации посредством усложнения своей структуры в пределах цельнооформленной единицы — отдельного слова.

4. Но исходная обусловленность деривационного значения «планом выражения» не означает, что это значение существует только в группе соответствующих производных слов. Поскольку оно оказалось выделенным в составе производных слов, объединенных тем или иным образом общими моделями, явилось результатом языковой абстракции, надо по-

лагать, что и те мотивирующие основы, которые обладают словообразовательной недостаточностью, образуют производные номинации в данном значении не беспорядочно и не в том разнообразии, которое объединяется весьма неопределенным термином «описательные средства». Это подтверждается фактами. Если какая-то группа мотивирующе идентичных основ, например, *молодой*, *старый*, дает мотивированно идентичные производные — *молодеть*, *стареть*, это не значит, что другим подобным основам закрыт путь к реализации данного значения. Слово *пожилой* как семантически близкое словам, указанным выше, заполнит «пустую клетку» в данном значении сочетанием *становиться пожилым*. Деривационная сущность этого сочетания видна и в лексической абстрактности глагола *становиться*, и в его эквивалентности словообразовательному аффиксу, что подтверждается синонимикой этих сочетаний с производными словами, если они есть (*стареть — становиться старым*), и в их абсолютной регулярности, и, наконец, в полном изоморфизме с сочетанием в грамматической функции (ср., например, компаративы *старше*, *более старый*, но только *более пожилой*). Деривационное сочетание является такой же реальностью, как и морфологическое. Существуют разные способы выражения не только грамматических, но и деривационных значений.

5. Если в исследовании синхронных деривационных отношений вполне правомерным объектом могут явиться не только связи порядка *косить — коса*, но и *писать — перо*, *ручка*, т. е. так называемое супплетивное словообразование, то совершенно обязательным объектом должны явиться связи типа *пожилой — становиться пожилым*, поскольку здесь имеет место не только фактор значения, который является причиной и основой дифференциации языковых знаков, но и эксплицитная связь между мотивирующей и мотивированной единицами, как это свойственно собственно словообразованию, так как основное свойство словообразования покоится на материальном фундаменте мотивирующей единицы. Если бы язык не обладал способностью создавать требуемые номинации путем частичного усложнения знаковой структуры исходного слова (если бы господствовали отношения *писать — перо*), не было бы той знаковой организации, которую мы называем словообразованием. Другое дело, что эта знаковая система не в состоянии отразить в структуре цельнооформленных слов весь состав деривационно организованных номинаций, хотя порождающая сила этой системы настолько велика, что работает как бы вхолостую, в том смысле, что конденсирует в отдельном слове уже существующие раздельнооформленные номинации, не затрагивая их семантики в самом акте словообразования.

Эксплицитная связь между словом и сочетанием, которая, как и в словообразовании, представляет лишь усложнение исходного знака — необходимый критерий для выделения этой части деривационной системы, организованной в виде модели, из всего разнообразия перифрастических соответствий слова. Только «равнозначность» *сомневаться — выражать сомнение* возникает на деривационном уровне, а *сомневаться — не выражать уверенности* на лексическом. (Мы видим принципиальное различие таких сочетаний в механизме «равнозначного преобразования высказываний».) Но включение в деривацию отношений первого рода должно быть обусловлено их регулярностью, как и в самом словообразовании, являющемся ядром деривационной системы.

6. Конструктивную роль в создании системности деривации играют некоторые группы таких цельнооформленных номинаций, производные значения в которых возникают как результат деривационной транспозиции. Если исходить только из способа выражения значения (морфолого-синтаксический способ), их идентификация в ряду других способов слово-

образования была бы правомерной. Но выше было отмечено, что совпадение производных номинаций в границах слова — лишь внешний общий признак, по сравнению с которым куда важнее внутреннее их различие в отношении к деривации. Так, в отличие от слова *смельчак* слово *смелый* в значении существительного сохраняет свойства мотивирующего класса: парадигматику (*более смелый*), синтагматику (*смелый духом*). Актуализация этих значений исключает синонимику данных номинаций.[3] Если словообразование лежит в основе порождения разрядов слов с непересекающимися признаками — частей речи, то деривационная транспозиция лежит в основе номинативных классов с пересечением признаков разных частей речи. Этим качеством обладают и деривационные сочетания. В частности, они не только способны выступать синонимами парадигматических форм субстантивированных прилагательных (*более смелый* — (*тот*) *кто более смел*), но и выражать недоступные для них значения ([*тот*] *кто будет смелым*), что и объясняет их присутствие в составе номинативного ряда от общего мотивирующего слова (прилаг. *смелый*). Только при нейтрализации этих значений и субстантивированные прилагательные, и деривационные сочетания объединяются с существительными как «равнозначные» единицы — синонимы (*смельчак*, *смелый*, *кто смел*).

Это новый уровень номинативных единиц, стоящий над частями речи и создающий наиболее абстрагированную часть — вершину деривационной и грамматической системы языка. Суть этого качества со стороны деривации состоит в том, что отношения между производящей и производимой номинациями полностью покоятся на различиях в деривационной семантике при сохранении тождества семантики собственно лексической (корня), а со стороны грамматики — в том, что производимые номинации удерживают в себе и грамматическую информацию производящих номинаций предшествующих ступеней.

7. Системность деривации мы засвидетельствуем лишь тогда, когда убедимся, что каждая из групп мотивирующе однородных единиц находит знаково организованный путь ее необходимой проекции в другие производимые классы номинаций. Из отмеченных фактов можно предположить, что для этого процесса является закономерным стремление «не растерять» информацию предшествующего, мотивирующего знака, необходимую в новой номинации. Но это свойство зависит от структуры мотивированного знака. Так, названия лица, полученные путем суффиксации, реализуют обычно лишь часть лексической семантики мотивирующего слова. Это выражается, в частности, в ограничении (или устранении) их объектной сочетаемости: *любить искусство*, *правду*..., но только: *любитель искусства*. Это не значит, что другие элементы глагольных значений — семы — не проецируются в данный класс названий. Они реализуются в несловообразовательных способах деривации — транспозиции (*любящий правду*) и деривационном сочетании (*кто любит правду*). Только в первом случае способ аффиксации синонимичен последним двум (*любитель искусства*, *любящий искусство*, *кто любит искусство*). Но синонимика и в таких номинативных рядах возможна лишь при нейтрализации грамматических значений мотивирующего слова в производном слове при транспозиции и в деривационном сочетании.

Смысл сосуществования денотативно равнозначных производных состоит в их разной способности сохранять в производной номинации требуемую информацию производящей. Если способ деривационной транспозиции и аналитический способ (деривация сочетаний) восполняют словообразовательную [*понимающий* («тот, кто понимает») *искусство*; но ср.

[3] Ср.: «Грамматика современного русского литературного языка», стр. 159.

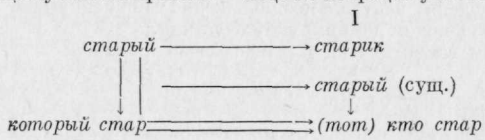
невозможное «пониматель искусства»], семантическую и в разной степени грамматическую недостаточность аффиксации, то вместе с тем аналитический способ восполняет грамматическую недостаточность транспозиции (*кто поймет искусство*, но ср.: *понимающий искусство*). В основе варьирования конструкций *Кто победит в соревнованиях, будет награжден* и *Победитель соревнований будет награжден* может явиться «сема» будущего времени, которая в раздельнооформленной номинации *кто победит* заключает однозначную информацию (победителя еще нет), отсутствующую в цельнооформленной номинации — *победитель*. Структура сложного предложения здесь — это лишь синтаксический способ представления простого предложения, вызванный структурой субъектной номинации (деривационным сочетанием). Такие сложные предложения не тождественны собственно сложным, как деривационные сочетания не тождественны собственно (синтаксическим) сочетаниям.

Никто не оспаривает, что производное слово содержит лексическую, словообразовательную и грамматическую семантику. Это находит продолжение и в производных иной структуры, но уже в таком качестве, когда они совмещают грамматические значения разных частей речи.

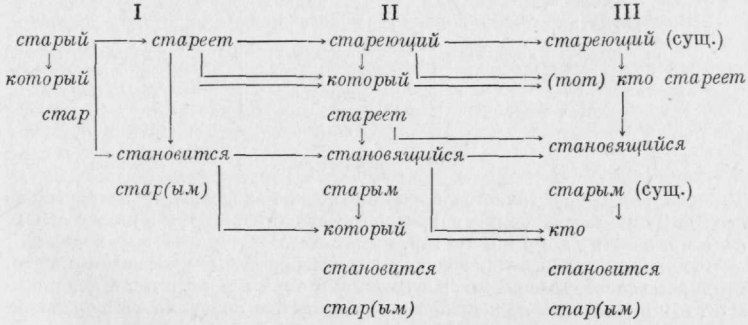
8. Взаимодействие способов аффиксации, транспозиции и аналитического способа создает системность на всех трех уровнях содержания номинации. Одна и та же исходная единица получает возможность включиться в порождение номинаций всех присущих языку ступеней производности.

Взаимодействие способов аффиксации, транспозиции и деривационного аналитизма (деривационного сочетания) создает регулярность синхронных отношений между номинациями от общей производящей основы, объединяя деривационную синтагматику (→, |→) и деривационную парадигматику (↓):

1) «непроцессуальный признак — лицо по непроцессуальному признаку»



2) «непроцессуальный признак — лицо по процессуальному признаку»



Сделаем пояснения ко второй, кажущейся, на первый взгляд, весьма сложной модели эксплицитного порождения производных.

Однословные номинации с нарастанием ступеней производности изме-

няют или усложняют по отношению к исходной единице (прилагательное) свои деривационные значения: I — глагол, II — глагол + прилаг., III — глагол + прилаг. + сущ.

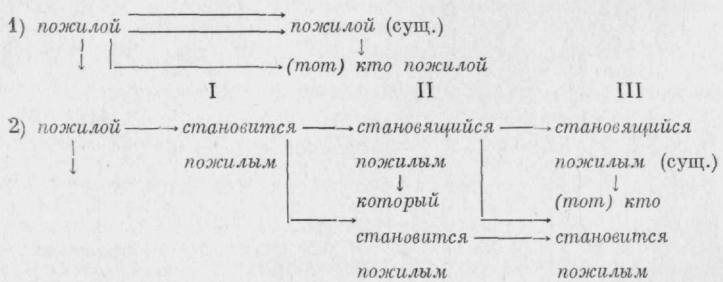
Это изменение или усложнение значений раскрывается в парадигматически соотнесенных с однословными номинациями деривационных сочетаниях. Так, сочетание *который стареет* раскрывает синкретизм причастия *стареющий* путем аффиксального выражения глагольности и лексического (служебным словом *который*) выражения атрибутивности [4]. Подобным же образом на совмещенность глагольности, атрибутивности и субстантивности в деривате *стареющий* укажет сочетание (*тот*) *кто становится старым* или *становящийся старым*. Сочетание (*тот*) *кто стар* в отличие от *старый* (сущ.) заключает в себе процессуальность (*кто был* [*будет*] *стар*).

В этом один из мотивов наличия нескольких, способных быть коммуникативными эквивалентами, сочетаний, совпадающих в общем деривационном значении с однословной номинацией.

Из схемы видно, что мы исходим из того, что в синхронной системе не только, например, *стареющий*, но и деривационное сочетание (*тот*) *кто стареет* могут быть, хотя и в разной степени, мотивированы причастием *стареющий*, поскольку они равно отличаются от него одним и тем же производным значением (название лица). В таком же отношении сочетание (*тот*) *кто стареет* находится к сочетанию *который стареет* (и под.), но большая близость между ними заключается в совпадении способа выражения деривационного значения.

Лексико-грамматические и образующие свойства мотивирующей единицы определяют конкретную реализацию «порождения» обоих — именного (1) и глагольного (2) — направлений номинации, которая может обнаружить и недостаточность в сравнении с моделями, показанными выше. В неполных моделях центральное положение также занимают однословные номинации, но в целом доминируют сочетания.

Рассмотрим семантически близкое слово *пожилой*:



Так реально осуществляется эксплицитное порождение производных во всех возможных ступенях производности и обеспечивается системность деривации.

Реальность данных моделей и целой системы указывает на то, что, кроме словообразования, в языке есть деривационная грамматика. Научное объяснение и практическое описание ее — важнейшая задача лингвистической науки.

---

[4] Синкретизм причастия ни у кого не вызывает сомнений. Пересечение в нем свойств двух частей речи реализуется способом аффиксации. Если принять во внимание только план содержания, это — аффиксальная деривационная транспозиция.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1976

О. А. КРЫЛОВА

ДЕТЕРМИНАНТЫ В АСПЕКТЕ КОММУНИКАТИВНОГО СИНТАКСИСА

Содержавшийся в работах Е. Куриловича, В. В. Виноградова и ряда других языковедов тезис о том, что некоторые предложно-падежные (падежные) формы и наречия могут выступать в предложении на правах распространителей предложения в целом, не будучи связаны с глаголом-сказуемым непосредственно, в последнее десятилетие получил дальнейшее развитие и конкретизацию в работах Н. Ю. Шведовой. В «Грамматике современного русского литературного языка» (М., 1970) дается следующее определение таких периферийных по отношению к глаголу словоформ: «Отдельная словоформа может входить в предложение в качестве его распространителя, формально не связанного ни с какой словоформой, распространяющей эту схему. Этот распространитель, относящийся ко всему предложению в целом, назовем д е т е р м и н а н т о м» (стр. 624).

Вопрос о детерминантах, как известно, вызвал оживленные споры среди лингвистов. И это не случайно. Хотя, на первый взгляд, речь идет о частном явлении — ситаксической квалификации определенных словоформ, однако по существу эта проблема носит общелингвистический характер. Ее удовлетворительное решение связано с принципиальным для описания синтаксического строя языка вопросом об основах выделения структурных схем предложения и, следовательно, об основах построения типологии предложений; одновременно оно затрагивает и такие вопросы, как: принципы многоаспектного, многоуровневого синтаксического описания; типы и характер синтаксических связей; функции порядка слов и закономерности расположения слов в предложении; категория определенности/неопределенности и ее синтаксическое выражение; соотношение модального плана предложения и его актуального членения и др., — т. е. целый ряд кардинальных проблем описательного синтаксиса.

Более того, выделение детерминантов привело к «изъятию» большого числа словоформ из инвентаря присловных глагольных распространителей, что поставило ряд серьезных проблем и перед лексикологами, работающими, в частности, над составлением словарей сочетаемости. Таким образом, решение вопроса о детерминантах имеет «выход» и в лексикографическую практику.

Наконец, нельзя не отметить и общеметодологической значимости этой проблемы. Поиски грамматических признаков детерминантов поставили языковедов перед необходимостью решить, может ли для идентификации какого-либо явления использоваться не один определенный, постоянный признак или множество определенных, постоянных признаков, а комплекс признаков непостоянных, переменных. Как выяснилось в ходе дискуссии, ученые разошлись во взглядах на эту проблему; ее позитивное решение также связано с построением адекватной теории детерминантов.

В последнее время, по справедливому замечанию Н. Ю. Шведовой, споры о детерминантах «вступили в новую фазу... обсуждается уже вопрос не о том, существуют ли вообще распространители целого предложения,

а о том, каковы... должны быть строгие методы отграничения детерминантов от присловных форм....» [1].

Настоящая статья и является попыткой рассмотреть детерминанты в таком аспекте, который, по нашему мнению, позволяет вскрыть их особую природу как распространителей предложения в целом, в отличие от компонентов словосочетаний, — в аспекте коммуникативного (актуального, динамического) синтаксиса.

1. Если исключить из рассмотрения случаи, когда в предложении нет слова, к которому можно было бы «привязать» предложно-падежную или падежную [2] форму (*С дровами плохо. У соседей свадьба*), то наиболее спорными оказываются случаи с глагольным сказуемым типа *В передней стояло старинное кресло. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна* (Лермонтов). *На соседней скамейке две девушки внимательно читали какую-то книгу.* Подчеркнутые предложно-падежные формы, обладая комплексом признаков, которые Н. Ю. Шведова считает критерием отграничения детерминантов от присловных форм, могут быть квалифицированы как детерминирующие обстоятельства. Напомним этот комплекс признаков: «неактуализированная позиция в начале предложения, семантическая несистемность связи в грамматически правильном соединении, сохраняемость в той же позиции во всех формах данного предложения, свобода сочетаемости с другими схемами» [3].

При ином подходе [4] из трех приведенных выше предложений только третье включает детерминант, так как валентность глагола *читать* не подсказывает позиции *читать где?*; напротив, локальные распространители входят в формулу семантической сочетаемости глагола *стоять* (*стоять где-либо*), следовательно, в первом и втором предложениях предложно-падежные формы детерминантами не являются, а распространяют глагол, выступая с ним в одном, подчинительном словосочетании.

2. Такого рода споры и различная интерпретация одних и тех же предложно-падежных форм — то как детерминантов, то как присловных распространителей — объясняется, на наш взгляд, тем, что путь, которым идет большинство лингвистов, пытаясь провести соответствующее разграничение, — это путь от словосочетания: рассматриваются словосочетания в отвлечении от предложения, устанавливаются типы связи в пределах словосочетаний и затем осуществляется переход к детерминантам, которые по форме опираются на компонент именно двучленных словосочетаний с нерегулярной связью [5]. В этом случае отграничение детерминантов от зависимых компонентов словосочетаний оказывается довольно затруднительным, поскольку указывается их формальное сходство, а такие отличительные признаки детерминантов, как несистемность семантической связи с глаголом, возможность трансформаций, позиция в начале предложения и невхождение в формулу семантической сочетаемости, — не являются абсолютными, могут быть (и были) оспорены.

3. Подобные споры наводят на мысль о возможности иного пути при отграничении детерминантов от присловных распространителей: это путь не от словосочетания, а от предложения. Оставляя в стороне

[1] Н. Ю. Шведова, К спорам о детерминантах, ФН, 1973, 5, стр. 66.

[2] Далее для краткости оба случая объединяются под названием «предложно-падежная форма».

[3] Н. Ю. Шведова, указ. соч., стр. 67.

[4] См., например: В. П. Малащенко, Свободное присоединение предложно-падежных форм имени существительного в современном русском языке, Ростов-на-Дону, 1972.

[5] Н. Ю. Шведова, Детерминирующий объект и детерминирующее обстоятельство как самостоятельные распространители предложения, ВЯ, 1964, 6, стр. 77 и сл.

вопрос о типах словосочетаний, о регулярности/нерегулярности связей между их компонентами, перенесем центр внимания на то общепризнанное обстоятельство, что детерминант — это «чисто предложенческая» категория. Опираясь на этот факт, необходимо найти то общее, что возникает между самыми различными предложно-падежными формами, когда они функционируют в предложении на правах распространителей его структурной схемы. В таком случае это общее и явится единственным признаком детерминанта как предложенческой категории, но признаком конституирующим, который не может быть оспорен [6].

4. Попытаемся найти это общее. Для этого сравним следующие предложения:

(1) (— *Что слышно о твоем приятеле, трактористе?*) [7].

— *Сейчас он живет в городе, учится в институте, женился, очень доволен.*

(2) *В городе // живет мой хороший приятель* [8].

В обоих случаях мы видим один и тот же глагол *живет* и одинаковую предложно-падежную форму имени — локальный распространитель — *в городе*. Возникает вопрос: в данных предложениях как единицах коммуникативных, т. е. взятых с учетом их конкретного лексического состава, актуального членения, интонации,— одинаковы ли связи этой предложно-падежной формы? Иначе говоря, *в городе* — это локальный распространитель — чего? глагола? всего предложения? Нетрудно заметить, что статус этой предложно-падежной формы в обоих предложениях различен: в первом предложении она распространяет глагол, ее включение в предложение происходит как реализация валентности глагола *жить где*?, она образует вместе с глаголом единое, цельное словосочетание — номинативную единицу, обозначающую действие — динамический признак, наряду с другими признаками того же субъекта: *учится в институте, женился, доволен*. По существу в предложение включено словосочетание как «строительный блок», созданный на основе свойств (лексико-грамматических возможностей) главного, стержневого слова. Для такого «строительного блока» использован определенный материал: это и падежная форма зависимого компонента вместе с предлогом, и определенный порядок слов — постпозиция по отношению к главному слову, и определенная интонация [9]. Иная картина наблюдается во втором предложении. Словоформа *в городе* отнесена к предложению в целом, она служит тем исходным пунктом высказывания, который является указанием на локальную прикрепленность ситуации, обозначенной всем предложением за вычетом этой предложно-падежной формы. При этом последняя, естественно, не оказывается «привязанной» только к глаголу, о чем свидетельствует несколько фактов. Во-первых, возможность следования за ней иных глаголов, вообще не

---

[6] Правомерность рассмотрения детерминантов как явления коммуникативно-синтаксического уровня предложения связана с тем, что на конструктивном уровне можно выделить только сочинительную, подчинительную и предикативную связи; но подчинительная связь детерминанта с глаголом отрицается,— остается предикативная связь. Однако и она невозможна: предикативная связь оформляет предложение, она присуща структурной схеме, а детерминант в схему не входит. Следовательно, связи детерминанта с остальным составом предложения лежат в плоскости не структурного, а коммуникативного синтаксиса.

[7] Здесь и далее контекст, не подвергающийся анализу, заключается в скобки.

[8] См.: Н. Ю. Шведова, Существуют ли все-таки детерминанты как самостоятельные распространители предложения?, ВЯ, 1968, 2, стр. 48.

[9] Обязательное ударение на втором компоненте словосочетания; это ударение при инверсии, преследующей стилистические цели, но не разрушающей единства словосочетания, непременно передвигается в препозицию вместе с зависимым компонентом: *в институ́те учится*; ср.: *У Григория рубаха мешочная... к лопа́ткам прилипла....* (Шолохов).

имеющих в формуле семантической сочетаемости позиции со значением «где?», например, *вспоминать*, *поздравлять* и т. п. Ср.: *В городе меня поздравили с орденом.* Во-вторых, «сохраняемость детерминанта» и в случаях неполной реализации схемы (например: *В городе — мой хороший приятель*;...)» [10].

Значит, при конструировании каждого из приводившихся предложений (*Сейчас он живет в городе, учится в институте... и В городе живет мой хороший приятель*) в качестве «строительного материала» использовался различный инвентарь «блоков»; в первом предложении: I — *сейчас*, II — *он*, III — *живет в городе*, IV — *учится в институте*, V — *женился*, VI — *очень доволен*; во втором предложении: I — *в городе*, II — *живет*, III — *мой хороший приятель*. На уровне предложения (не формулы, а коммуникативно-синтаксической единицы!) единого, цельного словосочетания *живет в городе* во втором предложении нет! Следовательно, даже семантически системная связь между глаголом и предложно-падежной формой с локальным значением (*жить в городе*) в предложении может не реализоваться в том смысле, что она не образует единого глагольного словосочетания как номинативного единства. Ее действие определяет, задает лишь грамматическое оформление зависимого компонента (уровень структурных связей), но не функционирование этой предложно-падежной формы в предложении. В этом случае предложно-падежная форма и выступает как детерминант.

Заметим попутно, что эти различия сопровождаются различиями по линии категории определенности/неопределенности, выражаемой предложно-падежной формой *в городе* в обоих случаях: в первом случае говорится о неопределенном городе (ср.: *живет в каком-то городе, в городе вообще = живет не в деревне*); во втором предложении говорится о данном, определенном городе (ср.: *в этом городе живет*...).

От чего же зависит, реализуется ли системная связь глагола с именем и тем самым в предложение включается целостное словосочетание, или же эта связь, существующая в лексико-семантической структуре языка, в конкретном предложении не реализуется и тем самым данная предложно-падежная форма включается в предложение вне определенного словосочетания, т. е. как детерминант, или как «свободно присоединяемая» форма?

По нашему мнению, это зависит от коммуникативной направленности предложения [11]. Об этом свидетельствует рассмотренный пример с глаголом *жить*.

Можно привести и другие примеры: словоформа *с соседом*, распространяя глагол *беседовать с кем*?, входит в предложение как компонент глагольного словосочетания (*Моя мать беседовала с соседом*), но она является детерминантом, если называет исходный пункт высказывания, объект ситуации, передаваемой всем последующим составом предложения: *С соседом уже беседовали, его просили, ему даже угрожали,— ничто не помогает!*; ср. *С соседом — несчастье. С соседом без недоразумений не обойдется* и т. п.

При таком подходе детерминантом является любая падежная или предложно-падежная форма имени (а также наречие или деепричастие), выполняющая самостоятельную роль как компонент актуального членения, наряду с подлежащим

[10] Н. Ю. Шведова, Существуют ли все-таки детерминанты..., стр. 48.

[11] Ср. замечание Н. Д. Арутюновой: «Эти обстоятельства (детерминирующие — *О. К.*) создают своего рода кулисы, на фоне которых разыгрывается событие, и причастны к актуализации предложения, его отнесению к реальной ситуации». («Общее языкознание. Внутренняя структура языка», М., 1972, стр. 318).

и сказуемым[12], а не входящая в состав подлежащего или сказуемого[13] на правах зависимого компонента словосочетания.

Таким образом, общий признак всех предложно-падежных форм, выступающих в роли детерминантов,— это их самостоятельная роль как отдельного компонента актуального членения предложения.

5. При такой интерпретации детерминантов получает свое объяснение единственный бесспорный признак из комплекса признаков детерминантов, перечисленных выше,— возможность соединения более чем с одной структурной схемой. Являясь самостоятельным компонентом актуального членения, в частности, исходным пунктом, детерминант лишь вводит сообщение, а само сообщение заключено в остальной части предложения. Следовательно, все предложение, за вычетом детерминанта, оказывается построенным так, чтобы выполнять функцию сообщения, быть коммуникативной единицей. Структурная же схема его при этом может быть различной; например:

С этими взглядами { *он согласился.*
мириться нельзя.
покончено.
давайте покончим.
согласны все.

Ср. с предложением иной коммуникативной направленности, где та же предложно-падежная форма имени (*с этими взглядами*), распространяя глагол, входит в предложение в составе словосочетания и не выполняет роли самостоятельного компонента актуального членения: *Лектор познакомил с этими взглядами своих слушателей.*

6. При таком подходе находят свое объяснение и другие спорные вопросы в теории детерминантов. В частности, (А) положение об употреблении частиц и (Б) положение о месте детерминантов в предложении.

(А) Напомним, что еще одним, дополнительным показателем несвязанности предложно-падежной формы с глаголом Н. Ю. Шведова считает возможность соединения этой формы с частицей; например: *Еще в райцентре ему рассказали о делах в колхозе.* По этому поводу Н. Ю. Шведова совершенно справедливо замечала, что «вхождение модальных частиц в структуру словосочетания абсолютно исключено». Отмечалось, что, когда такая модальная частица появляется перед предложно-падежной группой, которая могла бы рассматриваться как слабоуправляемая, эта группа тоже становится детерминантом. Например: *Только в Иркутске работают в этих организациях 30 тыс. горожан*[14].

Этот довод Н. Ю. Шведовой встретил возражение оппонентов; в частности, И. П. Распопов писал, что «вполне аналогичные случаи соединения с частицей в одинаковой мере характерны и для словесных форм, явно входящих в состав глагольных словосочетаний. Ср.: *Еще его предшественнику! обещали выдать для колхоза новый инвентарь...*»[15].

Но в том-то и дело, что появление модальной частицы — факт чисто предложенческого уровня — свидетельствует именно об отсутствии словосочетательной связи даже там, где она могла бы быть в силу лексико-грамматических свойств глагола. Словосочетание (как наименование

[12] В односоставных предложениях — наряду с главным членом.
[13] В односоставных предложениях — в состав главного члена.
[14] А. Ю. Шведова, Детерминирующий объект..., стр. 87.
[15] И. П. Распопов, О так называемых детерминирующих членах предложения, ВЯ, 1972, 6, стр. 60.

действия «обещать кому-то») возможно (ср. *Обещал мне — выполняй!*), но в данном предложении (как коммуникативно-синтаксической единице) его нет. Начальное место этой словоформы при поддержке частицы реализует иные коммуникативно-синтаксические связи: детерминанта, имеющего значение исходного пункта, предмета речи, со всем следующим сообщением. В самом деле, если в предложение входит цельное глагольное словосочетание «обещать кому-либо», то появление глагола уже прогнозирует наличие распространителя в определенной форме; например: *Депутат обещал е м у похлопотать о квартире*. Иное дело при наличии частицы, свидетельствующей о другом коммуникативном распределении синтаксических «ролей» в предложении:

Еще его предшественнику { *надо было хлопотать об инвентаре.*
обещали выдать инвентарь.
пришлось (удалось) получить инвентарь.
повезло с инвентарем.
был обещан новый инвентарь и т. д.

Но из этого следует принципиальной важности вывод: определенное коммуникативное задание может превращать в детерминанты не только предложно-падежные формы, никак не связанные с каким-либо членом предложения (типа *С женщиной обморок*), не только предложно-падежные формы, которые могли бы быть связаны с глаголом связью слабого управления (нерегулярного управления) или именного примыкания (типа *В городе живут мои старые друзья*), но и предложно-падежные формы, которые могли бы быть связаны с глаголом связью регулярного (сильного) управления. Ср., кроме приведенных, еще такие предложения: с одной стороны,

Машу { *мы уже встретили.*
уже вызывали.
приветствует весь колхоз.
пора отпускать.
надо бы показать врачу и т. п.,

а с другой—*Вечером я встретил Машу возле школы и проводил до самого дома.*

(Б). В свете сказанного становится ясной та большая роль, которая отводится в комплексе признаков детерминантов их местоположению в предложении. Несмотря на многие возражения оппонентов, Н. Ю. Шведова не случайно проводит мысль о том, что одним из признаков детерминантов является их нормальная неактуализированная начальная позиция.

Возражая, оспаривая и этот признак детерминантов, И. П. Распопов указывал, что в плане словопорядка «детерминирующие члены ничем не отличаются от остальных словесных форм, включаемых в состав предложения как непосредственно, так и через посредство словосочетаний. Все они могут занимать и первое, и последнее место в предложении в зависимости от того, какому коммуникативному заданию это предложение отвечает и каково в нем соотношение темы и ремы» [16].

Спор между исследователями по вопросу о местоположении детерминантов также может быть решен, как нам кажется, если исходить из описываемого здесь принципа рассмотрения детерминантов.

---

[16] И. П. Распопов, указ. соч., стр. 57

Порядок слов выступает в данном случае как одно из средств оформления актуального членения предложения; тем самым место данной предложно-падежной формы отражает то, каким образом эта форма включается в предложение: при контактной постпозиции она тяготеет к глаголу и вместе с ним, на правах его распространителя, входит в один компонент актуального членения (чаще всего — в рему), например: *Художник решился, наконец, свою работу показать в Москве.* Самостоятельная роль этой предложно-падежной формы в актуальном членении предложения оформляется иным ее местоположением: она отрывается от глагола-сказуемого и, чаще всего являясь исходным пунктом высказывания, начинает предложение: *В Москве нам показали музеи и театры, нас водили на экскурсии в Кремль и в МГУ.* Конечная позиция детерминанта также возможна, но, в отличие от начальной, она является как бы позицией нейтрализации: здесь детерминант и зависимый компонент словосочетания могут быть различаемы лишь при наличии иных показателей актуального членения, а именно: особого, эмфатического, ударения, модальных частиц, определенного контекста [17]. Например: *Встречаются эти животные только в Австралии.*

Таким образом, начальная неактуализированная позиция — это синтаксически сильная позиция для детерминантов, выступающих в роли темы (или в составе сложной темы). Детерминант в роли ремы встречается реже и, располагаясь в конце предложения, он не противопоставлен (или менее противопоставлен) зависимым словоформам в составе глагольных словосочетаний. Это синтаксически «слабая» позиция для детерминантов. Оказавшийся же в начале предложения детерминант-рема выделяется эмфатическим ударением, и такое словорасположение стилистически значимо. Ср. пример И. П. Распопова: *Герасим постоял, поглядел на нее, махнул рукой, усмехнулся и пошел, тяжело ступая, в свою каморку... Целые сутки не выходил он оттуда* (Тургенев) [18]. По поводу сказанного можно напомнить слова Н. Ю. Шведовой: «В языке существует то, что можно назвать „силой позиции“. Обстоятельственные характеристики — локальные, темпоральные — тяготеют к абсолютному началу предложения и в чисто информативном плане могут противопоставляться остальному его составу» [19]. Правда, отсюда не делается вывода об обязательном наличии в этой позиции детерминантов. Так, в предложении *В окне лесной сторожки мелькает огонек* локальная группа *в окне лесной сторожки*, по словам Н. Ю. Шведовой, «безусловно может считаться грамматически связанной с глаголом» [20]. Думается, что не только в информативном, но и в синтаксическом плане нет различий в статусе локальной группы во всех трех предложениях, приведенных Н. Ю. Шведовой для анализа: она везде является детерминантом. Ср.: *В окне лесной сторожки мелькает огонек.— В окне лесной сторожки — огонек.— В окне лесной сторожки сердце путника радует мелькнувший огонек.*

Более того, сила позиции (вместе с соответствующим коммуникативным заданием) изменяет связи этой локальной группы и делает ее детерминантом, как уже говорилось, даже при наличии глагола, который обладает валентностью, позволяющей употребить при нем сильноуправляе-

---

[17] Имеем в виду, разумеется, случаи, когда возможна «привязка» предложно-падежной формы к глаголу, так как вне этой возможности вопрос об отграничении детерминанта и слабоуправляемого компонента словосочетания не встает; ср.: *Обморок не с мальчиком, а с женщиной.*

[18] И. И. Распопов, указ. соч., стр. 57.

[19] Н. Ю. Шведова, К спорам о детерминантах, стр. 68.

[20] Там же. Впрочем по этому поводу делается оговорка, принципиально меняющая всю картину: «Возможно, и даже вернее всего, что такой связи здесь нет; но доказать этого нельзя, так как она свободно конструируется» (стр. 76).

мую форму имени *в окне*, например: *В окне лесной сторожки показался (появился) огонек.*

7. Дополнительным доказательством детерминирующей природы начальных предложно-падежных форм (даже в случае их вхождения в семантическую формулу глагола) могут служить трансформации «изъятия», или «опущения», частично совпадающие с теми, которые описываются В. П. Малащенко. (Хотя В. П. Малащенко этими трансформациями пытается доказать обратное, а именно: вхождение локальных групп в словосочетания с глаголами.) Полемизируя с В. И. Черновым [21], В. П. Малащенко указывает, что из 13 примеров, приведенных В. И. Черновым, в 10 встречаются не детерминанты, а зависимые компоненты словосочетания, которые «служат обязательными распространителями, предопределенными валентностью глаголов. Трансформация изъятия влияет на семантику глаголов: они либо изменяют свои значения, либо становятся семантически незавершенными» [22]. И далее В. П. Малащенко сравнивает примеры с пространственными распространителями из статьи В. И. Чернова и свои преобразования этих предложений:

(1) *В небольшом подмосковном поселке, неподалеку от станции/стояла громадная дача Сапожниковых с множеством террас и балконов.*	*Громадная дача стояла...* (?)
(2) *Перед дачей был разбит обширный фруктовый сад, где/росли яблоки, вишни, смородина всех сортов, крыжовник.*	*Яблоки, вишни, смородина всех сортов, крыжовник росли...*(?)
(3) *В предбаннике/стоял топчан.*	*Топчан стоял...* (?)

«Выделенные члены предложения В. И. Чернов считает детерминантами, — пишет В. П. Малащенко. — Но изъятие их из предложений привело к тому, что глаголы *расти* и *стоять* во втором и третьем предложениях утратили значение пребывания. А в первом предложении глагол *стоять* без конструкции со значением места испытывает семантическую недостаточность. Происходит это потому, что в данных предложениях обстоятельства места зависят от глагола, т. е. являются компонентами словосочетания» [23]. Произведенные В. П. Малащенко трансформации никак не могут служить доказательством того, что подчеркнутые локальные группы связаны с глаголом словосочетательной связью, потому что при трансформации опущения была одновременно произведена еще и перестройка предложений: в них был изменен порядок слов и тем самым изменено их актуальное членение. Естественно, что глаголы при этом или «изменили свою семантику, или испытали семантическую недостаточность» [24]. Но произошло это потому, что при названной перестройке глаголы оказались единственной ремой во всех предложениях. Тем самым предложения стали служить иной коммуникативной цели: при начальной позиции детерминантов предложения сообщали факт, событие, имевшее место в данной локальной ситуации; сказуемые *стояла, росли, был разбит, стоял* объединялись одним общим значением наличия, бытия и вполне могли быть заменены соответствующими глаголами: *В предбаннике был (находился, помещался) топчан.* Предложение как бы служило ответом на вопрос: «Что было в (этом) предбаннике?» А после перестройки, вызванной изменением порядка слов и изъятием локального

[21] В. И. Чернов, К вопросу о детерминантах, ВЯ, 1969, 1.
[22] В. П. Малащенко, указ. соч., стр. 58.
[23] Там же, стр. 58—59.
[24] Там же, стр. 58.

распространителя, актуальное членение стало иным. Коммуникативная нагрузка нового предложения — сообщение о признаке данного предмета; например, в таком контексте: *Толкнули еще раз. Топчан — ни с места. Навалились сильнее. Топчан/с т о я л.*

Очевидно, процедура опущения иного рода — без одновременного изменения порядка слов — доказала бы в о з м о ж н о с т ь абсолютивного употребления глагола и без изменения его семантики [25], а тем самым — соотнесенность локальных групп со всем предложением, их детерминирующий характер. Вот трансформации такого рода: *Перед дачей был разбит фруктовый сад.— Был разбит фруктовый сад. В предбаннике стоял топчан.— Стоял топчан.*

9. Какого же рода коммуникативная установка предопределяет функционирование тех пли иных предложно-падежных форм в предложении в роли детерминантов? Иными словами, каково должно быть актуальное членение предложений, чтобы можно было рассматривать предложно-падежную форму как детерминант? Здесь может быть два случая.

П е р в ы й, наиболее типичный и широко распространенный: детерминант называет такие условия, обстоятельства, а также объект или субъект, которые служат исходным пунктом для сообщения самого события. Например: *В л е с у/раздавался топор дровосека* (Некрасов); *В л е с у/ мы встретили старого охотника* [26]; *В л е с у/сыро и холодно*; *В л е с у/нам не понравилось* и т. д.; *Т е б е / п о в е з л о*; *Т е б е/ не до смеха*; *Т е б е/шутки*, (*а мне слезы*); *Т е б е/ весело*; *К м о е й м а т е р и/пришли гости*; *К м о е й м а т е р и/он испытывал самое глубоке почтение*; *К м о е й м а т е р и/надо привыкнуть*; *К м о е й м а т е р и/нередко обращаются за советом.*

Что объединяет эти, казалось бы, разнородные случаи? Их объединяет коммуникативно-синтаксический уровень: а) именно на этом уровне обнаруживается однотипная коммуникативно-синтаксическая роль этих предложно-падежных и падежных форм в построении предложений: это везде исходный пункт высказывания; б) именно на этом уровне все названные формы несут в себе значение определенности; в) все они позволяют присоединить к ним модальные частицы [27] (ср. *Это к моей матери пришли гости. Именно к моей матери он испытывал почтение* и т. п.); г) все они (хотя с большей степенью наглядности — обстоятельственные детерминанты) обладают как бы «скрытой предикативностью», т. е. служат репрезентантами бытийных, констатирующих предложений: *В лесу раздавался топор дровосека./= Был лес.+ (Там) раздавался топор дровосека* [28].

В т о р о й с л у ч а й менее типичен: сообщаемое в теме предложения событие детерминируется со стороны условий, обстоятельств, а также

[25] В речевой практике нередки случаи, когда глагол, семантическая валентность которого предопределяет место для регулярного распространителя, в предложении выступает абсолютивно. При этом «семантическая недостаточность» глагола может или вовсе не ощущаться: *А над самою макушкой долбит дятел на суку* (Есенин), или диктоваться стилистической задачей: *Всем известно, что... Каждый на себе испытал. Но, к сожалению, не все еще выполняют. Лучше посоветоваться с врачом. Соблюдайте. Не нарушайте. Воздерживайтесь* (Л. Наумов, Советы врача).

[26] Здесь в теме, кроме исходного пункта, детерминанта, есть «данное» — подлежащее *мы*. Наличие «данного» в теме объясняет препозицию подлежащего по отношению к сказуемому, в отличие от предложений первого типа, где за детерминантом следует сказуемое, а потом уже подлежащее.

[27] При этом может изменяться актуальное членение предложений — в соответствии с коммуникативным заданием, описанным ниже.

[28] См. аналогичное рассуждение В. П. Малащенко и его ссылку на статью Е. Кржижковой «Адвербиальная детерминация со значением места и направления», ВЯ, 1967, 2 (см.: В. П. М а л а щ е н к о, указ. соч., стр. 115 и 139). Этим свойством и объясняется, по нашему мнению, признак (б).

указанием на объект или субъект этого события. Здесь детерминант служит р е м о й предложения и в экспрессивно не окрашенной речи располагается в конце предложения. При этом обязательно, чтобы глагол-сказуемое, если он есть, входил в тему. Такая позиция детерминанта, как уже указывалось,— синтаксически слабая, и для выполнения данной предложно-падежной формой функции детерминанта необходима поддержка контекста, свидетельствующего о распределении глагола и детерминанта между различными компонентами актуального членения — между темой и ремой: а) «данность» глагола, б) наличие частиц, в) местоположение глагола — отрыв от детерминанта; например *Заметили мы волка т о л ь к о ч е р е з ч а с.* (*Встречу несколько раз откладывали*). *Удалось встретиться в д е н ь м о е г о о т ъ е з д а.* (*Надо было кого-то выбирать*). *Выбор пал н а п а с т у х а*[29].

*

Таким образом, падежные и предложно-падежные формы, участвуя в организации предложения как коммуникативно-синтаксической единицы, выступают в двух различных функциях в зависимости от актуального членения предложений: 1) при отсутствии слова, в подчинении к которому они могли бы быть,— в роли детерминантов, распространяющих весь остальной состав предложения; 2) при наличии слова, в подчинении к которому они могли бы быть,— а) либо в роли присловного распространителя такого слова, зависимого компонента единого словосочетания, б) либо опять-таки в роли детерминанта. Естественно, что легче роль детерминанта обнаруживается в первом случае, но существует принципиальная возможность ее реализации и во втором случае.

Следовательно, из двух общепринятых определений детерминанта — как распространителя всего предложения в целом и как распространителя структурной схемы предложения — более точным является второе, так как детерминант свободно присоединяется именно к различным структурным схемам, на основе которых строится предложение как самостоятельная, законченная коммуникативно-синтаксическая единица.

Однако это общее определение нуждается в уточнении указанием на конструктивные признаки детерминанта. До сих пор эти признаки отыскивались только на уровне структурно-синтаксических связей. Выше была сделана попытка показать, что эти структурно-грамматические признаки — лишь производное от коммуникативно-синтаксического признака детерминанта — его роли в актуальном членении предложения.

---

[29] Скрытая предикация есть и во втором случае: *Встретились мы* ***тогда, когда*** *был день моего отъезда. Выбор пал на* ***того, кто*** *был пастухом.*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1976

И. Г. ТОРСУЕВА

ТЕОРИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ИНТОНАЦИЯ

Интонация реализуется в высказывании, которое является основной единицей коммуникации. Строгой дефиниции высказывания в лингвистике не существует, несмотря на то, что имеется целый ряд работ, в большей или меньшей степени затрагивающих проблемы высказывания [1]. Достаточно обратиться к определениям высказывания американскими лингвистами, чтобы убедиться в существовании самых разнообразных и довольно неопределенных трактовок этого термина [2].

Определения высказывания можно было бы проследить по направлениям в современной лингвистике, т. е. в американской дескриптивной лингвистике, в Пражской школе, во французской лингвистике, в Лондонской школе, в советской лингвистике. Но и внутри каждого из этих направлений нет полной согласованности в определении высказывания; поэтому мы постараемся выделить характеристики высказывания, исходя из принципов, которые лежат в основе рассмотрения этого явления. Естественно, что при этом обнаружатся некоторые совпадения.

Анализ соответствующей литературы приводит к выводу, что можно выделить четыре основных подхода к определению высказывания: 1) «антиграмматический», 2) фонетический, 3) функциональный, 4) текстовый.

Подход, условно называемый нами «антиграмматическим», характеризуется тем, что высказывание противопоставляется предложению, т. е. определение высказывания полностью или частично строится на утверждении: высказывание — не то же самое, что предложение [3]. Отграничение понятия «высказывание» от понятия «предложение» было намечено еще А. А. Потебней. Эта идея была четко сформулирована А. И. Смирницким [4]. Наиболее полно этот подход обоснован в чешской лингвистике, а также в работах В. Г. Гака.

Нам кажется важным подчеркнуть, что введение термина «высказывание» совсем не означает, что имеется в виду единица какого-то суперуровня языковой системы. Введение этого понятия есть способ выделения в особый раздел тех вопросов, которые не умещаются в рамках синтаксиса предложения — таких, как описание коммуникативных типов, а также некоторых видов модальности. Поэтому противопоставление высказывания и предложения не может быть жестким, так как высказывание есть осуществление и предложения в речи. Однако это осуществление факультативно, т. е. в речи есть высказывания, морфосинтаксически не оформленные.

---

[1] Мы не приводим здесь подробный анализ тех концепций, которые достаточно полно представлены в работах В. Г. Гака. См.: В. Г. Гак, Высказывание и ситуация, в кн.: «Проблемы структурной лингвистики 1972», М., 1973; его же, Проблемы лексико-грамматической организации предложения. ДД, I, М., 1967; см. также: Ф. Данеш, К. Гаузенблас, К семантике основных синтаксических формаций, в кн.: «Грамматическое описание славянских языков», М., 1974.

[2] Подборка этих определений содержится в «Словаре американской лингвистической терминологии» Э. Хэмпа (М., 1964).

[3] Z. Harris, Methods in structural linguistics, Chicago, 1951; «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970.

[4] А. И. Смирницкий, Синтаксис английского языка, М., 1957.

Некоторые лингвисты говорят о предложениях-высказываниях [5], что дает возможность ввести интонационный критерий определения завершенности высказывания, тогда как введение этого критерия совершенно не оправдано при рассмотрении лишь структурных схем предложений.

Введение термина «высказывание» оправдано тем, что это дает возможность рассмотреть некоторые речевые отрезки не только с грамматической или не только с фонетической точек зрения, но и как целостное коммуникативное образование, как воплощение языковой системы способов оформления и передачи смысла, что никак не умещается в рамки синтаксиса предложения. Г. В. Колшанский справедливо отмечает, что «функционирование отдельного высказывания есть одновременно проявление языковой системы в целом» [6]. В этом свете становится понятным и оправданным подход к высказыванию, условно названный нами фонетическим [7].

Очевидно, что при определении высказывания нельзя избежать указания на его фонетические характеристики, тем более, что это очень важный момент при установлении границ высказывания, однако только фонетическое определение высказывания является односторонним. К. Пайк в своем определении совмещает грамматические и фонетические характеристики высказывания [8]. Но и этого еще недостаточно для определения высказывания.

Не менее существенным является описание содержательной стороны высказывания. Определения высказывания, содержащие указания на его функциональную направленность, на его смысловые аспекты, мы и относим к третьему подходу, условно называемому нами функциональным. Сюда относятся определения А. И. Смирницкого, О. С. Ахмановой, Ф. Данеша, В. Г. Гака и др. [9].

Г. В. Колшанский отмечает, что рассмотрение отдельных сторон высказывания, удобное в методическом плане, не должно заслонять сущностного единства факторов высказывания, как языковых, так и содержательных.

При подходе, условно названным нами текстовым, высказывание рассматривается как часть текста, наряду с такими образованиями, как абзац, период, сверхфразовое единство [10]. В рамках этой концепции высказывание может быть определено как минимальный текст. Но при этом важно иметь в виду, что характеристики текста и характеристики высказывания не идентичны, т. е. высказывание как часть целого не может иметь всех особенностей этого целого. Этот подход удобен тем, что можно выделить простые высказывания, имеющие форму предложений, и сложные высказывания, т. е. сверхфразовые единства или даже абзацы. Этот подход способствует также определению границ высказывания.

Итак, высказывание — это речевая единица. Она не имеет эмического коррелята в системе языка. В то же время при организации высказывания используются все виды единиц языка. В разных типах высказываний единицы языка представлены неодинаково. Разумеется, нельзя себе представить высказывание безынтонационное, бессловесное,

---

[5] В. Г. Адмони. Синтаксис современного немецкого языка, Л., 1973.

[6] Г. В. Колшанский, Соотношение субъективных и объективных факторов в языке, М., 1975.

[7] W. Twaddell, Answers to Andrade's questions, «Language», 12, 1936; Ю. С. Степанов, Основы общего языкознания, М., 1975.

[8] K. L. Pike, Phonemics, Ann Arbor, 1947.

[9] А. И. Смирницкий, указ. соч.; О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, М., 1966; F. Daneš, Intonace a věta ve spisovné češtině, Praha, 1957; В. Г. Гак, указ. соч.

[10] И. Р. Гальперин, О понятии «текст», в кн.: «Лингвистика текста», ч. 1, М., 1974.

беззвучное. Но наблюдается множество высказываний, синтаксически (морфосинтаксически) не оформленных. Высказывание в идеальном случае должно быть построено на структурной схеме предложения, но такое построение не является обязательным для всех видов высказывания. В любом случае высказывание должно быть подчинено норме данного языка. Когда речь идет о социальных вариантах нормы, то высказывание подчиняется социальной норме через текст — публицистический, научный, художественный и т. п. Когда речь идет о норме объективной, т. е. задаваемой системой языка через область комбинаторных вариантов, то высказывание подчинено системе языка, ибо является реализацией системы через варианты [11].

Содержательная сторона высказывания включает как основные элементы коммуникативную направленность, смысловое членение, эмоциональную насыщенность и подтекст.

Длина высказывания может быть равна длине предложения, сверхфразового единства и абзаца. Поэтому следует различать высказывания простые и сложные. Интонация маркирует начало и конец высказывания, если отсутствуют грамматические или лексические характеристики границ высказывания.

В свете всего изложенного можно дать такую более краткую дефиницию. Высказывание есть отрезок речи, имеющий коммуникативную направленность, смысловую целостность, являющийся реализацией языковой системы, отвечающий языковой норме.

В высказывании реализуются основные функции языка. Вопросу о функциях языка посвящена большая литература, обзор которой представлен во многих работах [12]. Широкое распространение получила теория языковых функций Р. Якобсона [13]. Так, например, У. Робинсон строит таксономию функций языка как развернутый вариант системы функций Якобсона. Как известно, Р. Якобсон различает шесть функций языка: денотативную, эмотивную, конативную, фатическую, метаязыковую и поэтическую. Однако классификация Р. Якобсона не может считаться удовлетворительной. Подробная критика этой концепции дана в книге Ж. Мунена [14]. В частности, Ж. Мунен считает, что Р. Якобсон неправомерно отделяет друг от друга поэтическую и эстетическую функции. То, что Р. Якобсон называет функциями языка, есть, по мнению Ж. Мунена, не что иное, как частные случаи его использования. Эти функции не имеют собственно лингвистических формальных критериев. Согласно Ж. Мунену, функции Р. Якобсона не объясняют ни функционирования, ни эволюции языка.

А. Мартине отмечает, что «то, что Р. Якобсон называет функциями языка, представляет в действительности особые проявления коммуникативной функции» [15].

Эту мысль можно дополнить тем, что метаязыковая функция Р. Якобсона, выделенная им на общих основаниях с другими функциями, имеет

---

[11] И. Г. Торсуева, Теория интонации, М., 1974.

[12] Г. В. Колшанский. О функции языка, «Ин. яз. в высш. шк.», 1963, 2; M.A.K.Halliday, Language structure and language function, в кн.: «New horizons in linguistics», Middlesex, 1970; W. P. Robinson, Language and social behaviour, Middlesex, 1972; С. Н. Сыроваткин, Значение высказывания и функции языка в семиотической трактовке, ВЯ, 1973, 5; А. А. Леонтьев, Язык, речь, речевая деятельность, М., 1969.

[13] R. Jakobson, Essais de linguistique générale, Paris, 1963.

[14] G. Mounin, La linguistique du XXe siècle, Paris, 1972. См. реферат этой книги: «Реферативный сборник. Теория и история языкознания», II, М., 1974.

[15] A. Martinet, La fonction sexuelle de la mode, «La linguistique», 10, 1974, 1, стр. 8.

совершенно иную природу, так как представляет собой констатацию возможности употребить язык для описания языка. Следовательно, она находится в одном ряду с использованием языка для любого научного описания.

Следует отметить также, что в теории Р. Якобсона игнорируется тот факт, что часть выделяемых им функций реализуется преимущественно в крупных текстах, а часть — в отдельных высказываниях. Высказывание, хотя и может рассматриваться как минимальный текст, все же не обладает всеми характеристиками текста, а имеет свои собственные характеристики (ср. , например, характеристики текста по В. Дресслеру [16] и характеристики высказывания по В. Г. Гаку [17]).

Поэтическая функция реализуется в основном в тексте. Частным случаем являются такие высказывания, как афоризмы и эпиграммы. Поэтические высказывания, изъятые из текста, теряют свою поэтическую функцию.

Фатическая функция, т. е. функция установления и поддержания контакта [18], вообще должна быть исключена из списка языковых функций. Это функция общения, которая не имеет собственных средств языкового выражения и пользуется формами, которые изначально являются реализацией других функций, собственно языковых.

Следует иметь в виду, что существует открытый и довольно значительный список функций общения, который не совпадает с инвентарем функций языка. Так, например, денотативная функция — это функция языка, в то время как фатическая — это функция общения. Функции языка и общения представляют собой пересекающиеся множества. Можно предположить, что функции общения формируют средства языка, но функции общения всегда более многочисленны, менее значимы, более дробны, чем функции языка.

Фатическая функция реализуется в отдельных высказываниях. Фатические тексты, например поздравительные телеграммы, легко распадаются на отдельные высказывания, изъятие которых из текста не разрушает его фатического характера. Это можно рассматривать как операциональный критерий при определении фатического текста. Что же касается языковых характеристик фатических высказываний, то их выявление не является необходимым, так как фатические высказывания в любом языке могут быть заданы списком, ибо их число невелико и они легко обозримы.

Описание лингвистических формальных критериев функций языка является важной задачей лингвистики, однако еще более существенной является собственно лингвистическая постановка проблемы функций высказывания. Необходимо определить, в каком феномене языка находит свое воплощение та или иная функция, а затем уже установить, какими конкретными средствами данного языка этот феномен реализуется.

Р. Якобсон приводит список функций языка с точки зрения отправителя, поиск же лингвистических критериев этих функций ведется с точки зрения получателя высказывания или текста. Чтобы найти эти критерии, нужно выяснить, по каким признакам реципиент относит то или иное высказывание, тот или иной текст к одной из вышеперечисленных функций. Из общего числа критериев, которые присутствуют в высказывании, реципиент ориентируется на тот, который имеет наибольшую функциональную нагрузку, т. е. обладает функциональной доминантой. В высказываниях, выполняющих, например,

[16] W. Dressler, Einführung in die Textlinguistik, Tübingen, 1972.

[17] В. Г. Гак, Высказывание и ситуация.

[18] B. Malinowski, Phatic communion, «Communication in face-to-face interaction», Middlesex, England, 1972.

метаязыковую функцию, функциональной доминантой обладает лексический состав высказывания. Это относится и к поэтическим высказываниям. Денотативная функция, представленная в большинстве высказываний, также находит свое выражение прежде всего в лексике.

Наиболее сложные характеристики имеют эмотивная и конативная функции. Они реализуются в высказывании и через высказывание — в тексте.

Невозможно представить себе высказывания (за исключением фатических) без денотативной, эмотивной и конативной функций, тогда как остальные функции появляются только в отдельных случаях, о чем совершенно справедливо пишет Ж. Мунен. Анализируя концепцию Бюлера, сам Р. Якобсон указывает на то, что эмотивная, конативная и денотативная функции являются основными, а некоторые другие (например, магическая) дополнительными. О трех обязательных функциях высказывания пишет и В. Г. Гак: «Высказывание обозначает не только предметные отношения, как они представляются говорящему, но и информированность собеседников (отражаемую актуальным членением) и позицию говорящего (отражаемую категориями модальности)» [19].

М. Халлидей также различает три функции языка, которые он рассматривает в их структурном воплощении на материале английского языка. Эти функции имеют следующие названия: ideational (контентная), interpersonal (межличностная) и textual (текстовая). Первая заключается в членении при помощи языка опыта данного языкового коллектива; вторая — в выражении коммуникативного типа высказывания. Эту функцию М. Халлидей интерпретирует через социальные роли участников акта коммуникации (тот, кто спрашивает,— тот, кого спрашивают, и т. д.) Выражение этой функции он видит в структуре наклонения. По существу, это иной подход к тому явлению, которое Р. Якобсон связывает с конативной функцией. Третья функция по Халлидею заключается в передаче актуального членения предложения. В заключение М. Халлидей пишет о том, что полифункциональность языка находит свое отражение в языковой структуре. Важно отметить, что, хотя М. Халлидей дает прежде всего экстралингвистическое толкование межличностной функции, о чем говорит сам термин, тем не менее в его работе содержится лингвистическая интерпретация функций в целом, что выгодно отличает эту концепцию от теории Р. Якобсона.

Определив, с каким языковым феноменом соотносятся межличностная (конативная) и текстовая (в какой-то мере соотносимая с эмотивной) функции, можно перейти к анализу средств, при помощи которых эти феномены реализуются. Важно подчеркнуть, что среди прочих языковых средств, воплощающих эти функции, существенную роль играет интонация.

Ведущая роль интонации в выражении отношения говорящего к высказываемому в актуальном членении отмечалась неоднократно [20]. Большое место отводится интонации и в плане воздействия на слушателя [21]. Частным случаем такого воздействия является построение коммуникативного типа

---

[19] В. Г. Гак, Высказывание и ситуация, стр. 358—359.

[20] В. Матезиус, О так называемом актуальном членении предложения, сб. «Пражский лингвистический кружок», М., 1967; В. В. Виноградов, Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения, ВЯ, 1954, 1; F. Daneš, Sentence intonation from a functional point of view, «Word», 16, 1960; К. Г. Крушельницкая, К вопросу о смысловом членении предложения, ВЯ, 1956, 5; M. A. K. Halliday, указ. соч.

[21] См. обширный список литературы в кн.: Л. К. Цеплитис, Анализ речевой интонации, Рига, 1974.

высказывания (вопрос, побуждение и т.д.), где роль интонации также значительна.

Помимо обширной литературы, трактующей функции языка в целом и функции высказывания, существует много работ, посвященных частным вопросам, в которых анализируются функции отдельных языковых средств и единиц языка. В качестве примера можно привести работу Л. З. Путиловой о функциях терминального нисходяще-восходящего тона в современном английском языке [22] или работу Н. М. Базилиной о функциях эпитета в современном французском языке [23]. Однако, несмотря на большое количество общих и частных исследований, не существует целостной концепции, трактующей функции языка и функции его отдельных единиц в их взаимосвязи и взаимодействии в рамках высказывания. Как попытку семиотического подхода к этому явлению можно рассматривать упомянутую выше статью С. Н. Сыроваткина. Автор совершенно справедливо отмечает, что «рассматривать функции высказывания — значит рассматривать функции языка и речи в целом, поскольку все они интегрируются и реализуются именно в высказывании» [24]. С. Н. Сыроваткин анализирует функции различного типа знаков, однако соотношение функций единиц различных уровней и функций самого высказывания остается невыясненным.

Очевидно, что функции высказывания в целом не совпадают с функциями составляющих его единиц. По-видимому, соотношение функций высказывания и его единиц представляет собой следующую картину. Прежде всего отметим, что любая единица языка обладает тремя функциями или тремя функциональными аспектами: конститутивным, дистинктивным и рекогнитивным [25]. Помимо этого, всякая единица выполняет частные функции, которые тождественны тому, что обычно называют ее значением (например, деривационное и реляционное значение морфем).

Функции высказывания (конативная, эмотивная и др.) накладываются на функции его единиц. Эти функции высказывания реализуются в языковых показателях. Например, коммуникативный тип высказывания может быть выражен лексически, грамматически и интонационно. Тогда мы имеем в высказывании три показателя одной функции. Функция как бы рассредоточена в высказывании, и роль каждого показателя невелика. В другом случае коммуникативный тип высказывания может быть выражен только интонационно, тогда функциональная нагрузка единиц интонации значительно возрастет.

И в первом и во втором случае единицы лексики, грамматики и интонации имеют конститутивный функциональный аспект. Соотношение дистинктивного и рекогнитивного аспектов в первом и втором случаях различно. Когда имеется один показатель функции, само собой разумеется, что соответствующая единица имеет прежде всего дистинктивный аспект, но также и рекогнитивный, в то время как для остальных единиц рекогнитивный аспект будет доминирующим. В случае, когда представлены три показателя, все единицы имеют как рекогнитивный, так и дистинктивный аспект. Однако слушающий или читающий обычно опирается при понимании высказывания на какой-то один (доминирующий) показатель. Естественно, что в устной форме общения реципиент ориентируется на инто-

[22] Л. З. Путилова, Акустическая структура фраз с терминальным нисходяще-восходящим тоном и его функции в современном южноанглийском литературном произношении. АКД, М., 1973.

[23] Н. М. Базилина. Эпитет в современном французском языке. АКД, М., 1974.

[24] С. Н. Сыроваткин, указ. соч., стр. 45.

[25] См., например: В. А. Васильев, Теория фонетического строя современного английского языка. ДД, М., 1969.

нацию, в письменной форме — на грамматические или лексические показатели. В литературе дистинктивная роль приписывается обычно грамматическим показателям. Думается, что это не вполне справедливо, так как все типы единиц, единицы всех уровней языка в равной мере и равноправно участвуют в построении высказывания. Неправомерно рассматривать один из уровней как постоянно избыточный по сравнению с другими.

Если в высказывании для реализации одной из его функций представлен только один показатель, то функция высказывания адаптируется единицей, становится ее собственной функцией. Если этот факт регулярно повторяется, то данная единица становится постоянным носителем определенной функции в высказываниях. Единица приобретает функциональную доминанту, которая сливается с функцией самой единицы, становится ее значением.

При этом данная единица может выполнять и другие функции. Так, например, интонация, выполняя конативную и эмотивную функции в высказывании, одновременно используется как демаркативное и лигативное средство.

Как уже говорилось выше, существенным для интерпретации той или иной функции является нахождение соответствующего ей языкового феномена. Для конативной функции Р. Якобсона и межличностной функции М. Халлидея таким феноменом является коммуникативный тип предложения. Функцию передачи коммуникативной направленности, выраженную в коммуникативном типе предложения, можно условно назвать коммуникативной функцией высказывания. Далее термин «коммуникативная функция» будет употребляться именно в этом узком терминологическом значении в отличие от широкого значения, относящегося к функции языка в целом.

Р. Якобсон пишет, что ориентация на адресата высказывания находит свое наиболее яркое выражение в вокативе и императиве. М. Халлидей отмечает, что речевые функции вопроса, утверждения, приказания, восклицания выражаются грамматически системой наклонения [26].

Вопрос о коммуникативных типах высказываний стал обсуждаться в языкознании около 100 лет тому назад. В период, когда господствовало логическое направление, рассматривались лишь предложения, передающие суждение; остальные типы оставались вне круга интересов лингвистов. Даже развивая теорию коммуникации, А. А. Шахматов исходит именно из идеи суждения. Он пишет: «К коммуникациям относятся не только пропозиции или суждения, но и всякие иные сочетания представлений, умышленно, с той или иной целью приведенных нами в связь, например, сочетания, нашедшие себе выражения в словах, как „дома ли отец? уходите! выпить бы чего, посидел бы ты с нами“!. Эти сочетания отличаются от суждения тем, что в них представления приведены в связь нарочитым актом не для утверждения чего-либо или отрицания, а в одном случае для вынуждения собеседника к тому, чтобы он высказал суждение, сочетав оба названных в вопросе представления, в другом случае для вынуждения или побуждения собеседника произвести то или иное действие („уходите! посидел бы ты с нами“), в третьем — для обнаружения желания говорящего („выпить бы чего“)» [27].

В сущности, некоторые аспекты анализа предложения в традиционной грамматике относятся к анализу высказывания. Поэтому классифика-

[26] M. A. K. Halliday, указ. соч., стр. 159—160; см. также: Э. Бенвенист, Общая лингвистика, М., 1974, стр. 315—316.

[27] А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, в кн.: «Хрестоматия по истории русского языкознания», М., 1973, стр. 341.

ция предложений на повествовательные, вопросительные, побудительные и т. д. всегда рассматривалась особо. Так, В. А. Богородицкий писал: «Но кроме этой объективной стороны, соответствующей миру представляемой мыслью действительности, может быть при каждом из трех типов еще момент субъективный, в зависимости от того, представляет ли высказываемое чистую мысль (прямую, или же вопросную), мысль, усложненную чувствованиями, или же желанием и волей» [28]. В. А. Богородицкий выделял три типа предложений: повествовательные (к ним же принадлежат и вопросительные), восклицательные и повелительные или желательные. Среди средств выражения этих субъективных значений указывается и характерное движение тона.

А. И. Смирницкий выносит рассмотрение предложений по вышеуказанному принципу в особый раздел, называя его «делением предложений по целевой установке». А. И. Смирницкий приводит языковые характеристики этих типов в английском языке. Причем вопросительные и повелительные предложения имеют развернутую характеристику, куда входят средства всех языковых уровней, а декларативные предложения «не характеризуются никакими специфическими лексическими или морфологическими средствами» [29].

Подробные языковые характеристики повествовательных, побудительных и вопросительных предложений немецкого языка приводятся в книге В. Г. Адмони. Это типы предложений, «оформляемые в зависимости от задачи, стоящей перед предложением в акте речевой коммуникации» [30].

В «Синтаксисе современного французского языка» Л. И. Илия эти типы предложений рассматриваются под рубрикой: «Семантическая классификация предложений (по функции)». Л. И. Илия пишет: «По функции или цели высказывания различаются предложения, содержащие: 1. сообщение или утверждение; 2. вопрос; 3. побуждение» [31]. Во всех трех типах даются как синтаксические, так и лексико-морфологические и интонационные характеристики.

Как видно из вышеизложенного, коммуникативные типы предложений рассматриваются в рамках синтаксиса, однако эти категории далеко не всегда выражены чисто синтаксическими средствами. Обычно наряду с ними указываются средства лексические и интонационные, т. е. даются критерии, выходящие за рамки синтаксиса предложения. Этот факт говорит о том, что эти категории принадлежат высказыванию, а не предложению и должны рассматриваться в теории высказывания. В некоторых случаях синтаксическая организация предложения действительно имеет функциональную доминанту при выражении коммуникативного типа высказывания, однако интонация играет не меньшую роль. Н. Д. Арутюнова пишет: «При несовпадении грамматического строения и просодического сопровождения функциональную роль сохраняет за собой интонация» [32].

Однако неправильно было бы рассматривать интонацию как единственно определяющий фактор в высказывании. Как уже указывалось выше, в формировании высказывания равноправно участвуют все единицы языка, все возможные средства, начиная с синтаксической организации высказывания и кончая интонацией. Интонация участвует как в организации высказывания, так и в оформлении коммуникативного типа высказывания,

---

[28] В. А. Богородицкий, Лекции по общему языкознанию, Казань, 1913, стр. 137.

[29] А. И. Смирницкий, указ. соч., стр. 261.

[30] В. Г. Адмони, указ. соч., стр. 187.

[31] Л. И. Илия, Синтаксис современного французского языка, М., 1962, стр. 179.

[32] Н. Д. Арутюнова, Синтаксис, в кн.: «Общее языкознание. Внутренняя структура языка», М., 1972, стр. 322.

однако роль ее при этом не обязательно дифференцирующая, она может быть лишь рекогнитивной. В том случае, когда интонация определяет коммуникативный тип высказывания, ее единицы обладают функциональной доминантой и можно сказать, что они имеют коммуникативную функцию.

Известно, что существуют различные точки зрения на экспрессивную функцию языка или его единиц. Так, А. Мартине считает, что «экспрессивная функция — это такая функция, которая может осуществляться в отсутствие собеседника; язык часто употребляется для экстериоризации личности, для снятия внутреннего напряжения, для самоутверждения индивидуальности» [33]. Анализ ряда работ показывает, что экспрессивная функция языка и, в частности, экспрессивная функция интонации обычно отождествляются с эмоциональной функцией [34]. Мы пользуемся в дальнейшем термином «экспрессивная функция», не отождествляя его с эмоциональной функцией.

Термин «экспрессивная функция» понимается нами близко к текстовой функции М. Халлидея [35]. Таким образом, языковым феноменом, воплощающим экспрессивную функцию, является смысловое членение. Обычно термин «смысловое членение» употребляется как синоним актуального членения [36]. Однако актуальное членение есть лишь частный случай смыслового членения. Наряду с ним, как известно, существуют и другие виды смыслового членения [37], подробный обзор которых содержится в работах Я. Фирбаса, О. А. Лаптевой, Т. М. Николаевой [38]. Одним из видов смыслового членения является членение по степени важности, разработанное автором данной статьи [39]. Экспрессивная функция понимается нами как находящая свое выражение в этом виде смыслового членения высказывания.

Интонация играет существенную роль при выражении степени важности. При этом она может действовать совместно с лексическими и синтаксическими моментами; однако в равной мере возможен случай, когда интонация является единственным индикатором распределения степени важности отрезков высказывания.

Таким образом, можно выделить две основных функции высказывания, которые мы условно обозначили терминами: коммуникативная и экспрессивная, и определить языковые феномены, в которых эти функции вопло-

---

[33] A. Martinet, указ. соч., стр. 8.

[34] R Jakobson, указ. соч.; Л. И. Илия, указ. соч.; M. Grammont, Traité pratique de prononciation française, Paris, 1938; S. Gili y Gaya, Curso superior de sintaxis española, Mexico, 1943; R. Nash, Turkish intonation, The Hague, 1973; T. Navarro Tomás, Manual de entonatión española, New York, 1948; P. Passy, Les sons du français, Paris, 1913, и др.

[35] M. A. K. Halliday, The place of «Functional sentence perspective» in the system of linguistic description, в кн.: «Functional sentence perspective (Papers prepared for the Symposium held at Mariánské Lázně)», Prague, 1970.

[36] В. Матезиус, указ. соч.

[37] К. Г. Крушельницкая, указ. соч.; T. Navarro Tomás, указ. соч.; A. Hatcher, Syntax and the sentence, «Word», 12, 1956; K. Boost, Neue Untersuchungen zum Wesen und zur Struktur des deutschen Satzes, Berlin, 1955; Ш. Балли, Общая лингвистика и вопросы французского языка, М., 1955, и др.

[38] J. Firbas, Some aspects of the Czechoslovak approach to problems of functional sentence perspective, в кн.: «Funcional sentence perspective (Papers prepared for the Symposium held at Mariánské Lázně)»; О. А. Лаптева, Нерешенные вопросы теории актуального членения, ВЯ, 1972, 2; Т. М. Николаева, Актуальное членение — категория грамматики текста, ВЯ, 1972, 2.

[39] И. Г. Торсуева, Экспрессивная функция интонации и порядка слов, «Уч. зап. 1-го МГПИИЯ», 30, 1964; ее же, Акустические характеристики смыслового членения предложения, в кн.: «Proceedings of the VI International congress of phonetic sciences», Prague, 1970.

щаются. Причем одни языковые моменты выполняют эти функции постоянно, а другие — факультативно, эпизодически. В тех случаях, когда единица имеет функциональную доминанту, данная функция становится функцией самой единицы, собственно, формирует эту единицу. В то же время единица время от времени может выполнять другие функции, и тогда мы можем говорить о языковом средстве.

Необходимо более подробно остановиться на понятии «языковое средство» и на его соотношении с понятием «единица». В литературе эти термины часто употребляются как синонимы, что представляется неправомерным.

В традиционной грамматике эти два понятия хорошо разграничены при изложении материала, хотя, может быть, их различие эксплицитно не сформулировано. В качестве примера можно привести разграничение собственно аффиксов и средств языка, равнозначных аффиксам, куда, кстати, входит и интонация. Из этого разграничения можно заключить, что средствами называются единицы других уровней, выступающие в какой-то иной, не свойственной им обычно, маргинальной функции. Например, основная функция ударения (в качестве названия единицы воспользуемся термином В. А. Васильева «словоакцентема») состоит в оформлении слова как целого. В то же время ударение может быть использовано как средство различения падежей в русском языке. Словоакцентема в данном случае выполняет маргинальную для нее функцию, это подтверждается и тем фактом, что таких примеров немного. Единица, используемая не в основной, а в маргинальной функции, становится средством. Это рассуждение относится и к единицам интонации; в частности, разграничение понятий «единица» и «средство» существенно при рассмотрении проблемы «синтаксис и интонация».

Эта проблема возникла, по-видимому, потому, что, с одной стороны, интонация рассматривалась в курсе грамматики еще во времена Дионисия Фракийского [40], с другой стороны, исследователи интуитивно чувствовали несоответствие фактам языка того, что интонация включалась в синтаксис и только в синтаксис.

Постановка этой проблематики была осложнена тем, что за основу брались письменные тексты, чаще всего — литературно-художественные. Поэтому очень часто речь шла не об интонации в живой разговорной речи, а об интонации прочтения текста. Таким образом, за объект исследования принималась лишь его часть. Это привело к появлению артефактов и ошибочных концепций, которые в последние несколько лет подвергаются постоянной критике [41].

Можно выделить следующие аспекты этой проблемы: 1) интонация и предложение; 2) интонация и член предложения; 3) интонация — заместитель собственно-синтаксических единиц.

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что члены предложения не имеют собственного интонационного оформления. Однако для того, чтобы прийти к этому выводу, потребовалось экспериментальное исследование и обсуждение [42].

---

[40] «Grammaire de Denis de Thrace, tirée de deux manuscrits arméniens de la bibliothèque du roi», Paris, MDCCCXXX.

[41] Т. М. Николаева, Интонация сложного предложения в славянских языках, М., 1969; ее же, Синтаксис интонации и интонация синтаксиса, в кн.: «Проблемы теоретической и прикладной фонетики и обучение произношению», М., 1973; Г. А. Баринова, Л. М. Кузнецова, Р. Ф. Паурошима, Интонация, в кн.: «Фонетика. Теория письма», М., 1973; Л. К. Цеплитис, указ, соч., и др.

[42] Л. И. Илия, К. К. Барышникова, К вопросу о функции интонации в идентификации членов предложения, в кн.: «Синтаксис и интонация. Тезисы докладов межвузовской конференции», М., 1962.

Интонация вводилась как критерий определения предложения до того, как в лингвистику прочно вошло понятие высказывания. В современном понимании интонация есть нечто, принадлежащее высказыванию, предложение же определяется собственно синтаксическими критериями [43]. Проблема интонации как заместителя синтаксических средств подробно проанализирована в книге Т. М. Николаевой [44]. В русском языкознании этот вопрос был подробно проанализирован в статье А. М. Пешковского «Интонация и грамматика» [45]. Тезис А. М. Пешковского впоследствии стал именоваться принципом замены, законом компенсации и т. п. Однако постепенно среди исследователей наступило разочарование, вначале выразившееся в желании ограничить «закон компенсации» [46], а затем пересмотреть и переосмыслить его [47].

Проблема интонации и синтаксиса может быть решена только через призму высказывания. Т. М. Николаева пишет: «Сложность отношения интонации и синтаксиса связана с тем, что и интонация, и синтаксис передают смысловые отношения элементов высказывания» [48]. Впрочем уже В. Н. Волошинов указывал: «Пробудившийся в последнее время в синтаксисе интерес к интонациям и связанные с этим попытки обновления определений синтаксических целых путем более тонкого и дифференцированного учета интонаций представляются нам мало продуктивными. Они могут стать продуктивными лишь в соединении с правильным пониманием основ речевого общения» [49].

Выше уже отмечалось, что все средства языка, все языковые единицы равноправно участвуют в формировании высказывания. То, какие средства выбрал говорящий при построении высказывания, зависит от многих экстралингвистических и лингвистических причин (например, невозможность сочетать некоторые единицы). Неправомерно приписывать одним средствам большее значение, чем другим. Поэтому неправомерно утверждение о том, что отсутствие грамматических средств компенсируется интонацией. Напротив, думается, что появление некоторых синтаксических средств (союзов, например) продиктовано невозможностью передать в письменном тексте те отношения, которые передает интонация в устном варианте текста. Таким образом, союз в письменной речи возникает как компенсирующее средство. Интонация — это естественная форма существования языка, а союзы, несомненно, являются более поздним образованием.

Идея синтаксической роли интонации возникла при анализе интерпретаций письменных текстов, и в этом аспекте действительно интересно проследить обратную связь, т. е. «интонация — текст — интонация». Однако совершенно неприемлемыми представляются утверждения о том, что синтаксическая структура задает определенную интонацию, когда речь идет об устном высказывании. Трудно представить себе, что говорящий сначала выбирает синтаксическую структуру, потом занимает-

---

[43] Ср. разработку этих положений к книгах: «Грамматика русского языка». II — Синтаксис, ч. 1, М., 1954 и «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970. См. также: А. А. Реформатский, Фонологические этюды, М., 1975, стр. 72.

[44] Т. М. Николаева, Интонация сложного предложения в славянских языках.

[45] А. М. Пешковский, Избр. труды, М., 1959.

[46] Л. А. Вербицкая, Мелодика побудительных предложений в русском языке, «Уч. зап. ЛГУ», 325, 1964.

[47] Т. М. Николаева, Интонация сложного предложения в славянских языках.

[48] Т. М. Николаева, Синтаксис интонации и интонация синтаксиса, стр. 161.

[49] В. Н. Волошинов, Марксизм и философия языка, Л., 1929, стр. 134.

ся ее лексическим наполнением, потом в зависимости от первых двух оформляет высказывание интонационно.

Интонация и синтаксис — это два аспекта, формирующих высказывание, участвующих в воплощении функций высказывания (коммуникативной и экспрессивной), их взаимоотношение есть не что иное, как распределение функциональной нагрузки в рамках высказывания.

Проблема соотношения интонации и синтаксических средств совершенно равнозначна проблеме соотношения интонации и лексики высказывания, однако этой проблеме уделено в литературе по вопросам интонации гораздо меньше внимания [50]. Во многих исследованиях по интонации говорится о том, что интонация «действует совместно» с лексическим составом, передавая смысл высказывания (предложения), однако специальных работ на эту тему почти не существует.

Поскольку факты, приводимые в работах других исследователей, представляют собой очень дробную и пеструю картину, мы ограничимся только одним вопросом: взаимодействие лексических и интонационных моментов при оформлении и восприятии степени смысловой важности, экспериментально исследованное в некоторых работах [51]. Так, при выражении степени важности в сверхфразовом единстве имеют значение не только интонационные показатели, но и лексические. Л. С. Сержан показывает, каким образом интонационные показатели взаимодействуют с сегментными и, в частности, с лексическими. Он выделяет три типа взаимодействия: «„нулевое“ взаимодействие, когда степень важности фразы определяется только интонацией, а сегментный состав нейтрален; „положительное“ взаимодействие, когда интонационные и сегментные показатели действуют солидарно, однонаправленно (повышая степень важности одной и той же фразы); „отрицательное“ взаимодействие (разнонаправленное), когда сегментные показатели сосредоточиваются в одной фразе, а большинство интонационных показателей — в другой» [52]. Автор описывает различные типы взаимодействия интонационных и сегментных показателей и соответственно делает вывод относительно функциональной нагрузки тех и других факторов. Нам кажется, что подобная схема взаимодействия может быть приложима и к другим конкретным исследованиям.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что при формировании высказывания неправомерно говорить о том, что лексический состав «задает» определенную интонацию. Однако это вполне справедливо в случае прочтения текста.

Рассмотрение этих вопросов убеждает нас в том, что многие проблемы, традиционно относимые к области интонации, относятся в действительности к теории высказывания и могут быть решены только в рамках этой теории. С другой стороны, нельзя забывать о том, что частные вопросы интонационных исследований, тем более такие существенные, как функции интонации и ее единицы, могут быть решены только на основе хорошо разработанной теории высказывания.

---

[50] Исключение составляет статья Е. А. Брызгуновой «О смыслоразличительных возможностях русской интонации» (ВЯ, 1971, 4).

[51] И. Г. Торсуева, Экспрессивная функция интонации и порядка слов; Л. С. Сержан, Смысловое членение парцеллированных сверхфразовых единств современного французского языка. АКД, М., 1973.

[52] Л. С. Сержан, указ. соч., стр. 20.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1976

И. П. РАСПОПОВ

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

(По поводу статьи С. И. Кокориной «О реализации структурной схемы предложения»[1])

Предпринимаемые в последние годы весьма активные поиски новых путей и способов описания синтаксического строя языка в значительной степени «вращаются» вокруг понятия так называемой структурной схемы предложения. Это понятие становится центральным в синтаксисе, поскольку, в представлении большинства лингвистов, именно через него открывается возможность наиболее оптимальной (т. е. наиболее удобной и простой) интерпретации всего многообразия конкретных предложений в речевой действительности.

Предполагается (и с полным основанием), что это многообразие сводимо к некоторому ограниченному числу отвлеченных образцов, по которым строятся все предложения, выступающие в речевой действительности либо в данном («образцовом»), но по-разному заполненном «лексическим материалом» виде, либо в тех или иных осложнениях, предусматриваемых правилами реализации подобных образцов. Изложенная идея сама по себе, несомненно, плодотворна. Но ее осуществление оказывается затруднительным из-за отсутствия единого и строго обоснованного мнения о том, какие конструктивные формы предложений следует рассматривать в качестве образцовых структурных схем их построения.

Как видно из новейших публикаций[2], к настоящему времени сложилось два различных понимания структурной схемы предложения. Согласно одному из них, «под структурной схемой предложения понимается отвлеченный образец, состоящий из одной или нескольких форм слов, по которому может быть построено предложение как грамматически достаточная предикативная единица» (стр. 73 статьи С. И. Кокориной). В этом случае в структурную схему включают «прежде всего предикативный центр предложения, т. е. компонент (или компоненты), непосредственно связанный с выражением предикативности (синтаксических категорий модальности и времени)», а также «компонент, оказывающий непосредственное влияние на форму предикативного центра, т. е. N_1» (стр. 73—74). Согласно другому пониманию, структурной схемой предложения «считается структура, обладающая не только грамматической, но и информативной достаточностью» (стр. 74). В этом случае в состав структурной схемы на правах ее отдельных компонентов включаются «информативно облигаторные» (обязательные в смысловом отношении) распространители предикативного центра.

В рассматриваемой статье С. И. Кокориной из этих двух различных пониманий структурной схемы предложения в качестве исходной базы

[1] См.: ВЯ, 1975, 3.

[2] Наряду с указанной в подзаголовке статьей С. И. Кокориной, см. также: Н. Ю. Шведова, Спорные вопросы описания структурных схем простого предложения и его парадигм, ВЯ, 1973, 4.

для описания и объяснения относящихся к данной сфере фактов принимается первое. По мнению автора, соответствующий подход, примененный, в частности, в академической «Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г. (далее «Гр. 70»), имеет явные преимущества по сравнению с противоположным: во-первых, он «дает легко обозримый список отвлеченных образцов минимального построения», тогда как «включение в структурную схему облигаторных распространителей во много раз увеличивает число структурных схем» (стр. 75); во-вторых, он позволяет, опираясь на грамматическую семантику минимальных предикативных единиц, решить весьма существенный вопрос «о причинах облигаторности того или иного распространителя», тогда как при ином подходе этот вопрос «остается открытым» (стр. 75). Посмотрим, однако, являются ли упомянутые преимущества реальными (а не фиктивными).

Прежде всего, с «легко обозримым списком отвлеченных образцов минимального построения» дело обстоит не так просто и благополучно, как это кажется С. И. Кокориной. Во всяком случае, тот «закрытый список нераспространенных структур, обладающих грамматической достаточностью», который содержится в «Гр. 70», отнюдь не отличается ни «экономичностью», ни «точностью» отображения лингвистической действительности. Уже то обстоятельство, что в нем односоставные предложения оказываются по своему составу и строению сложнее и многообразнее двусоставных (первые представлены 23 схемами, вторые же только 11), вызывает серьезные сомнения в надежности этого списка: вряд ли, например, такие конструкции, как *Хлеба становится в избытке* (односоставный именной класс $Adv_{quantit}$ (или $N_{quantit}$) Gen [3] и *Дел хватает* [односоставный спрягаемо-глагольный класс Gen (Neg) Vf_{3s}], *Следует подождать* (односоставный спрягаемо-глагольный класс Vf_{3s} Inf) и *Можно начинать* (односоставный наречный класс Praed Inf) отличаются друг от друга более значительно, нежели конструкции: *Ученик пишет* и *По яблочку досталось*, *Он поступил директором* и *Старт взят отличный* (все они подводятся под общую двусоставную схему N_1 — V_f), или *Отец — учитель* и *Он намерен начать работать врачом* (двусоставная схема N_1 — N_1) или *Желающие налицо* и *Я от дирекции*, *Брат высокого роста*, *Мы за мир* и т. д. (двусоставная схема N_1 — Adv (N_2...) [4].

Кроме всего прочего, указанный список, подозрительно напоминающий давно известное (и лишь завуалированное символикой) перечисление различных способов морфологического выражения главных членов предложения (особенно это заметно в отношении односоставных предложений), далеко не в полной мере согласован с требованием грамматической достаточности «предикативных единиц». Если грамматическая достаточность определяется выражением синтаксических категорий модальности и времени, то операции исключения из состава соответствующих схем «информативно облигаторных распространителей» следовало бы подвергнуть не только сильно управляемые формы при глагольном сказуемом в таких, например, конструкциях, как *Я встретил д р у г а*, *Он ранил м а л ь ч и к а*, *Мать любуется с ы н о м* и т. п., но и присвязочные формы в конструкциях типа: *Отец был у ч и т е л ь* (*у ч и т е л е м*), *День был п а с м у р н ы й*, *Боец был р а н е н* и т. п., поскольку связка (невещественный глагол) с грамматической точки зрения является вполне достаточным выразителем синтаксических категорий модальности и времени

[3] Здесь и далее используется символическая запись, принятая в «Гр. 70» и статье С. И. Кокориной.

[4] С другой стороны, весьма сомнительно, чтобы конструкции типа: *Войне конец*, *У больного грипп*, *Сыну год*, подводимые под схему N_1, обладали подлинным синтаксическим тождеством с номинативными предложениями: *Ночь*, *Тишина*, *Лето* и т. п.

(между тем, в «Гр. 70» из состава названных конструкций исключается, напротив, связка, восстанавливаемая лишь в «неисходных формах» парадигматической системы данных предложений). При этом, если все-таки признавать «существование» и функциональную значимость нулевой связки (что, несколько отступая от установок «Гр. 70», делает С. И. Кокорина), то от некоторых структурных схем предложения вообще останется «пустое место».

Так, — по логике вещей — для предложений типа *Ему грустно* структурной схемой должна быть признана Cop/O, а не Cop/O Praed: ведь категории модальности и времени выражаются в них именно нулевой связкой, тогда как предикативное наречие (Praed) само по себе этих категорий не выражает и, следовательно, должно считаться не грамматически, а информативно облигаторным распространителем схемы.

Заметим, кстати, что с информативно облигаторными распространителями структурных схем предложения сторонники излагаемой концепции обращаются весьма произвольно: некоторые из таких распространителей просто «отсекаются», как, например, управляемая форма слова *мальчика* в конструкции *Он ранил мальчика* (на том основании, что эта форма сопутствует подчиняющему слову в любой синтаксической позиции, ср.: *Он ранил мальчика*; *Ранить мальчика — преступление*; *Мальчика ранило*; *Человек, ранивший мальчика, бежал*), другие же включаются в состав грамматических комплексов, глобально представляющих отдельные компоненты схемы, каковы, например, комплексы: *подался в торговцы*, *вообразил себя героем*, *решил попробовать начать учиться рисовать* и т. п., выражающие, по свидетельству «Гр. 70» (стр. 550), сказуемое (V_f) структурной схемы N_1 — V_f (хотя к зависимым формам в составе этих комплексов применимо то же основание, ср.: *Податься в торговцы неплохо*; *Человек, подавшийся в торговцы, заслуживает одобрения*; *Вообразить себя героем — не преступление*; *Человек, вообразивший себя героем, несколько смешон* и т. д. и т. п.).

Как видим, в соответствующих случаях требование грамматической достаточности в качестве критерия для выделения структурных схем предложения является скорее добрым пожеланием, нежели надежным руководством к действию. В действительности оно проводится явно непоследовательно, и остается только удивляться тому, что сторонники такого подхода, мягко говоря, не до конца используют его заявленные преимущества.

Для меня не вполне ясно, почему «в тех классификациях, где в структурную схему включены облигаторные распространители», вопрос о причинах облигаторности того или иного распространителя «остается открытым» (стр. 75). Напротив, этот вопрос в них стоит на первом плане, поскольку подобные классификации строятся как раз с учетом того, что наличие или отсутствие в составе структурных схем предложения облигаторных компонентов обусловливается лексической и грамматической репрезентацией сказуемого. Другое дело, что сами схемы при таком подходе считаются производными от грамматической формы и семантики сказуемого. Но то же самое имеется в виду и при установлении облигаторности распространителей «минимальных предикативных единиц». И в этом случае решающая роль отводится сказуемому («словам-предикатам»). Только производными от его структуры и семантики (обусловленными «семантическим классом предиката») признаются не исходные структурные схемы предложения, а «минимальные модели их реализации».

Таким образом, в конечном счете, сторонники различных точек зрения как будто бы приходят к одному и тому же результату, и расхождения между ними, очевидно, можно было бы квалифицировать как чисто

терминологические. Однако существенное значение для науки имеет не только результат, но и то, каким путем он достигается.

Не подлежит сомнению (и это особенно наглядно обнаруживается в учебной практике), что адекватное лингвистическое описание синтаксического строя языка не может обойтись без того, чтобы так или иначе не подойти к характеристике «информативно достаточных предложений». Но необходима ли для этого опора на «минимальные предикативные единицы»? Думается, что такая опора отнюдь не упрощает, а, напротив, усложняет решение задачи.

Во-первых, как уже отмечалось, выявление обладающих грамматической достаточностью «минимальных предикативных единиц» не имеет под собой надежных оснований, вследствие чего отдельные структурные схемы предложения на уровне их речевой реализации могут, так сказать, столкнуться друг с другом, что и происходит, в частности, в «Гр. 70» с предложениями *Пришло много народу* и *Оказалось много дел*, которые при их явном конструктивном тождестве интерпретируются по-разному: первое как образец двусоставной схемы N_1 — V_f, второе же как результат реализации односоставной схемы $Adv_{quantit}$ (или $N_{quantit}$) Gen (подобные примеры можно было бы значительно умножить).

Во-вторых, если считать, что состав и строение «информативно достаточных предложений» целиком зависит от «семантического класса предиката» («Для каждого семантического класса предикатов — пишет С. И. Кокорина,— может быть указан свойственный ему тип реализации данной структурной схемы», стр. 75), то по указанной причине понятие минимальной предикативной единицы становится по существу излишним: достаточно опоры именно на предикат.

Наконец, в-третьих, это понятие, используемое в качестве посредствующего звена при описании конструктивного строения ряда предложений, заставляет нас преодолевать такие трудности, которые при ближайшем рассмотрении оказываются просто надуманными. Так, по мнению С. И. Кокориной, «значение словоформы, выступающей в качестве предиката, может соответствовать или не соответствовать грамматической семантике конструкции...» (стр. 79). Причем в последнем случае при реализации схемы в действие вступают специальные облигаторные распространители («необходимые компоненты реализации»), назначение которых состоит в «приспособлении» значения словоформы, являющейся предикатом, к грамматической семантике структурной схемы, лежащей в основе данного предложения (см. стр. 80).

Оставляя в стороне вопрос о том, что представляет собой «грамматическая семантика структурной схемы» и каким образом эта семантика складывается помимо предиката (ведь предикат лишь «приспосабливается» к ней), заметим, что предлагаемое С. И. Кокориной объяснение механизма подобного «приспособления» по меньшей мере туманно и противоречиво.

«Это „приспособление“,— пишет С. И. Кокорина,— состоит прежде всего в нейтрализации или реализации отнесенности предикативно выраженного признака к носителю признака, или, иными словами, в нейтрализации или реализации левой интенции предиката» (стр. 80). И далее: «Например, если схемы V_{3s}, V_{3pl} наполняются личными глаголами, обозначающими динамический признак, предполагающий отнесенность к агенсу..., оказывается необходимым либо снятие левой интенции предиката (1), либо его специфическая реализация, соответствующая характеру данного предиката (субъект деагенсивен и дезактивен) (2)» (стр. 81).

Но если выполняющий функцию предиката личный глагол «предполагает отнесенность к агенсу», то он, очевидно, должен быть компонентом

иной схемы (например, схемы N_1—V_f); если же «специфическая реализация» левой интенции предиката «соответствует характеру данного предиката», то ни о каком «приспособлении» значения представляющей его словоформы к «грамматической семантике конструкции» не может быть и речи (ведь налицо их соответствие друг другу).

Думается, что те примеры, которые приводятся С. И. Кокориной под рубриками (1) и (2), допускают более простую, нежели это предложено автором, и более адекватную интерпретацию.

В частности, можно исходить из того, что в русском языке имеется особая безличная форма глагола, которая лишь омонимически совпадает с формой V_{3s}, и особая неопределенно-личная форма глагола, которая лишь омонимически совпадает с формой V_{3pl}[5]. Тогда в примерах типа *В глазах его засверкало*; *В коридорах зашелестело*; *Где-то далеко в тайге зарокотало*; *В доме Батлинга жили шумно и весело..., всегда там смеялись, кричали и пели* (1); *Катастрофы не произойдет*; *У нас не прибавилось счастья, а забот прибавилось* (2) назначение облигаторных распространителей будет заключаться не в том, чтобы что-то к чему-то «приспосабливать», а в том, чтобы сигнализировать использование в функции предиката безличной или неопределенно-личной форм глагола (в отличие от омонимичных им личных глагольных форм V_{3s} или V_{3pl}). Причем, если соответствующие распространители указывают (но лишь указывают) на то, какая именно глагольная форма в данном случае используется [6], то выбор форм самих «распространителей» предопределяется грамматическим значением (например, значением безличности) или / и лексической семантикой, репрезентирующей предикат глагольной формы [ср. в этом отношении примеры из рубрик (1) и (2)].

В конечном счете, решающая и определяющая конструктивный облик предложения структурно-строевая роль в его составе во всех случаях принадлежит предикату, и эту роль он выполняет непосредственно в отношении «информативно достаточных предложений», т. е. таких лингвистических единиц, которые предназначены для выражения осмысленных сообщений, а вовсе не синтаксических категорий модальности и времени: в самом деле, странно было бы думать, что предложения строятся и предназначаются для того, чтобы выразить модальность и время. Последние, разумеется, также должны быть определенным образом выражены, но их выражение само по себе не создает никаких конструктивных схем, которые были бы необходимы для того, чтобы через их посредство подойти к интерпретации реальных предложений.

Из статьи С. И. Кокориной с полной очевидностью явствует, что так называемые минимальные модели реализации подобных схем есть не что иное, как синтаксические конструкции, состав и строение которых целиком зависят от структуры и семантики предиката. Но если это так, то в описании указанных моделей целесообразно опираться непосредственно на предикат (как это фактически и делается). Поскольку же эти модели представляют собой «абстрагированное (именно абстрагированное.— *И. Р.*) выражение такого пути реализации, при котором полученное сообщение будет не только грамматически, но и информативно достаточным» (стр. 75), а информативно недостаточных предложений, как известно, не существует, мы можем с полным основанием признать их структурными

---

[5] О правомерности такого подхода см.: И. П. Распопов, Строение простого предложения в современном русском языке, М., 1970, стр. 77—82; его же, Очерки по теории синтаксиса, Воронеж, 1973, стр. 28—29.

[6] Кстати, такова же роль синтагматических «распространителей» в отношении лексических омонимов. Ср.: *журчащий ключ* и *ключ от замка*, *коса девушки* и *песчаная коса* и т. д. и т. п.

(точнее: конструктивными) схемами, которые лежат в основе построения *любого подлинного предложения*.

При таком подходе путь к интерпретации реальных предложений оказывается более коротким и более надежным, нежели в том случае, когда прибегают к двойному абстрагированию: мы уже видели, что абстракция, осуществляемая по признаку одной лишь грамматической достаточности предикативных единиц (к тому же узко понимаемой «грамматической достаточности»), в целом ряде пунктов обнаруживает свою несостоятельность.

Из всего сказанного следует, что из двух различных пониманий структурной схемы предложения предпочтение должно быть отдано второму пониманию, учитывающему одновременно как грамматическую, так и «информативную» достаточность соответствующих построений. Конечно, и оно не гарантирует абсолютной надежности результатов. Но возможные при этом ошибки и заблуждения (некоторые из них отмечены в статье С. И. Кокориной) обусловливаются не самой концепцией, а неразработанностью целого ряда частных по отношению к ней, хотя и весьма существенных, проблем синтаксиса (например, проблемы грамматического предиката) или известной субъективностью восприятия и осмысления речевого материала (с каких бы теоретических позиций он ни рассматривался) отдельными исследователями.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1976

А. С. ЛЬВОВ

ПРАСЛАВЯНСКИЙ СЛОЙ СТАРОСЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКИ

I. Лексика памятников старославянской письменности давно привлекает внимание исследователей: И. Добровский пытался охарактеризовать лексику изученных им памятников церковнославянской письменности в целом в плане непроизводных и производных образований [1]. П. Шафарик искал в ней национальную основу языка памятников старославянской письменности [2]; начиная с В. Ягича, исследование старославянской лексики шло в направлении решения проблемы так называемой первичной и вторичной лексики в дошедших до нас памятниках старших списков [3]. Под первичной лексикой понимались слова, употребленные первыми переводчиками, а под вторичной — слова, употребленные поздними редакторами и переписчиками взамен первичных. Эта проблема актуальна и поныне; наличие такого процесса бесспорно, и замена одних слов другими обусловлена, в частности, тем, что слово оказалось непонятным и к нему в речи редактора или переписчика имелся соответствующий дублет: лѣкъи вм. шюи, ладии вм. корабль, бъдѣти вм. бъдити и т. п.

В эпоху возникновения своей письменности в середине IX в. славяне занимали обширные пространства в Европе, причем на этих территориях они уже жили обособленно друг от друга не менее 300—400 лет, в связи с чем вполне понятны и расхождения в их языках. «Эти расхождения,— писал А. Мейе,— обычно возникают в результате того, что один и тот же славянский корень был использован для образования различных форм, или что одно и то же славянское слово изменяло свое значение в зависимости от условий употребления» [4]. Расхождению словаря способствовали также контакты и взаимовлияния носителей славянских языков с соседними народами и их языками: на Балканском п-ве и в Малой Азии особо сильными были влияния греческого и латинского языков, на Востоке — преимущественно тюркских и финно-угорских, на Западе — германских языков. Кроме того, в праславянскую эпоху бытовали и слова-диалектизмы, известные только в отдельных краях.

Тем не менее, славянские языки, как близкородственные, существовали как особая группа на костяке праславянских элементов не только в морфологии и фонетике, но и в лексике и фразеологии, не говоря о синтаксисе. Исключительно важно выявить этот костяк, или праславянский слой (включая сюда и древнейшие диалектизмы), лексики памятников старославянской письменности потому, что этот общий для всех славян

---

[1] J. Dobrowský, Institutiones linguae slavicae dialecti veteris..., Vindobonae, 1822 (русский перевод см.: И. Добровский, Грамматика языка славянского по древнему наречию..., ч. I, М., 1833; ч. II, М., 1834).

[2] P. Šafařík, Über den Ursprung und die Heimat des Glagolitismus, Praha, 1858 (русский перевод см.: П. Шафарик, О происхождении и родине глаголитизма, ЧОИДР, IV, М., 1861).

[3] V. Jagić, Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache, Berlin, 1913, стр. 281—421.

[4] А. Мейе, Общеславянский язык, М., 1951, стр. 395.

слой лексики (но без диалектизмов), не говоря о грамматике, делал понятным богослужебные книги в любой славянской стране, где они использовались не только в церковной службе, но и при обучении грамоте.

Мнения о лексике памятников старославянской письменности у исследователей различные. А. Мейе по этому поводу писал: «если старославянский язык в отношении грамматических явлений может быть сопоставлен с общеславянским языком, то лексика его носит диалектный характер. Но все же расхождения, которые мы наблюдаем, например, между словарем южных и западных (славянских.— *А. Л.*) языков (тем более ощутительные, что западные языки известны лишь спустя несколько веков после нарушения славянского единства), очень невелики в сравнении с массой элементов, общих всем языкам» [5]. К сожалению, А. Мейе не показал, в чем конкретно проявляется диалектный характер лексики памятников старославянской письменности.

Эту проблему пытался решить Б. Цонев [6]. По мнению С. М. Кульбакина, Цоневу не удалось получить «...хотя бы приблизительного ответа на поставленный вопрос» [7], потому что Цонев сопоставлял немногим более 250 слов, выбранных не из памятников старославянской письменности, а из «Lexicon'a palaeoslovenico-graeco-latinum» Ф. Миклошича, с данными болгаро-родопских говоров, из которых 80 слов не зафиксированы памятниками старославянской письменности, а оставшиеся 170 слов «не являются специфическими для какого-нибудь славянского языка» [8], а представляют в основном праславянское наследие.

Как утверждает С. М. Кульбакин в упомянутой работе, он ограничивается лишь анализом лексики евангелий и псалтыри, в которых находит около 100 непереведенных греческих слов: акридъ, алабастръ, аромати, ассарии, блефимиѣ, бусонъ, драгма, диѣкоѵъ и мн.др. Следует заметить, что автор значительно преуменьшил количество непереведенных заимствованных греческих слов; так, только в одной Син пс их более 150, но в ней отсутствуют такие слова, которые зарегистрированы в евангелиях: например, авва, авъгоустъ, акридъ, алабастръ, алгоунинъ, апостолъ, архиерей, архисинагогъ, архитриклинъ, афедронъ, вельзѣвоулъ, газофилакиѣ и т. д. и т. п., так что количество непереведенных греческих слов в евангелиях и псалтыри превышает две-три сотни. Автор указывает и на наличие калек, но без попытки установления хотя бы приблизительного их количества.

Анализируя лексику избранных памятников, С. М. Кульбакин приходит к заключению, что в языке Константина и Мефодия 700—800 слов являлись общеславянскими. К ним отнесены слова, которые трудно признать праславянскими по происхождению: боукы — заимствование из германских языков; кънигы — тюркизм; ѫждоѭаникъ от ѫждогъ, восходящий к гот. *handags* (к тому же приведенного слова нет ни в евангелии, ни в псалтыри); маломощтъ — явный моравизм [9]; неприѣзнь — тоже [10] и т. п. В списке Кульбакина оказались слова, не зафиксированные в евангелиях и псалтыри: гнѫсъ, гнѫсанъ, къкъ (видимо, кыка, зафиксированное в Син тр, л. 8б, 13), перо (нет в классических памятниках старославянской письменности, только в Син пс имеется производное перѧтъ,

[5] А. Мейе, указ. соч., стр. 395.

[6] См.: Б. Цоневъ, Кои новобългарски говори стоятъ най-близу до старобългарски въ лексикално отношение, «Списание на Българската академия на наукитѣ», XI. Клонъ историко-филологиченъ и философско-общественъ, 7, София, 1915, стр. 1—32.

[7] Ст. М. Куљбакин, О речничкој страни старословенског језика, «Глас Српске краљевске Академије», CXXXVIII, други разред, 73, Београд, 1930, стр. 89.

[8] Там же, стр. 90.

[9] V. Jagić, указ. соч., стр. 269.

[10] М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, III, М., 1971, стр. 64.

л. 101б, 10—11) и некот. др.; пропущено немало слов, являющихся по происхождению праславянскими: бесѣда, близьць, бѣгати, бесѣмити сѧ, бесѣтъ, видѣти, блъхъ, бси (бсини), болѣ, въздрѣмати, въѣ, гроздъ, гънати и т. п. В целом, количество праславянских слов в евангелиях и псалтыри сравнительно с данными С. М. Кульбакина должно удвоиться. Автор без достаточно убедительного обоснования считал так называемую диалектную часть старославянской лексики сербохорватской и словенской, за что подвергся в свое время резкой критике [11].

Несмотря на все сказанное, исследование С. М. Кульбакина представляет интерес как первая попытка установить праславянский слой старославянской лексики.

II. В процессе подготовки картотеки Этимологического словаря славянских языков [12] составлена отдельно картотека праславянского слоя старославянской лексики на основании словарей: L. Sadnik, R. Aitzetmüller, Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten (Heidelberg, 1955); А. Х. Востоков, Словарь церковнославянского языка (I, Спб., 1858); F. Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum (Vindobonae, 1862—1865) и первых выпусков «Slovník'a jazyka staroslověnského». Привлечение словарей А. Х. Востокова и Ф. Миклошича едва ли оправдано, так как в них отсутствует словарный материал так называемых классических памятников старославянской письменности. В этой картотеке, которую в дальнейшем предполагают дополнить и критически переоценить, пока зарегистрировано более 4500 карточек, или слов [13].

По подсчету Р. М. Цейтлин в памятниках старославянской письменности (без Киев лл) зарегистрировано 9616 слов [14], из которых по данным картотеки Этимологического словаря славянских языков праславянским наследием является более 4500 слов (около 50%), разумеется, включая и диалектную лексику.

Для проверки этих данных мы произвели выписывание праславянских по происхождению слов из Мар, содержащего, по подсчету Цейтлин, в целом 2874 слова [15], из которых праславянскими оказались 1425 (около 50%), из них 251 (до 10%) — диалектные. Таким образом, если не включать диалектную лексику, то общеславянских слов, в основном, праславянского происхождения в Мар немногим более 40%. Процент общеславянских слов в старославянской лексике исключительно высок, он-то и был тем костяком, который делал понятными церковные книги первых переводчиков в любой славянской стране. Утверждение же, что «старославянский язык имел огромный общеславянский фонд лексики, словообразовательных формантов, более чем на 90%...» [16], является ошибочным, не подкрепленным фактическими данными.

---

[11] См.: Л. Милетич, [рец. на ст.:] Д-р С. М. Кульбакин, О речничкој страни старословенског језика, «Македонски преглед», год. VI, кн. 3, София, 1931, стр. 125—142; Н. С. Державин, Наука на службе империализма, «Изв. АН СССР. VII серия. Отделение общественных наук», 1932, 2, стр. 125—149.

[12] «Этимологический словарь славянских языков. Проспект, пробные статьи», М., 1963; первый выпуск словаря вышел в 1974 г.

[13] «Лингвистические источники. Фонды Института русского языка», М., 1967, стр. 140.

[14] Р. М. Цейтлин, Характеристика лексических и словообразовательных средств старославянского языка (их семантика и стилистические функции), «Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов», М., 1973, стр. 414.

[15] Там же.

[16] Л. П. Жуковская, О некоторых проблемах истории русского литературного языка древнейшего периода, ВЯ, 1972, 5, стр. 74. В этой же статье содержится утверждение, что южнославянские и древнерусские писцы «свободно изменяли текст (евангелий.— *А. Л.*), подчас излагали его своими словами» (стр. 70), что также не соответствует действительности.

III. В памятниках старославянской письменности, по подсчету Р. М. Цейтлин, содержится 1778 инославянских слов [17], преимущественно греческих, что составляет почти 18% по отношению к общему количеству всех слов. В тех же памятниках зарегистрированы кальки и, видимо, искусственно созданные слова, количество которых не менее 30%. Переводчики старались калькировать или создавать новое слово, сообразуясь с существовавшими тогда славянскими словообразовательными моделями, поэтому порою та или иная калька или искусственно созданное слово воспринимается как обычная лексема языка: например, безаконие. Наличие общеславянского слова законъ бесспорно, однако, слово закон-не нигде не зафиксировано; но с префиксом без- слово безаконие имеет окончание им. п. Здесь не исключено точное калькирование греч. ἄ «без», νομ «закон», -ία «-не», ср. Мф VII, 23: ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν—отидѣте отъ мене дѣлающіи без(з)аконие (Зогр, Мар, а также пс. VI, 9, но в последней: отъстжпите вм. отидѣте).

По своему составу и форме бездъна представляет существительное в род. пад. ед. ч. с предлогом без — без дъна «не имеющее дна». Бездъна может быть истолкована как калька греч. ἡ ἄ-βυσσος, которая воспринята сущ. жен. род. в им. пад.: бездъна бездънѫ призывлетъ (Син пс XLI, 8), перевод греч. ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται; и молиша и да не повелитъ имъ въ бездънѫ ити (Л VIII, 31 Ас, Сав, Остр, Зогр, Мар); здесь въ бездънѫ точно соответствует εἰς τὴν ἄβυσσον. В Син пс и Син тр, а также в Супр бездъна употребляется еще в собирательной форме с суффиксом -ие, при этом в основе вместо ъ употребляется ь или е, ср.: сѫдьбы твоя безденіе мъного (Син пс XXXV, 7), греч... ἄβυσσος πολλή; Тебе боятъ сѧ безденіѣ. Тебе работаѭтъ источници (Син тр 4а, 7—9), греч. σὲ φρίττουσιν ἄβυσσοι...; его же ходитъ вьсѧ тварь змиеве и вьсѧ безденіа (Супр 77, 4—6), греч. ...ἄβυσσοι; и въ бездании оумрѣти (Супр 153, 30), греч. ...ἐν τῷ βυθῷ. Как видим из примеров, употребление формы бездание не обусловлено греческим оригиналом, потому что как и в случаях употребления бездъна, здесь в греч. тоже ἄβυσσος. В Шестодневе Иоанна экзарха болгарского объясняется: бездание же зовется множьство водное [18]. Если исходить из этого определения, то бездъна «пропасть» переосмыслено как «водное пространство». При этом замена в основе слова ъ на ь > е, видимо, произошла под влиянием слова дание, ἡμέραι, ср.: Приходятъ же дание, егда отъимутъ сѧ отъ нихъ женихъ (Мк II, 20 Зогр, Мар), греч. ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι..; исплъниша сѧ дение слоужьбы его (Л I, 23 Ас и др.), греч. ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ. В этих и других подобных примерах дание употребляется в значении «время» [19]. Бездание в этом случае должно означать «безвременье»: въ бездании оумрѣти; безденіе мъного. Однако что значит тебе боятъ сѧ безденіѣ? его же ходитъ... вьсѧ безденіа? — не ясно.

Мф XII, 43 на месте греч. διέρχεται δι' ἀνύδρων τόπων читаем: прѣходитъ скоквѣ бездъналѣ мѣста (Зогр, Мар); Л XI, 24 при том же греческом тексте в Мар: прѣходитъ безводьналѣ мѣста, а в Зогр как Мф XII, 43. Думаем, что в Мар XII, 43 бездъналѣ — явная описка вместо необходимого безводьналѣ. Прилагательное должно бы иметь форму бездъналѣ так же, как и безконьнъіѧ (Син пс LXXII, 3); даньнъіи свѣтъ (Супр 426, 23); ко чѣсѣ врѣменьнѣ (Л IV, 5 Мар и др.) и т. п. В памятниках старославянской письменности нет убедительных примеров, подтверждающих наличие прилагательного бездъньнъ.

[17] Р. М. Цейтлин, указ. соч., стр. 414.

[18] К. Калайдович, Иоанн, ексарх болгарский, М., 1824, стр. 147.

[19] W. Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlischen Literatur, Berlin — New York, 1971, стр. 683.

Поскольку слово бездѣла известно почти во всех славянских языках [20], его происхождение требует специального рассмотрения как и другие образования подобного типа, особенно на и-е, например: безоумие, передающее ἀφροσύνη. От этого существительного образовано прилагательное безоумьнъ: Къкоупѣ безоумьнъ съ несамысльнымъ (Син пс XLVIII, 11). Безгодие, передающее ἀωρία (отдельно взятое — непонятно): варихъ ва безгодьи і возвахъ (Син пс CXVIII, 147) — «в безвремении» (?); греч. же ἀωρία означает «несвоевременно», но такого понятия калька не содержит.

Однако бесспорными кальками являются с современной точки зрения обычные слова: недѣла — ἄπρακτος ἡμέρα «бездеятельный день», хотя слова дѣла и нет; обрѣзание — περι-τομή «вокруг разрезание», пророкъ — προ-φήτης «вперед высказыватель» (= предсказатель), ѥпископъ — ὑπεναντίος и мн. др. Большинство сложных слов представляют собой кальки: благотворити — ἀγαθοποιῆσαι; великрѣчивъ — μεγαλορρήμων; самодавець — δανειστής, faenerator; зълословити — κακο-λογῆσαι; зълотворити — κακο-ποιῆσαι; иноплеменникъ — ἀλλο-γενῆς; лъжесвѣдѣние — ψευδο-μαρτυρία; маловѣръ — ὁ λιγό-πιστος; равнодоушьнъ — ἰσό-ψυχος; ржкотворенъ — χειρο-ποίητος; стръмоглавъ — κατὰ κεφαλῆς; цѣломждрие — σωφροσύνη; четвѣроногъ — τετρα-σκελής и т. п. [21].

Количество сложных слов в памятниках старославянской письменности велико: так, в Клоц их 30, Ен ап — 49, Син пс — 60, Мар — 73, Син тр — 126, Супр — 386 и т. д. (данные Р. М. Цейтлин [22]).

IV. Необычное для языка слово величие, передающее μεγαλεῖον, по способу образования подходит к исконнославянским собирательным существительным типа: бѣлие, брѣние, дѫбие, камение, рѣпие и т. п. Однако величие, как и μεγαλεῖον, означает «состояние» и не содержит понятия собирательности. К таким искусственно созданным словам относятся и бесрамие, передающее ἀναίδεια и ἀναισχυντία; сбличие— πρόσωψις; подобие — ὁμοιότης; пособие — συμμαχία; различие — διαφορά и проч.

Особенно широко употребительны существительные, созданные присоединением суффикса -ие к основе причастий на -нъ, -енъ. Подобные образования возникали в языке, когда речь шла о чем-либо конкретном, например: градъ... създанъ бѣаше (Л IV, 29 Ас и др.), где греческий имперфект пассива ᾠκοδόμητο переведен по смыслу двумя словами създанъ бѣаше. В связи с этим такой оборот речи, как създаниѥ храмины (Панд. Ант. XI в., л. 251) [23], мог существовать в языке в значении «постройка хоромины». Также И IX, 32: къто отвръзе очи слѣпоу рожденоу (Зогр и др.) могло отражать обычную речь, хотя приведенное является дословной передачей: ὅτι ἠνέῳξέν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου. Здесь не слепое калькирование в род. пад. последних двух слов, а передача их по смыслу в дат. пад.: *кто открыл глаза слепорожденному*, а не *слепорожденного*, как требовалось бы при калькировании. В связи с этим допустимо существование в языке сущ. рождение для обозначения родов: неизоумѣюмо рождение (Супр 243, 9—10) перевод ἀνεπινόητος ὁ τόκος «непонятные (необъяснимые) роды».

Используя имеющиеся подобные образования на -н-ие, -ен-ие, обозначающие конкретные понятия и явления, переводчики стали искусственно

[20] «Этимологический словарь славянских языков», 2, М., 1975, стр. 21 и сл.; «Słownik prasłowiański», I, Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1974, стр. 219 и сл.

[21] K. Schumann, Die griechischen Lehnbildungen und Lehnbedeutungen im Altbulgarischen, Berlin, 1958.

[22] Р. М. Цейтлин, указ. соч., стр. 428 и сл.

[23] И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, III, СПб., 1903, стлб. 710.

создавать подобные существительные для передачи греческих существительных, обозначающих абстрактное состояние: бѣжание, брашание, бѣшение, величание, въпрошение, възискание, глаголание, гаданиє, дрѣмание, досаждение, желание, жадание, заблѫждение, заповѣдание, искоушение, кланѣние, конѧчание, кѣчение, лишение и т. д. В словаре Садник и Айтцетмюллера их зафиксировано 749 [24]. Если присоединить еще существительные на -ие, типа свличие, величие, различие, оугрѧдие, насилие и т. п., которых в памятниках не менее 225, то все слова на -ие, -ние, -ение составляют свыше 10% лексики памятников старославянской письменности.

Таким же искусственно созданным является абсолютное большинство существительных, образованных присоединением суффиксов -ота (27) [25] и -остъ (50) к основам прилагательных; -тель (89) — к основам глагола; -ство (119) и -ьствие (38) — к основам как существительных, так и прилагательных. Не исключено, что такие существительные, как высота в передаче ὕψος; широта — πλατυσμός; крѣпость — ἰσχύς; старость — γῆρας; приѣтель — φίλος; властель (* vold-telь — ἐξουσία; родьство) рождество — γένεσις; братьство или братрьство — существовали в южнославянских диалектах. По их подобию переводчиками были созданы: юнота, тихота, правота; инокость, нѣмость, стыдость, хоудость; създатель, проповѣдатель, благодѣтель, подъитель, доводитель, съвръшитель; блаженьство, блъшьство, владычьство, господьство, добльство, дрѧхльство, естьство, зъловѣрьство, коварьство, лицемѣрьство, нелюбьство, обидільство, позорьство, проскоупьство, разбойство; сребролюбьствие, владычьствие, цѣсарьствие, невѣждьствие и мн. др. (в памятниках свыше 300 слов). Приведем еще несколько примеров искусственно созданных слов: юнаꙗ и дѣвы и старъци съ юнотами... (Син тр 88а, 5—6 — цитата пс CXLVIII, 12), последними двумя словами переведено: ... πρεσβῦται μετὰ νεωτέρων... «старцы с молодежью»; положихъ скоростью съконьчати (Супр 543, 16) — «быстрее»; тъгда томитель сладъцѣ приимъ... тыꙗ (Супр 215, 10—11) — греч. τύραννος «властелин», по какой причине переведено словом томитель — неясно; не бѫди досадитель владыкамъ (Супр 13, 4—5), ὑβριστής «оскорбитель», «ведущий себя нагло, дерзко»; вонте сѧ ... женьства женьска (Син тр 45б, 1), греч.— не найдено, по смыслу женьства — «женственности» (женской) и т. п.

Ряд префиксальных образований также является искусственным: например, Л I, 75 читаем: Слоужити емоу прѣподобьемь и правьдоѭ (Зогр, Мар), это место не входило в краткие апракосы, что свидетельствует о переводе данного отрывка в Моравии. Приведенная цитата передает греч. λατρεύειν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ. Таким образом, греч. ὁσιότητι от ἡ ὁσιότης «почтительность, уважение» передано прѣподобьемь. Употребление в этом слове суффикса -ие, конечно, искусственно, потому что отсутствует понятие собирательности. Еще более искусственно употребление прѣ- даже в значении усилительности, так как служить «с чрезмерным подобием» едва ли естественно. Как заметил А. Вайан, такие искусственные образования имели «специальное религиозное употребление» [26]. К ним можно причислить такие прилагательные, как: прѣмилостивъ, прѣвъшьнии, прѣисподьнии, прѣсвѧтъ, прѣподобьнъ и т. п.[27].

---

[24] L. Sadnik, R. Aitzetmüller, Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten, Heidelberg, 1955, стр. 176 и сл.

[25] Цифры в скобках показывают количество существительных, зафиксированных в указанном словаре (L. Sadnik, R. Aitzetmüller).

[26] А. Вайан, Руководство по старославянскому языку, М., 1952, стр. 164.

[27] Р. М. Цейтлин, Старославянские прилагательные с приставкой *прѣ-*, «Studia palaeoslovenica», Praha, 1971, стр. 65 и сл.

Искусственным же является и ряд образований с приставкой къз-/къс-: възбоуѧніе «безрассудство», възкитіе «выгода», въздѧніе «отплата», въздкніеніе (кръста) «выпрямление», възглашеніе, късхлаштеніе «укрощение, обуздание», ср.: то бо ѥмоу бѣаше тъчьѭ оунъіненію късхлаштенію (вм. -ение, в греч. ἡν...φίμετρον — Супр 274, 29) и т. п. Кстати, в последнем слове зафиксирована основа глагола *(къс-)хлаєти-(ти) «укротить, обуздать», которая в памятниках старославянской письменности нигде больше не встречается.

После того как многие кальки и искусственно образованные слова вошли в обиход речи переводчика, ими стали пользоваться и для перевода близких по значению других греческих слов: например, сѫпостатъ представляет калькy ὑπεναντίος; в памятниках зафиксирована передача этой калькой и ἀντίπαλος, πολέμιος и др. [28]; благожѧніе, несомненно, калька εὐ-ωδία, но этой же калькой передается еще θυμίαμα (см. Син тр 15б, 13 и 61а, 18); благодѣаніе — калька εὐ-εργεσία, но ею переданы еще и εὐποιΐα, κηδεμονία и др.; величьствіе — калька μεγαλωσύνη, ею же переданы и μέγεθος, ἀρετή и т. п. Все это необходимо учитывать при исследовании калек.

Таким образом, лексика памятников старославянской письменности весьма сложное явление, требующее исключительно внимательного анализа и изучения.

Искусственно возникшая лексика (кальки и вновь созданные слова, которых не менее $^1/_3$ к общему словарному составу) наслоилась на обычный, или существовавший естественно, словарь того славянского языка (диалекта), на который переводились церковные книги. Слившись воедино, естественный и искусственный лексический материал языка вместе с заимствованными словами явился основой для создания особого старославянского книжного языка, которым постепенно стали пользоваться во многих славянских странах, приспосабливая его к местной речи. На этом языке уже в 80-х годах IX в. в Моравии стали появляться оригинальные произведения: Жития Константина философа и Мефодия, так называемая гомилия Мефодия, дошедшая до нас в Клоц (лл. 1б, 21—3а, 3); позже в Болгарии — Похвальное слово Константину и Мефодию, сочинения Иоанна экзарха болгарского, Черноризца Храбра, Климента Величского и др.

V. Обычная же лексика памятников старославянской письменности представляла праславянское наследие, была генетически связана с индоевропейской основой или при отсутствии указанных генетических связей, бесспорно, являлась общеславянским слоем рассматриваемого периода. Этот слой словарного состава памятников составляет почти 50% лексики, включая и диалектные слова.

Рассмотрим часть лексики, обозначающей природу и явления, связанные с ней.

1. Землѣ, земьнъ, земьскъ от корня *zem-* < **ĝhdem-*, что видно из приведенных прилагательных, также и из болг. *земя*, чеш. *země*, словацк. *zem*, польск. *ziemia*; литов. *žẽme*, латыш. *zeme*. Первоначально слово означало «почва, земля», «низ». Соушѧ, ср.: прѣходиште море и соушѫ (Мф XXIII, 15 Мар, Зогр); обращьшѧ и море въ соушѫ (Син пс LXV, 6). Примеры показывают, что слово соушѧ дошло до нас в том же значении, что и в древности. Слово образовано от *such-ja* < **saus-*, в последнем виде оно известно в балтийских языках, ср. литов. *sausas* «сухой». Поустѣнии, село, селѣнъ: сѣно селѣное (Мф VI, 30 Мар); красота селѣнаѧ (Син пс XLIX, 11);

---

[28] А. С. Львов, Из лексикологических наблюдений, «Этимология. 1972», М. 1974, стр. 112 и сл.

дрѣва сѣлѧнда (Син тр 12б, 15); поле, полѣскъ: скоты полѣскыѧ (Син пс VIII, 8), τὰ κτήνη τοῦ πεδίου «скотина степная», буквально «равнинная», полѣскыи ратаи (Супр 169, 4); гора: вазиде на горѫ (Мф XIV, 23, Мар и др.); брѣгъ, дебра «ущелье»; пѫчина «провал» (это последнее слово, кажется, диалектное, так как, кроме старославянского, фиксируется только в восточнославянских языках); пещѣръ «яма, пещера», ср.: бѣ же пещѣръ и камѣнъ належаше на неи (И XI, 38 Ас, Зогр, Мар; пещера — Сав, Остр), греч. σπήλαιον «пещера». Таким образом, пещѣра — вторичное существительное, образованное присоединением суффикса -ера к пещѣръ так же, как болг. *мезера* «отверстие»; пѣтера, шестера и т. п. Пещѣръ, *печь, рес* только славянское слово. Полагают, что оно от праслав. **pekti* < **pequ-*. Сомнительно, чтобы от корня пек-, пек-ѫ образовалось название ямы, а не наоборот. Не исключено, что пещѣръ от **pet-jo*, имеющее соответствие в ностратических языках в виде *pŭt-, pott, pit* «дыра» [29]. Известно, что в древности славяне, как и другие народы, огонь в жилищах разводили в ямах, очагах и лишь позже над ямой стали строить глиняный свод — печь [30]. Зафиксировано и ѣма, ꙗма в передаче βοθύνος и βόθρος. В отличие от пещѣръ, ѣма обозначала глубокую и по размерам бо́льшую в сравнении с пещѣръ яму, или ров, ср. издрѫютъ сѧ грѣшьноумоу ѣма (Син пс XCIII, 13), φυγῇ...βόθρος; еда можѣть слѣпаца слѣпца водити · не оба ли въ ѣмѫ въпадете сѧ (Л VI, 39, Зогр, Мар),... εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται. Ѣма — общеславянское слово, но его индоевропейские генетические связи не установлены.

Ѣзкина «нора»: лиси ѣзвинъи имѫтъ (Л IX, 58 Ас и др.) [31]; брание «грязь»: сътвори брание отъ плиновениѣ (И IX, 6 Зогр и др.). По-видимому, брание — диалектное слово, поскольку оно в восточных и западных славянских языках не имеет убедительных соответствий; кроме того, не ясны и его индоевропейские генетические связи [32]. Далее: камѣнь / камъкь пѣсъкъ, попелъ / пепелъ. Отметим, что общеслав. χлъмъ признается заимствованным др.-герм. **hulma-* [33].

Обозначение понятий пространства, площади: лѫгъ, лѫжанъ, лѣсъ, дѫбрава, дѫбравинъ. Ср.: ꙗзеба и кепрь отъ лѫга (Син пс LXXIX, 14), ... ἐκ δρυμοῦ «из рощи»; звѣрие лѫжаніи (там же CIII, 20), τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ «звери лесные»; однако в Син тр: примѣталъ сѧ (вм. примѣт.)... изъ лѣса лѫжъналаго (54б, 2—9), ... ἢ ἄλσους τοῦ δρυμοῦ «из рощи дубравной». В Син пс и Син тр употреблены дѫбрава, дѫбравинъ в передаче δρυμός, τοῦ δρυμοῦ: огнь попалѣиѧ дѫбравы (Син тр 55б, 11—12), πῦρ διαφλέγον δρυμόν; сврѣтомъ ѩ въ полихъ дѫбравы (Син пс CXXX, 6), ἐν τοῖς πεδίοις τοῦ δρυμοῦ, видимо, «на полянах дубравы». Словом лѣсъ в Син тр переведено ἄλσους (пример см. выше); в Супр—ἕλος «лес на болоте» (?): видѣ мѣсто... тинъи смрадашѩ планѫ и лѣсъ часть ва неи (193, 14). П. Скок полагает, что лѣсъ от корня **lē(i)*-в значении «приобрести, владеть» [34]. В этом случае лѣсъ образования типа серб. *стас* «стан, фигура», от **sta-s*; власъ < **vol-sъ*; гласъ < **gol-sъ* и т. п.

---

[29] В. М. Иллич-Свитыч, Соответствия смычных в ностратических языках, «Этимология. 1966», М., 1968, стр. 319.

[30] Л. Нидерле, Славянские древности, М., 1956, стр. 253 и сл.

[31] А. Мейе, указ. соч., стр. 70; R. Trautmann, Baltisch-slavisches Wörterbuch, 2. Aufl., Göttingen, 1970, стр. 68 и др.

[32] А. Преображенский, Этимологический словарь русского языка, I, вып. 1—9; II, вып. 10—14, М., 1910—1914, стр. 44; М. Фасмер, указ. словарь, I стр. 212; P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, kn. I, Zagreb, 1971, стр. 214.

[33] А. Мейе, указ. соч., стр. 63; М. Фасмер, указ. словарь, IV, стр. 255.

[34] P. Skok, указ. словарь, II, стр. 298.

2. Небо, небесанъ, небесьскъ от *nebhos в первичном значении «туман, облако, небо» [35]. Далее: сльнце, лоуна, мѣсѧца, звѣзда, облакъ < *ob-volkъ «обволакивание»; тѫча, ср. литов. *tankus* «густой». Эти слова не требуют комментариев, поскольку праславянское происхождение их ясно.

Следует отметить, что в памятниках старославянской письменности, восходящей к первичному переводу, отсутствует слово въздоухъ, вместо него употреблено греч. аеръ. Въздоухъ — отглагольное существительное от въздъхнѫти, въздоунѫти — зафиксировано в Син тр и Супр наряду с аеръ: тъі къ въздыхаиию въздоухъ проникѣ (Син тр 4а, 13—14) σὺ πρὸς ἀναπνοὰς τὸν ἀέρα ἐξέχεας; но: на облацѣхъ по аеръ (там же, 71а, 11—12), ἐν νεφέλαις...εἰς ἀέρα; в Супр аеръ зафиксировано всего один раз (см. 482, 11—12), въздоухъ —16 и только один раз прилаг. въздоушаниихъ (531, 7—8), τῶν ἀερίων.

3. Наименования, связанные с понятием «жидкость, вода»: вода, водаиии. Например: вѣ кѫпѣла водамиа (Супр 496, 7—8); источаници водаиии (Син тр 2а, 18); отъ водъ износатъ рыбы (Супр 496, 5), от корня *ǫod-/*ǫed-.

Блага: а дроугое (сѣмѧ — *А. Л.*) паде на камене · і прозѧвъ оусаше заненеимѣаше благы (Л VIII, 6 Зогр и др.)... διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα; капѣ, роса: приде съ небесе роса (Супр 158, 2); слана: ізві ... чрѧницѧ іхъ сланоѭ (Син пс LXXVII, 47), ἀπέκτεινε...ἐντῇ πάχνῃ «инеем, изморозью»; ледъ: растаѧвъ са ледъ быстъ вода (Супр 78, 1); струѭ, струта, потокъ, рѣка, рѣчаиии; воды рѣчаиииѧ (Син тр 1б, 3); езеро, море, морьскъ: например, въ пѫчинѣ морьстѣи (Мф XVIII, 6 Мар, Зогр); источаникъ.

Из перечисленных слов слана отмечено только в южнославянских языках [36]. Несмотря на это, оно имеет бесспорные генетические соответствия в балтийских языках [37], что свидетельствует о его праславянском происхождении. Тем не менее, слана является южнославянским диалектизмом праславянской лексики.

Что касается слова источаникъ, то наличие в нем приставки ис- в выделительном значении свидетельствует о южнославянском его образовании от основы глагола источ-и-ти; ср.: водѫ и крвѧ источи отъ проводенъиихъ ребръ (Супр 483, 16—17). Поскольку прилагательное источанъ в памятниках старославянской письменности не встречается, то, надо полагать, что источаникъ образовано по аналогии таких существительных, как слъзоточаникъ, ровѧникъ от рыти < *rou- «колодец»; почръпалъникъ «бадья, ведро»; свѣщтаникъ и т. п., т. е. присоединением -аникъ к основе источ- (и-ти).

Источаникъ встречается преимущественно на месте греч. πηγή, ср.: жьждетъ еленъ не источъникы водаиииѧ (Син пс XLI, 2) ...ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων; источаникъ воды (И IV, 14 Ас и др.), πηγὴ ὕδατος, но: исаки источаникъ краве (Мк V, 29 Мар, Зогр); прѣежчи еи (волѣзни.—*А. Л.*) іста ника (Син тр 45а, 9—8); благѣению іста ника (Син тр 6б, 18—19), εὐλογίας πηγήν и т. п. Таким образом, слово источаникъ употреблено не только в значении «ключ, родник», но и в значениях «начало» (чего-нибудь); «течение» (например, болезни) и т. д.

Интересующее нас слово *источник* в болгарском языке как книжное фиксируется в основном в значении «начало чего-нибудь» [38], в живой речи понятие «ключ, родник», обозначается словами *кладенец*, *извор*, *чеш-*

---

[35] М. Фасмер, указ. словарь, III, стр. 53; P. Skok, указ. словарь, II, стр. 509.

[36] А. Преображенский, указ. словарь, II, стр. 319 и сл.; М. Фасмер, указ. словарь, III, стр. 666 и др.

[37] R. Trautmann, указ. соч., стр. 298.

[38] «Речник на съвременния български книжовен език», св. 4, София, 1955, стр. 538; Л. Андрейчин, Л. Георгиев, Ст. Илчев и др., Български тълковен речник, София, 1955, стр. 255.

ма; макед. «источник» (*izvor*) приведено с пометой crkv. [39]; в серб.-хорв. памятниках письменности *источник*, *источнак* встречается, начиная с XVII—XVIII вв. [40], а понятие «ключ, родник» в них обозначается словами *извор*, *чесма*; словен. *vir*, *vrelec*, *izvir*, чеш. *pramen*, *zřidlo*, *zdroj*; польск. *źródło*, *zdroj*; белорусск. *криница*, укр. *джерело*, *криниця*, русск. *ключ*, *родник*, *колодязь* (ст.-русск.) [41]; *источник* (книжное слово).

Все эти данные говорят о том, что ни в одном славянском языке, видимо, не было естественно возникшего слова *istočьnikъ* в значениях, указанных выше по отношению к «вытекающей или выбивающей из почвы воде». Остается допущение, что источникъ — искусственное слово, созданное первыми переводчиками для передачи греч. ἀφέσεις и πηγή. Так, в переводе ἐξηράνθησαν ἀφέσεις ὑδάτων (Иоэль, I, 20) читаем: исьсахоу источници водни [42], что в первичном тексте, несомненно, читалось так: исахж источници водьни; ср.: слъньцю въсиѣвъшю присьлаж і... исахж (Мф XIII, 6 Мар, исъхоша — Зогр.); ἀφ < ἀπὸ — из; ἔσεις «устремление»: ис-точ-ь-никъ «вытекающий, выбивающий».

4. Лексика, обозначающая явления природы. Ведро «тихая погода»: вечеръ сѫшю глѣте ведро (Мф XVI, 3 Зогр, Мар), ὀψίας γενομένης λέγετε εὐδία. В указанном значении ведро — общеславянское слово, но его индоевропейские генетические связи неясны. По Фасмеру, оно, по-видимому, родственно с др.-в.-нем. *Vetar* «погода» [43]. Вѣтръ от корня **uē-*, слав. **vē(j)-*, ср. литов. *vėjas*, др.- прусск. *wetro* «ветер»; вихица «въюга, метель»: точаци боури сѫщи вихици · людемъ трьпащемъ зимѫ великѫ (Син тр. 44б, 8—10); ср. русск. диалектн. *вьялица* [44]. Трѫсъ «землетрясение»: і се трѫсъ бысть велии (Мф XXVIII, 2 Зогр, Мар, Ас и др.), καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, от корня **trem-*, трасти — трасъ; ср. укр. *трус* «трясение» [45], русск. *трус* «тот, кто всего боится» — дальнейшее развитие семантики «трястись». Боурѣ, λαῖλαψ «буря, вихрь, смерч»: і бысть боурѣ вѣтрьна велиѣ бльны же бъникаахж сѧ къ ладиѭ (Мк IV, 37 Зогр, Мар); избави... отъ града носима боурежь (Син тр 14а, 6—8), от общеславянского корня **bur'-*, точные генетические связи которого в других индоевропейских языках бесспорно не установлены. К этой же группе относится громъ, передающий греч. βροντή «гром»: громъ, бысть (И XII, 29 Мар и др.), от грмѣти — громъ; млъни, ср.: громъ съ небесе мисгами млъниѭми (Супр 6, 16); ѡсвѣтишѧ млъниѧ... въселеннѫѭ (Син пс XVI, 4), от общеслав. **mъlni* + *ja* или + *jo*; дальнейшие связи не совсем ясны [46]. Далее: дъждь, дъждити, потопъ, наводне, градъ, ср.: изві градомь вина іхъ (Син пс XXVII, 47); зима, χῦχος «холод, мороз»: стоѣхж же рави · і слоутъ огнь сътворьше ѣко зима бѣ грѣахж(сѧ) (И XVIII, 18 Зогр и др.); людемъ трьпащемъ зімѫ великѫ (Син тр 44б, 10); мразъ, ср.: повелѣша... и влѣшити бнъ на мразъ (Супр 261, 7—9); хладъ, ср.: пальащіѭ грьтань его прохлади хладомь (Син тр 29б, 23—24), корень **chold-* — общеславянский; студень, ср.: бѣаше студень велика (Супр 76, 11—12); ледъ: растаѭвъ сѧ ледъ бысть вода (там же 78,1); снѣгъ: (виноградъ)... избави отъ снѣга · отъ мраза · і отъ града носима боурежь (Син тр 14а, 6—8).

Противоположные явления — огнь, огньнъ — восходит к праславянскому

---

[39] «Речник на македонскиот јазик», I, Скопје, 1964, стр. 301.

[40] «Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika», sv. XIII, Zagreb, 1894, стр. 54 и сл.

[41] А. С. Львов, К этимологии старославянского слова кладѧсь, «Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», X, 1956, стр. 46.

[42] «Slovník jazyka staroslověnského», I, Praha, 1968, стр. 820.

[43] М. Фасмер, указ. словарь, I, стр. 284.

[44] «Словарь русских народных говоров», 6, Л., 1970, стр. 71.

[45] Б. Гринченко, Словарь украинского языка, IV, Киев, 1909, стр. 290.

[46] М. Фасмер, указ. словарь, I, стр. 643; P. Skok, указ. словарь, II, стр. 483

**ognis*, родственному литов. *ugnis* < **ognis*, лат. *ignis* < **egnis* и т. д.; пламѫ — пламенѣ, пламенѧнъ: измѣни сѧ лице ѥмоу и бысть акы пламѫ (Супр 159, 16—17); пламенѣ пожѫгѧѩ горѫ (Син пс LXXXII, 15); и огнь отъ него въспланетъ сѧ (там же XVII, 9), от корня **pol-men* (см. предыдущий пример), ср. русск. *полеть*, *палить*, *поломя* и *полымя* и т. д., топлъ, топлота, теплость, ср.: вода топла (Супр 78,1); прикѣтомъ топломъ рекѫ (Син тр 92б, 7); топлота... отъ тѣла (Супр 89,25); грѣаше ѩ теплостиѩ рѫкѫ своеѧ (там же, 516, 15), от корня **tepl-/*topl-*, последний характерен преимущественно южнославянским языкам (первичным считают **tepl-*) [47]; варъ, καύσων «зной»: понесъшимъ тягостѫ дьнѣ и варъ (Мф XX, 12 Ас и др.), от варити/варѣти «варить, жарить, кипеть», ср.: постави и... госкачиѩ варити и слоужити братии (Супр 284, 6—8); слъзы варашта капаахѫ по лицитама на земльѩ (там же 397, 25—26), καχλαζόντων «кипя, клокоча». Сюда же проврѣзъ «рассвет» от врѣзъ ср., в частности, русск. *я встал нынe на б р е з г у*; *заря чуть б р е з ж и т* [48]; врѣзъ<*bresk* — общеславянское [49], но в про-врѣзъ употребление приставки про- неясно, ср.: і ютроу проврѣзгоу изиде (Мк I, 35 Зогр, Мар); καὶ πρωῒ ἔννυχα...ἐξῆλθεν. Далее: сѣнь, σκία «тень»; дымъ, тьма; свѣтъ.

VI. Не продолжая перечисление лексики, восходящей к праславянскому наследию, остановимся на диалектизмах, которых, как отметили выше, не менее 10% от общего праславянского слоя старославянской лексики. За последнее время на древнейшую по происхождению диалектную лексику обращается особое внимание [50]. Так, в современном русском языке обнаружено свыше 5000 праславянских слов, из которых 70 — диалектных. По подсчету Ф. Славского из 896 слов, входящих в первый том праславянского словаря, 397 (свыше 40%) — диалектных.

Приведем еще несколько примеров южнославянских диалектизмов в старославянской лексике.

Слово брашно < **boršьno* (восточнослав. *борошно*) известно во всех славянских языках в значении «мука» (в восточнославянских это слово уже диалектное), что оправдано, так как родственное лат. *far*, *farris* (род. пад.) *farina* также фиксируется в значении «мука» [51]. Однако в памятниках старославянской письменности брашно зафиксировано в переводе βρῶμα, βρῶσις, τροφή «пища, еда, продукты питания»: оученици бо его ошьли бѣахѫ въ градъ да брашна коупатъ (И IV, 8, Зогр), ...τροφὰς ἀγοράσωσιν «пищи купить»; далъ еси брашно людемъ етиопьскомъ (Син пс XXIII, 14), ἔδωκας αὐτὸν βρῶμα λαοῖς Αἰθίοψιν «дал пропитание...». Отсюда греч. κοινωνία, наряду с причастие, комъкание, въсѣдъ, передается еще брашьнице «хлебец», ср.: Аще кто болѣзни ради избльюетъ брашенице. Б҃ дни да постит сѧ (Син тр 103 а, 11—12); в Устюжской кормчей этот текст читается так: аще кто... болѣзни ради избльюетъ причастие ѥже естъ комъкание [52], ср. также: по комъканьи иметъ ѿтъ за рѫкѫ старѣишьаго (Син тр 11б, 5—7).

---

[47] A. M e i l l e t, Études sur l'etymologie et le vocabulaire du vieux slave, 2-e ed., Paris, 1961, стр. 413; М. Ф а с м е р, указ. словарь, IV, стр. 44; P. S k o k, указ. словарь, III, стр. 482.

[48] В. Д а л ь, Толковый словарь живого великорусского языка, I, М., 1955, стр. 127.

[49] М. Ф а с м е р, указ. словарь, I, стр. 211.

[50] См.: О. Н. Т р у б а ч е в, О составе праславянского словаря (проблемы и задачи), «Славянское языкознание. V Международный съезд славистов», М., 1963, стр. 159 и сл.; F. S ł a w s k i, Nad pierwszem tomem Słownika prasłowiańskiego, «Rocznik sławistyczny», XXXIV, 1, 1973, стр. 3; «Słownik prasłowiański», I, стр. 10.

[51] М. Ф а с м е р, указ. словарь, I, стр. 197; P. S k o k, указ. словарь, I, стр. 198.

[52] R. N a h t i g a l, Euchologium sinaiticum, II, Ljubljana, 1942, стр. 324, примечания.

Таким образом, в сравнении с данными других славянских языков брашно в старославянском является семантическим диалектизмом.

Очень распространен глаголати в передаче обычного греч. глагола λέγειν, редко — λαλεῖν. Так, в Мар он употреблен свыше 1000 раз, в Сав — около 300, в Супр — до 800 и т. д. Этот отыменной глагол, образовавшийся от звукоподражательного **golgolъ* > глаголъ; **гологолъ* первоначально, как и восточнослав. *колоколъ*, обозначал какие-то прерывистые звуки (образование слов способом редупликации корня является древнейшим). По-видимому, **golgolъ* и от него **golgolati* являлось общеславянским, о чем свидетельствует сохранение этих форм в чеш. *hlahol* «гомон, речь», *hlaholiti* «звучать, возвещать» [53]. Как видно из определений значений, указанные слова в чешском до сих пор полностью не нейтрализовались в семантике и отражают еще звукоподражательное происхождение. В русском языке только в диалектах отмечается *гологолить* и в акающих говорах — *глаголать*, *глаголить* (из *гълагблать*, *гълагблить*) «говорить; разглагольствовать; плакать [?]» [54]. При этом в русском языке существительное вышло из употребления. В памятниках же старославянской письменности употребительны глагольные формы, а формы существительного встречаются редко: так, в Мар глагольных форм свыше 1000, а форм существительных только 42; в Супр соответственно 800 и 7; в упомянутом словаре Гебауэра, наоборот, примеров на существительное приведено около 50, а на глагол — 3.

Характерно, что в памятниках старославянской письменности глаголати — глаголъ — полностью нейтрализовавшиеся в семантике слова, не сохранившие ничего от звукоподражательной природы. По всем данным, это произошло в том южнославянском диалекте, на который переводили греческие церковные книги Константин и Мефодий со своими помощниками. Для иллюстрации приведем несколько примеров: Глаахъ же емоу · ты къто еси. і рече імъ начатъкъ · ѣко і глѭ вамъ · мъного імамъ о васъ глати (И VIII, 25—26, Зогр и др.), ἔλεγον...λαῶ ὑμῖν ... λαλεῖν; вазапі гла... спсіи ма (Мф XIV, 30 Ас и др.), ἔκραζεν λέγων ...; рече имъ гла (Мф XXVIII, 18 Мар и др.), ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων; оустъніи лъстівъіа глѣшіа на праведъніаго безаконеніе (Син пс XXX, 19); глано быстъ къ нимъ (Л II, 20 Зогр и др.), ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς и т. п.

Мк XV, 17 и 20, читавшийся перед пятницей страстной недели, греч. πορφύρα «пурпурная одежда, одеваемая для позора» передается словом прѣпржда, которое, несомненно, является отглагольным существительным основы на -ĭ. Сам глагол пржди́ти, прѣпржди́ти в памятниках не зафиксирован, но он существовал в значении «жарить, палить» [55]. Показательно, что Л XVI, 19 πορφύρα в значении «дорогая, почетная одежда» оставлено без перевода. Этот факт лишний раз показывает, что в том славянском наречии, на которое впервые переводили церковные книги, слово прѣпржда в значении «особой одежды» существовало; ср.: и облѣша и къ прѣпржда... и егда поржгаша са ... емоу съвлѣша са него прѣпржда (Мк XV, 17 и 20 Ас); къ прѣпрждъ... прѣпрждѫ · (Сав); къ прапрждъ... прапрждъ (Зогр); къ прапрждъ... прапрждъ (Мар); багряницѫ (Остр); чакъ

---

[53] J. Gebauer, Slovník staročeský, I, Praha, 1970, стр. 419 и сл.; F. Trávníček, Slovník jazyka českého, Praha, 1952, стр. 415; V. Machek, Etymologický slovník jazyka českého, Praha, 1968, стр. 166.

[54] «Словарь русских народных говоров», 6, Л., 1970, стр. 314 и 177; М. Фасмер, указ. словарь, I, стр. 430.

[55] А. С. Львов, Очерки по лексике памятников старославянской письменности, М., 1966, стр. 220 и сл.; М. Фасмер, указ. словарь, III, стр. 388 и сл.

етеръ бѣ богатъ и облачаше сѧ въ порфиръ и въ бѵссъ (Л XVI, 19 Ас и др.).

Нет сомнения, что первичной и древнейшей формой было прѣпрѫдъ, так как прѣпрѫдъ означал бы форму прилагательного; употребление ъ вместо ь в этом слове объясняется неразличением этих редуцированных писцами. Ни в одном из живых славянских языков нет следов существования указанного прѣпрѫдъ, который позже заменялся на багрѣница или же переосмысливался как прапрѫдъ в Моравии [56].

Таким образом, прѣпрѫдъ уже в IX — XI вв. было диалектным словом.

В евангелиях греч. γεννήματα ἐχιδνῶν «порождение ехидны», или «потомок ехидны» переведено как ишꙗдиѣ ехидꙗнова (Мф III, 7; XII, 34; XXIII, 33; Л III, 7): ишꙗдѣ ехидꙗнова како можете добро глати (чтворити.—Зогр) земи сѫще (Мф XII, 35 Мар; племѧ аспидова.—Сав). Приведенный текст в составе Мф XII, 30—37 читается в восьмую субботу по пятидесятнице и потому считают, что он относится к первичным переводам. Остальные тексты находятся в календаре, или месяцеслове (συναξάριον), поэтому возможно, что они переведены в Моравии, так как многие данные говорят о том, что календарь составлен именно там.

Ишꙗдиѣ <* ис-чад-иѣ, ср.: исчадиа ехидновa (Мф III, 7 Дечян. ев.); ср. еще: бешꙗдъ, бешꙗда <* без-чадъ, правда, последнее — калька греч. ἄτεκνος, судя по приставке ис- < из- должно быть южнославянским словом, поскольку префикс здесь в выделительном значении. Однако в южнославянских языках отсутствуют следы существования этого слова. Более того, в болгарских списках евангелий ишꙗдиѣ чаще всего заменяется словами рождение, отъродие и племѧ [57]. Достоверные же следы существования слова ишꙗдие находим в ст.-чеш. *ščědia* «потомство, потомок» [58]; ст.-польск. *szcządek*, *szczątek*— то же значение [59].

Не исключено, что диалектизм ишꙗдие западнославянского происхождения; *š't'ędia* подвели под южнославянскую форму ишꙗдие, прибавив и в анлауте.

Глаголом алъкати и лакати (последняя форма встречается исключительно в Син пс и преобладает в Зогр) [60] передается греч. πεινάω «голодать, быть голодным», ср.: і алъкати бо имаши и жадати (Син тр 90а, 24), καὶ γὰρ πεινᾶσαι ἔχεις...; когда та видѣхомъ алчѫща (алъчѫща.— Сав) и матроухомъ (Мф XXV, 37 Ас и др.), ... εἴδομεν πεινῶντα...; обрѣтѫ алчѫще і жѧждѫще... (Син пс CVI, 5), εὕρον πεινῶντες...

Кроме памятников старославянской письменности, форма алъкати не известна ни одному славянскому языку. *Lakota* «голод» находим в словенском языке [61]; прилаг. *lačný*, *łaczny* «голодный»— в чеш., словацк. и польск. [62]. В южнославянских языках форма глагола от лак- не фиксируется, хотя они

---

[56] А. С. Львов Очерки..., стр. 220 и сл.

[57] V. Jagić, указ. соч., стр. 535 и сл.

[58] J. Gebauer, указ. словарь, I, стр. 152; E. Berneker, Slavisches etymologisches Wörterbuch, I, Heidelberg, 1908—1913, стр. 154; V. Machek, указ. словарь, стр. 92 и сл.

[59] S. Reczek, Podręczny słownik dawnej polszczyzny, Wrocław—Warszawa—Kraków, 1968, стр. 482; A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa, 1957, стр. 542.

[60] Употребление указанных форм по памятникам см.: P. Diels, Altkirchenslavische Grammatik, I, Heidelberg, 1932, стр. 60; Н. Ван-Вейк, История старославянского языка, М., 1957, стр. 87.

[61] J. Kotnik, Slovensko-ruski slovar, Ljubljana, 1950, стр. 150.

[62] J. Gebauer, указ. словарь, II, стр. 198; F. Trávníček, указ. словарь, стр. 812; «Slovník slovenského jazyka», II, Bratislava, 1960, стр. 7; S. Reczek, указ. словарь, стр. 189.

обычны в западнославянских языках; в болг. *лаком* употребляется в значении «обжора, жадный» [63]. Значение же «голодать; быть голодным» в глаголе алъкати должно быть древнейшим, потому что и литов. *álkti*, и латыш. *sa̦lkt* известны в этом значении [64].

Таким образом, по форме **алъкати** отражает древнейшее образование открытого слога не обычной метатезой **olk-* > **lak-*, а вставкой редуцированного ъ между согласными: аlък- [65]. Устойчивое употребление лакати в том же значении, особенно в Син пс, что и алъкати, видимо, следует объяснять как замену последней формы первой в Моравии, так как в Син пс весьма заметно употребление моравских форм и слов. Кроме того, в западнославянских языках в прошлом и в настоящее время *lakati* не зафиксировано в значении «голодать», а только «жаждать; страстно желать; манить; соблазнять; постигать» [66].

Словом, алъкати по форме, несомненно, а по значению, вероятно, является древнейшим диалектизмом в языке памятников старославянской письменности.

Не имея возможности в одной статье рассмотреть каждое диалектное слово, требующее обоснования, перечислим лишь некоторые из них: бъдѣти, побъдѣти (восточные и западные славянские языки не знают образований от корня бъд- < **bud-i-ti*); мѣнити, измѣнити «считать (кем, чем), полагать, причислить»; въторъи, вѣнити сѧ «цениться»; етеръ, жала, μνημεῖον «могила, гробница» (кроме старославянского, известно еще севернорусским говорам); сѣло, задати, задание; избыти, избытъкъ; измѣрѣти «перемереть»; вообще с приставкой из- / -ис в выделительном значении в Мар зафиксировано 75 слов, бесспорно являющихся южнославянскими диалектизмами; кокотъ, кокоша, кратъ, кръма, лажаѣ, мждавъ, натроути, нищта, облачити; облещта μεῖναι «оставаться ночевать», одежда, опона, отрокъ, пишта, питати, потабѣта, праздавъ, прѣтити, запрѣтити, разпждити, рыбарь, рыбитвъ, свѣшта, спъти, стъгна, тръхъта, тоужда, тѣштити (пѣнь), оубогъ, оукроп, и мн. др.

Статья не дает материала для решения интересующей многих проблемы о народной (национальной) основе лексики памятников старославянской письменности, но из изложенного становится, в общем, ясной структура лексики этих памятников, состоящей из нескольких пластов, или слоев. Основой словаря является праславянский слой лексики, при этом входящие в него диалектные слова могут быть как южнославянские (их, пожалуй, большинство), так и западнославянские: например: нищта — южнославянское, а оубогъ — западнославянское слово, но такие диалектные слова, как брашно, глаголати, етеръ, сѣло, лажаѣ, одежда и т. п., локализации не поддаются. На праславянское ядро лексики наслоились кальки и искусственно созданные, а также заимствованные слова. Каждый слой лексики требует весьма тщательного анализа для того, чтобы решить, как шло становление древнего общеславянского литературно-письменного языка, сыгравшего исключительно важную роль в развитии славян и их культуры.

---

[63] Л. Андрейчин, Л. Георгиев и др., Български тълковен речник, стр. 341; «Речник на съвременния български книжовен език», II, стр. 5.

[64] R. Trautmann, указ. словарь, стр. 6.

[65] А. М. Селищев, Славянское языкознание, I, М., 1941, стр. 16; его же, Старославянский язык, ч. I, М., 1951, стр. 99 и 175.

[66] J. Gebauer, указ. словарь, II, стр. 201 и сл.; F. Trávniček, указ. словарь, стр. 814; S. Reczek, указ. словарь, стр. 190; A. Brückner, указ. словарь, стр. 308.

Принятые в статье сокращения названий источников

Ас — J. Kurz, Evangeliář Assemanův, kodex Vatikanský 3, Slovanský, d. II. Praha, 1935.

Ен ап — К. Мирчев и Хр. Кодов, Енински апостол. Старобългарски паметник от XI в., София, 1965.

Зогр — Зографское евангелие, изд. В. Ягича, Berolini, 1879.

Киев лл — Київські глаголицькі листки, в кн.: І. Огієнко, Пам'ятки старо-слов'янської мови X—XI віків, Варшава, 1929, стр. 311—323.

Клоц — Clozianus, Staroslověnský hlaholski sborník Tridentský a Innsbrucký, Praha, 1959.

Мар — И. В. Ягич, Мариинское четвероевангелие с примечаниями и приложениями, СПб., 1883.

Остр — Остромирово евангелие 1056—1057 гг. С приложением греческого текста евангелий и с грамматическими объяснениями, изданное А. Востоковым, СПб., 1843.

Панд. Ант. XI — Пандекты Антиоха списка XI в.

Сав — Саввина книга, изд. В. Щепкина, СПб., 1903.

Син пс — Синайская псалтырь, изд. С. Северьянова, Пг., 1922.

Син тр — Euchologium sinaiticum starocerkvenoslovanski glagolski spomenik. Izdajo priredil Rajko Nachtigal, d. II, Ljubjana, 1942.

Супр — Супрасльская рукопись, изд. С. Северьянова, СПб., 1904.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1976

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. Я. МЫРКИН

ТЕКСТ, ПОДТЕКСТ И КОНТЕКСТ

Название данной статьи заимствовано из работы В. Скалички [1], идеи которой требуют, на мой взгляд, подкрепления и уточнения. Язык, по мнению В. Скалички, складывается из трех компонентов: текста, контекста и подтекста. Текст — это эмпирическое, а именно акустическое или оптическое явление, сопровождаемое значением. Подтекст, будучи семиологическим явлением, включает в себя как соседние части данной части текста, так и ситуацию, благодаря которым возникает новое значение. Это второе значение текста, которое важнее, чем первое, называется подтекстом. В другой работе В. Скаличка развивает эти положения [2]. Он вводит термин смысл (нем. Sinn), противопоставляя его значению (Bedeutung). А вместо контекста останавливается на термине ситуация, заключая, что смысл является продуктом текста плюс ситуации. В итоге тремя составляющими языка В. Скаличка считает систему, текст и ситуацию, т. е. в треугольнике языка подтекст (или смысл) в первой работе заменен системой во второй, что никак не вытекает из изложения и объясняется, возможно, терминологическим неразличением языка (langue) и речи (parole) [3]. Идеи В. Скалички о смысле и ситуации были изложены на X Международном конгрессе лингвистов К. Горалком [4].

Развивая проблематику указанных работ, следует прежде всего размежевать понятия текста и речи, которые в лингвистической литературе часто смешиваются. Текстом здесь — за неимением другого подходящего термина [5] — называется такое языковое явление, которое Э. Бюиссанс назвал «discours», расположив его в качестве среднего звена между языком (langue) и речью (parole) как абстрактное высказывание [6], т. е. обезличенное, внеситуативное, некоммуникативное. Между тем речь (= речевой акт) — это действительное высказывание, наполненное субстанцией конкретной ситуации, явление многомерное, сложное, уникальное, это, по одному из определений, «то, что кто-либо говорит, ...это акт экспериментальный и всегда комплексный; он детерминируется кооперацией или синтезом многочисленных факторов, общих

См.: V. Skaličkа, Text, Kontext, Subtext, «Slavia pragensia», III — Philologica, 3, 1961.

[2] См.: V. Skaličkа, Die Situation und ihre Rolle in der Sprache, «Omagiu lui Alexandru Rosetti», Bucureşti, 1965, стр. 839—841.

[3] О позиции В. Скалички в вопросе дихотомии языка см.: V. Skaličkа, The need for a linguistics of la parole, «Recueil linguistique de Bratislava», 1, 1948.

[4] См.: K. Horálek, Bedeutung, Inhalt, Sinn, «Actes du Xe Congrès international des linguistes, Bucarest, 28 août — 2 septembre 1967», II, Bucarest, 1970.

[5] Неудобство термина текст заключается в распространенности его бытового значения; к тому же развивается и новое терминологическое значение текста, см., в частности: И. Р. Гальперин, О понятии «текст», ВЯ, 1974, 6.

[6] E. Buyssens, De l'abstrait et du concret dans les faits linguistiques: la parole — le discours — la langue, AL, III, 1, 1942—1943, стр. 21.

и частных и, сверх того, тонких нюансов, объясняемых сложностью конкретной ситуации. Феномен такого рода неизбежно мгновенен и одновременно индивидуален» [7].

Если, таким образом, ситуация является непременным конституентом речи, то, следовательно, речь — это текст плюс ситуация [8]. Это почти похоже на формулу В. Скалички, в которой вместо речи стоит смысл, т. е. акцентируется только значимая (с исключением значащей) сторона равенства, к которой мы и переходим далее.

Одним из следствий систематического неразличения текста (так сказать «квази-речи») и речи является слишком широкое толкование понятия актуализации, хотя исходный тезис в определении Ш. Балли: «Функция актуализации заключается в переводе языка в речь» [9], — кажется общепринятым (правда, в терминах нашей статьи следовало бы сказать: «...в переводе текста в речь») [10].

Уже сам Ш. Балли уравнивал актуализаторы речевые (названные им «имплицитными», т. е. вытекающие из ситуации) и текстовые («эксплицитные», вытекающие из синтагматической связи слов) [11]. Между тем, если актуализация — это трансформация текста в речь, то осуществляется она лишь включением текста в ситуацию, тогда как синтагматические средства формируют текст и только, т. е. осуществлять функцию актуализации решительно не способны [12].

К сожалению, в дальнейшем понятие актуализации развивалось в сторону двусмысленности. Утверждается, к примеру, что значение слова «актуализируется» в речи, а понимается под этим фактически моносемантизация слова в пределах минимального словесного контекста. Так, В. Шмидт в известной книге «Лексическое и актуальное значение», различая langue и parole (соответственно — лексическое значение слова как потенцию на уровне языка и актуальное значение слова как реализацию на уровне речи) [13], на деле рассматривает последнее как (кон)текстуаль-

---

[7] V. Brøndal, Essais de linguistique générale, Copenhague, 1943, стр. 53.

[8] Подобное противопоставление текста и речи не вполне совпадает с развиваемой в современной французской лингвистике дихотомией énoncé и énonciation как статического и динамического аспектов высказывания. Хотя под énonciation понимается индивидуальный акт использования языка (что равнозначно речи), но при этом принимается во внимание только конвенциональная сторона речевого акта, где можно выявить общие закономерности (см.: T. Todorov, Problèmes de l'énonciation, «Langages», 17, 1970, стр. 3). Ср. также различение К. Хегером parole и Σ-parole как абстрагированное от hic et nunc речи (см.: K. Heger, Die Semantik und die Dichotomie von langue und parole, ZfromPh, 85, 1/2, 1969, стр. 156).

[9] Ш. Балли, Общая лингвистика и вопросы французского языка, М., 1955, стр. 93.

[10] Я не имею в виду применения термина «актуализация» в совершенно ином смысле, как, например, у Я. Мукаржовского: противопоставление актуализации как деавтоматизации речевого акта (например, в поэзии) — автоматизации (например, в прозе) (см.: Я. Мукаржовский, Литературный язык и поэтический язык, сб. «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 409 и сл.). Толкование актуализации Й. Домбровским в целом аналогично нашему, хотя некоторые элементы (например, различение актуальных и неактуальных грамматических форм времени) напоминают «эксплицитные» актуализаторы Ш. Балли (см.: J. Dombrovszky, Langue «actuelle» et langue «inactuelle» («infralangue» et «supralangue»), «Slavica», X, 1970, стр. 17 и сл.; см. также: Й. Домбровский, Знак и смысл, ВЯ, 1973, 6).

[11] Ш. Балли, указ. соч., стр. 95 и сл.

[12] Ср. также критику «актуализаторов» Ш. Балли К. Роггером, справедливо отмечающим, что «если предложение актуализируется ситуацией, разве не актуализируются автоматически и все его части через целое предложение?» (см. K. Rogger, Langue—parole und die Aktualisierung, ZfromPh, 70, 5/6, 1954, стр. 374).

[13] W. Schmidt, Lexikalische und aktuelle Bedeutung. Ein Beitrag zur Theorie der Wortbedeutung, Berlin, 1965, стр. 28.

ное значение, иллюстрируя его такими, в частности, семантическими вариантами: *Der Baum fällt* «дерево падает», *Das Kind fällt* «ребенок падает», *Der Soldat fällt* «солдат погибает» [14]. При этом автор, определяя актуальное значение, указывает на зависимость его не только от вербального контекста, но и «от соответствующей речевой ситуации, образуемой экстраязыковыми факторами» [15].

Подобная непоследовательность в трактовке актуализации типична в семасиологических исследованиях [16], а высказывания, уточняющие положение вещей [17], не имеют достаточно широкого резонанса. Поэтому следует еще раз подчеркнуть: последовательность знаков, допустим, предложение, в отвлечении от широкого контекста (ситуации) — это еще не речь, если под последней понимать конечный продукт языка, это всего лишь «заготовка» для будущей речи, текст, требующий актуализации для подлинного функционирования. Соответственно и содержание языковых знаков в тексте и речи различно. В тексте снимается полисемия знака, характерная для языка, знак становится однозначным. Но лишь в речи в эту однозначность вдыхается жизнь, речевое содержание «расплывается в глубинах индивидуального бытия, общественного сознания и неповторимости данной ситуации. На уровне речи значение есть внеязыковое и внелингвистическое явление» [18].

Наиболее распространенным названием значения подобного рода является смысл, реже — подтекст [19]. Так, В. Скаличка переходит от термина подтекст к термину смысл. Неудобство первого термина (т. е. «подтекста») для обозначения речевого значения объясняется традиционным пониманием в филологии подтекста как второго, параллельного смысла [20]. Между тем смысл, или подтекст, как реальное содержание высказывания в речи — это не нечто вторичное, это — сущность и цель высказывания в действительной речи.

Что же такое смысл? Из чего он составляется? Дать дефиницию смысла чрезвычайно трудно, ибо смысл — явление многомерное, многоаспектное, явление и коммуникативного, и прагматического, и психического планов [21]. В. Скаличка, мы как знаем, определил смысл как

---

[14] Там же, стр. 45.

[15] Там же, стр. 23.

[16] Ср., например, позицию Н. Г. Комлева, который, различая лексические понятия «денотат» и «смысл» и употребляя термин «актуализация смысла», понимает под последним опять-таки процесс моносемантизации на уровне текста (см.: Н. Г. Комлев, Компоненты содержательной структуры слова, М., 1969, стр. 100).

[17] Ср., например, правильное, на мой взгляд, суждение А. Макинтоша, различающего «контекстное значение» и «актуальное значение». Первое «не связано с отдельным конкретным событием; иногда оно относится к пучку или „семье“ событий, которые по той или иной причине исследователь принимает за тождество на определенном уровне абстракции... Актуальное же значение зависит от актуального контекста, понимаемого так широко, как заставляют обстоятельства» (см.: A. McIntosh, «Graphology» and meaning, «Archivum linguisticum», 13, 2, 1961, стр. 114).

[18] Ю. С. Степанов. К общей лингвистической теории значения, сб. «Проблемы значения в лингвистике и логике», М., 1963, стр. 12.

[19] Ср. высказывание психолога: «Живая фраза, сказанная живым человеком, всегда имеет свой подтекст, скрывающуюся за ней мысль» (см.: Л. С. Выготский, Избранные психологические исследования, М., 1956, стр. 378).

[20] Ср.: «Подтекст в своей основе строится именно на дополнительных, контекстуальных смыслах слов...» (см.: Т. И. Сильман, Подтекст как лингвистическое явление, ФН, 1969, 1, стр. 85).

[21] В литературе имеется и совершенно иное понимание термина смысл (нем. Sinn), восходящее к Г. Фреге (см.: G. Frege, Über Sinn und Bedeutung, «Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik», 100, 1892), согласно которому смысл — это способ обозначения предмета, например, *победитель в битве под Аустерлицем* и *по-*

продукт текста плюс ситуации. А. Гардинер, последовательно различая значение и подразумеваемое (thing-meant), считал, что «подразумеваемое в каждом высказывании — это то, что должно быть понято слушающим согласно намерению говорящего» [22]. Г. Глинц высказывается следующим образом: «Под смыслом (das Gemeinte) мы понимаем „первичный аспект" или „деятельный аспект" («Wirk-aspekt») языкового целого в его направленности („нацеленности") на надъязыковые или заязыковые, непосредственно переживаемые процессы, связи и т. п.» [23]. В. Матезиус полагает, что «четыре момента — вещественное содержание и ситуационная перспектива, отношение говорящего к конкретной действительности и его отношение к слушателю — создают прежде всего смысловую сторону высказывания» [24].

Обобщая различные мнения о сущности смысла, следовало бы, на мой взгляд, отметить следующие его составные части, постулируемые Х. Валполом, правда, под названием «языковых функций», это — 1) содержание (sense), 2) эмоция (feeling), 3) модальность (note) и 4) интенция [25]. Содержание слова в речи отличается от значения слова в тексте своей конкретностью, актуальностью, «вещностью». Поскольку содержание в речи всегда сопровождается эмоциональной и модальной окраской, то эти черты смысла можно включить в состав содержания слова (высказывания) и заключить, что смысл состоит из содержания и интенции. Правда, последнее понятие тоже не однопланово. В интенцию входит фактически не только цель, намерение высказывания, но и мотив (и следовательно, термин интенция, что означает намерение, следовало бы заменить другим, более общим термином [26]), иначе говоря, «...сознательный смысл выражает отношение мотива к цели» [27]. Мотив, причина нашего высказывания — это ретроспектива содержания, цель — перспектива содержания [28]. Итак, смысл слова (высказы-

бежденный в битве при Ватерлоо — это два различных смысла [см. интерпретацию теории Г. Фреге: Б. В. Бирюков, Теория смысла Готлоба Фреге, сб. «Применение логики в науке и технике», М., 1962; З. М. Мурыгина, К вопросу об исследовании устной речи (некоторые замечания о теории смысла Готлоба Фреге), сб. «Теоретические проблемы прикладной лингвистики», М., 1965; Н. И. Жинкин, Четыре коммуникативных системы и четыре языка, там же]. Любопытно, что имеется и противоположная концепция смысла как того общего, «что имеется у всех различных высказываний, признаваемых и используемых носителями языка в качестве равнозначных, или, короче, смысл есть инвариант синонимических преобразований» (см.: А. К. Жолковский, И. А. Мельчук, К построению действующей модели языка «смысл ↔ текст», «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 11, М., 1969, стр. 7). Понятно, что ни то, ни другое толкование смысла не имеют отношения к развиваемому здесь содержанию термина.

[22] A. Gardiner, The theory of speech and language, Oxford, 1932, стр. 82.

[23] H. Glinz, Ansätze zu einer Sprachtheorie, Beihefte zum «Wirkenden Wort», 2, 1962, стр. 40.

[24] В. Матезиус, Язык и стиль, сб. «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 446.

[25] H. R. Walpole, Semantics. The nature of words and their meanings, New York, 1941, стр. 50 и сл.

[26] Так, И. А. Зимняя предлагает обобщающий термин побуждение, включающий в себя мотив, внешний раздражитель и интенцию (см.: И. А. Зимняя, Речевой механизм в сфере порождения речи, сб. «Психологические и психолингвистические проблемы владения и овладения языком», М., 1969, стр. 8).

[27] А. Н. Леонтьев, Проблемы развития психики, М., 1965, стр. 290. Ср. также: «Все, что мы говорим в обыденной жизни, мы говорим почему-то (мотив) и зачем-то (цель). В сущности при данных мотиве, цели и обстоятельствах деятельности мы не можем не сказать сказанного» (см.: А. А. Леонтьев, О речевой ситуации и принципе речевых действий, «Русский язык за рубежом», 1968, 2, стр. 20).

[28] Ср. несколько иначе: G. W. Cunningham, Perspective and context in the meaning-situation, Berkeley, 1935, стр. 29—52. По мнению автора, в частности, содержание, будучи данным, относится к контексту, будучи интерпретируемым, относится к перспективе (стр. 47).

вания) — это содержание (включающее эмоциональную и модальную оценку), ориентированное ретроспективно и перспективно. По этой причине любое действительное высказывание, даже такое, как $2 \times 2 = 4$, не приобретая в плане содержания, может быть, никакой большей конкретности, чем оно имело в тексте, тем не менее получает смысл, будучи сказанным с определенной интенцией. Возвращаясь к дефиниции смысла В. Скаличкой, констатируем, что ситуация как часть смысла осталась у нас пока без внимания.

Итак, значение на уровне текста актуализируется в смысл на уровне речи. Однако посредством чего банальные значения приобретают уникальный смысл? Как разрешается это противоречие, которое Т. Слама-Казаку называет «языковой „драмой", состоящей в трудности выразиться совершенным образом с помощью знаков — без которых невозможно обойтись — и быть тем не менее понятым, т. е. трудности соединения выражения и понимания» [29].

Ответ тут может быть только один — посредством контекста, или ситуации, или ситуационного контекста. Что же такое контекст (ситуация)? В рамках данной статьи неуместно анализировать в подробностях все контроверзы понимания контекста, но без сжатого обзора не обойтись, хотя понятийные нюансы, скрывающиеся за тождественной терминологией, несомненно, теряются.

Хрестоматийное различение вербального и ситуативного контекста скользит по поверхности, ибо в обоих случаях имеется в виду, как правило, способ снятия полисемии слова. Демаркационная же линия должна пролегать между контекстом, осуществляющим моносемантизацию слова на уровне текста, и контекстом, обеспечивающим трансформацию значения в смысл на уровне речи. Правда, словесное окружение связано обычно лишь с моносемантизацией слова, а ситуация — с выражением (и пониманием) смысла, но возможно и противоположное соотношение: вербальный контекст достаточной длины сигнализирует о смысле [30]; с другой стороны, даже отдельное слово, услышанное со стороны, понимается однозначно, благодаря ситуации, не достигая, однако, уровня смысла, например, *Окно...*, произнесенное кем-то, рассматривающим учебное расписание. Так или иначе, для снятия полисемии достаточно минимального контекста, как правило, сочетания слов — обычно в рамках предложения [31], хотя в некоторых случаях эта функция осуществляется словесным окружением, выходящим за пределы предложения, в котором находится данное слово, в связи с чем различается контекст «1-й степени» и контекст «2-й степени» [32], «микроконтекст» и «макроконтекст» [33], «атомарный» и «молекулярный» контексты [34] и даже — минимальный, развернутый, максимальный контексты и сверхконтекст [35].

Чтобы избежать терминологической путаницы, некоторые лингвисты предлагают назвать (вербальный) контекст, функцией которого является

---

[29] T. Slama-Cazacu, Langage et contexte, 's-Gravenhage, 1961, стр. 150.

[30] Ср.: «Она (речевая ситуация — *В. М.*) существует не только в такой непосредственно данной форме, но и в форме опосредствованной, т. е. в виде описания обстановки, рассказа о ней,— иначе говоря, в виде языкового изложения» (см.: Н. Н. Амосова, Слово и контекст, «Уч. зап. ЛГУ», 243. Серия филол. наук, 42, 1958, стр. 7).

[31] См.: И. С. Куликова, Сочетание слов как минимальный контекст лексического значения слова, сб. «Языковые единицы и контекст», Л., 1973, стр. 33—47.

[32] Н. Н. Амосова, указ. соч., стр. 13—14.

[33] Г. В. Колшанский, О природе контекста, ВЯ, 1959, 4, стр. 47.

[34] Г. А. Брутян, О природе и значении контекста, «Изв. АН АрмССР», Общественные науки, 1961, 5, стр. 52.

[35] С. Ш. Чагдуров, О выразительности слова в художественной прозе, Улан-Удэ, 1959, стр. 42 и сл.

только моносемантизация слова, к о - т е к с т о м [36], оставив за первым термином функцию актуализации значения в речи. В дальнейшем будем понимать под контекстом любые способы формирования смысла — вербальные или невербальные, не обращаясь более к ко-тексту — средству моносемантизации слова.

Что же составляет контекст? Чтобы возможно компактнее изложить мнения по этому вопросу, примем за точку отсчета концепцию Т. Слама-Казаку, концепцию, как мне представляется, наиболее правильную и убедительную. Она пишет: «Практически существует единственный реальный контекст: это — глобальная ситуация, которая обнимает не только все языковые средства, но также и все главные корреляты ситуации. Контекст формируется всеми средствами — языковыми и внеязыковыми — выражения (словами, жестами и т. д.) плюс всей ситуацией, которая окружает слово и определяет смысл» [37]. Это общее определение контекста. Однако при необходимости детализации состава контекста, абстрагируясь от момента коммуникации, можно наметить, по мнению Т. Слама-Казаку, следующую градацию контекста по степени все большего ограничения: 1) глобальный контекст (le contexte total); 2) эксплицитный контекст (включающий как слова, так и жесты, мимику, интонацию и т. п.); 3) вербальный контекст (т. е. текст устный или письменный) [38]. С позиции слушателя сюда прибавляется еще имплицитный контекст, содержащий все, что слушатель знает о говорящем [39]. Правда, Т. Слама-Казаку отмечает, что и говорящий приспосабливается в своей речи к слушателю, например, «говорящий, адресуясь к друзьям, часто допускает эллипсис, так как друзья могут легче понять то, на что он намекает» [40].

Таким образом, исходными для обсуждения можно назвать следующие составные глобального контекста: 1) ситуативный контекст; 2) эксплицитный вербальный контекст; 3) эксплицитный невербальный (иначе — параязыковой) контекст; 4) имплицитный контекст.

С и т у а т и в н ы й к о н т е к с т (иначе — ситуация, физический, экстенсиональный контекст) включает в себя релевантные содержанию речи объекты физического окружения (в том числе говорящих) в их временной и локальной соотнесенности к речи [41]. Обычно в качестве примеров указывают на слова местоименно-наречного типа (*я*, *ты*, *здесь*, *там*, *завтра* и т. п.), смысл которых определяется только ситуативным контекстом. Однако роль ситуативного контекста важна или может быть важна для любых слов (любого высказывания), ограничивая объем их содержания. Дальнейшее различение 1) непосредственного, 2) смещенного (когда не видно объекта) и 3) переносного контекста [42] не имеет принципиального значения. А. Гардинер выделяет 1) наличную ситуацию, 2) ситуацию общего знания (situation of common knowledge) и 3) воображаемую ситуа-

---

[36] Ср.: «Под к о н т е к с т о м мы понимаем „контекст ситуации“, т. е. те элементы внетекстовой ситуации, которые соотносятся с текстом, будучи лингвистически релевантными. Под к о - т е к с т о м мы понимаем слова в т е к с т е, которые сопровождают искомое слово...» (см.: J. C. C a t f o r d, A linguistic theory of translation, London, 1965, стр. 31, примеч. 2). См. также: R. M. W. D i x o n, On formal and contextual meaning, AL, XIV, 1—2, 1964, стр. 25; J. S. P e t ö f i, Transformationsgrammatiken und eine ko-textuelle Texttheorie. Grundfragen und Konzeptionen, Frankfurt-am-Main, 1971, стр. 224.

[37] T. S l a m a - C a z a c u, указ. соч., стр. 216.

[38] Там же, стр. 215—216.

[39] Там же, стр. 212—213.

[40] Там же, стр. 191.

[41] См. также: В. Г. Г а к, Высказывание и ситуация, «Проблемы структурной лингвистики. 1972», М., 1973.

[42] См.: E. N i d a, A system for the description of semantic elements, «Word», 7, 1, 1951, стр. 5.

цию [43], причем выделение ситуации «общего знания» представляется мне существенным.

Это, скорее, то, что Б. Малиновский называл «cultural background», или теперь называется также контекстом культуры, понимаемым как «опыт всего языкового коллектива, основывающийся на совместной общественной жизни и общности культуры» [44]. К контексту культуры следует, видимо, в первую очередь отнести знание реалий из самых разных областей жизни, истории, культуры народа (народов), в том числе традиционных и нетрадиционных переносных значений имен собственных, знание, обеспечивающее правильное понимание смысла употребленных в речи реалий.

Если контекст культуры предполагает знание реалий, общих всему языковому коллективу (в некоторой части общих всем людям земли), то психологический контекст [45] (в терминологии Т. Слама-Казаку — имплицитный контекст) — это взаимное знание реалий, связанных с каждым из собеседников, знание, основанное на совместном прошлом опыте. Едва ли приемлемо понимание Х. Валполом психологического контекста как «точки зрения, манеры мышления, что по-немецки называется Weltanschauung» [46], такого рода контекст действителен только для мышления, но не для речи, предполагающей слушателя. Психологический контекст — это знание не о себе, а о собеседнике.

К. Аммер дополняет языковой контекст, контекст культуры и контекст ситуации новым понятием — эмоциональным контекстом, определяя его как «общее настроение говорящего», «эмоциональную позицию» [47], благодаря чему часто обеспечивается правильное понимание высказывания. Видимо, это не вполне верно, ибо эмоциональная оценка (коннотация) — не средство (а контекст — это средство выражения смысла), а результат и как таковой входит в состав смысла высказывания. Другое дело, что эмоциональный подтекст выражается часто не вербально, а особым образом: некодифицированной фонацией, мимикой, жестикуляцией, телодвижениями, т. е. тем, что сейчас называется паралингвистическими (или параязыковыми) средствами [48]. Т. Слама-Казаку называет этот тип контекста эксплицитным невербальным. Иначе его можно назвать параязыковым контекстом. Следует также иметь в виду, что данный контекст может выражать не только эмоциональный аспект смысла, но и содержательный, модальный и интенционный аспекты.

Наконец, в ряде работ (лингвистов преимущественно лондонской школы [49]) предлагается особый вид контекста, который можно условно назвать тематическим контекстом. Дж. Фёрс, например, исходил из мысли, что «разговор гораздо больше похож на заранее (в общих чертах) заданный ритуал, чем многие думают. Когда кто-то говорит с вами, вы находитесь в относительно определенном контексте и не

---

[43] A. Gardiner, указ. соч., стр. 51.

[44] Th. Schippan, K.-E. Sommerfeldt, Wort und Kontext, «Zeitschr. für Phonetik, Sprachwiss. und Kommunikationsforsch.», 19, 6, 1966, стр. 552.

[45] Ср. различение «внешнего контекста» и «психологического контекста»: C. K. Ogden, I. A. Richards, The meaning of meaning, London, 1936, стр. 56.

[46] H. R. Walpole, указ. соч., стр. 114.

[47] K. Ammer, Einführung in die Sprachwissenschaft, 1, Halle(Saale), 1958, стр. 68.

[48] Ср. различение кодифицированной и некодифицированной фонации Л. П. Якубинским: Л. П. Якубинский, О диалогической речи, сб. «Русская речь», под ред. Л. В. Щербы, 1, Пг., 1923, стр. 125.

[49] См.: Л. А. Никольская, О теории контекста в работах современных лингвистов лондонской школы, сб. «Вопросы филологии», ч. 1, Л., 1970.

можете просто говорить все, что хотите»[50]. В связи с этим он пытался классифицировать ситуации (обращение, приветствие, прощание и т. п.) и типы языковой функции (язык согласия, одобрения, подтверждения и т. п.). Понятно, что определенная тематическая сфера речи, форма речи, стиль речи — все это способствует моносемантизации слова (скажем *чистильщик* в отчете горкомхоза и *чистильщик* в отчете о футбольном матче), но едва ли актуализации значения. Роль такого рода контекста не очень велика и потому, что действительная речь (а не речь в рамках «темы» при обучении иностранному языку) большей частью вовсе не так стереотипна, как это считается.

Итак, трансформация значения (как значимой единицы текста) в смысл (значимую единицу речи) совершается посредством глобального контекста, внутри которого различаются: 1) вербальный контекст; 2) контекст ситуации; 3) параязыковой контекст; 4) контекст культуры и 5) психологический контекст.

Подведем итоги. Текст и речь — это различные явления. Текст — это абстрагированная речь, речь — это овеществленный текст. Соответственно различаются — моносемия (уровень текста) и смысл (уровень речи). Актуализация — это трансформация текста (и значения) в речь (и смысл). Актуализация осуществляется путем включения текста в контекст (ситуацию), в результате чего возникает смысл (или подтекст) слова (высказывания). Смысл — это содержание плюс интенция. Контекст — средство генерации смысла.

Таким образом, мы вслед за В. Скаличкой mutatis mutandis резюмируем: **речь держится на трех столпах, это — текст, ситуация и смысл, или — если угодно — текст, контекст и подтекст.**

---

[50] Дж. Фёрс, Техника семантики, сб. «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 90—91. Впрочем у Дж. Фёрса было несколько вариантов толкования контекста, по одному из которых отмечаются следующие типы контекста: а) словесный контекст; б) контекст опыта индивида; в) контекст ситуации; г) контекст культуры (см.: J. R. Firth, The use and distribution of certain English sounds,«Papers in linguistics», London, 1958, стр. 36).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1976

К. И. ЛОГАЧЕВ

О ЯЗЫКЕ И ТЕКСТЕ ОРИГИНАЛОВ ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯНСКИХ ПЕРЕВОДОВ

Значение древнейших славянских переводов кирилло-мефодиевской эпохи определяется не только тем, что они представляют собой основные источники при исследовании старославянского языка, но и тем, что они являются и первоклассными материалами для изучения древней переводческой техники, и (вместе со своими последующими переработками) эталонами общеславянского письменного языка на протяжении многих веков.

Естественно, что эти переводы постоянно привлекали и привлекают внимание исследователей.

Представляется, что успешное всестороннее изучение древнейших славянских переводов неотделимо от ясного понимания характера языка и текста их греческих оригиналов.

Данная небольшая статья не может, разумеется, претендовать на то, чтобы рассматриваться как исчерпывающее исследование. Ее задача заключается лишь в том, чтобы дать общую лингвистическую и текстологическую характеристику этих оригиналов.

Оригиналами самых первых славянских переводов (самых первых текстов, а не самых ранних сохранившихся рукописей) были, как известно, греческие книги, употреблявшиеся в середине IX в. при богослужении. Книги эти представляли собой сборники расположенных по особой системе и снабженных богослужебными указаниями отрывков из произведений, обычно ассоциируемых каждое с тем или иным из двух больших составленных ранее греческих сборников. Один из этих сборников, сформировавшийся к I в. н. э., известен под названием Септуагинты, другой, сформировавшийся ко второй половине IV в., — под названием Нового Завета. Богослужебные книги, составленные из отрывков, ассоциируемых в большинстве своем с Септуагинтой, или представляющие собой по существу части Септуагинты, носили название профитологиев и псалтырей. Богослужебные же книги, составленные из отрывков, ассоциируемых с Новым Заветом, носили название евангелий и апостолов (праксапостолов). При создании последующих славянских переводов кирилло-мефодиевской эпохи (отношение которых к самым первым переводам окончательно еще не выяснено) в качестве оригиналов выступали небогослужебные греческие книги, содержащие те или иные части Септуагинты и Нового Завета.

Произведения, вошедшие в состав Септуагинты — это в большинстве своем греческие переводы древнееврейских и арамейских оригиналов. Лишь немногие из вошедших в Септуагинту произведений были сразу созданы на греческом языке. Период, в который создавались переводы и оригинальные произведения, составляющие в совокупности Септуагинту, охватывает III в. до н. э. — I в. н. э. Период же, когда создавались те

древнееврейские и арамейские оригиналы, греческие переводы которых вошли в Септуагинту, начинается в середине XII в. до н. э. и завершается в конце II в. н. э. Язык большей части Септуагинты — это общегреческое койне эллинистического периода, но с той обязательной оговоркой, что это не просто греческий язык, а язык греческого перевода с семитского оригинала.

Все произведения, вошедшие в состав Нового Завета, были созданы на греческом языке. Они создавались в I в. н. э. и представляют собой часть обширной раннехристианской литературы. Язык Нового Завета (если оставить в стороне имеющиеся в Новом Завете многочисленные цитаты из Септуагинты) — это частично язык перевода арамейской устной традиции на общегреческое койне эллинистического периода, частично общегреческое койне эллинистического периода, выступающее как второй язык лиц, первым языком для которых был арамейский.

Все эти факты необходимо учитывать лингвисту, обращающемуся к греческим оригиналам древнейших славянских переводов. Одной из причин такой необходимости является то, что для древних переводчиков (в данном случае и для переводчиков с семитских оригиналов на греческий, и для переводчиков с греческих переводов на старославянский) интерференция многих языковых особенностей переводимого текста в перевод — явление совершенно обычное. В данном случае интерференция, естественно, возрастала, поскольку часто речь шла о переводе литургически употребляемого оригинала для литургического же употребления, а в этом случае буквализм, как правило, считается достоинством и даже идеалом. Кроме того, нужно помнить, что обычное явление представляет собой у любого билингва интерференция особенностей его первого, родного, языка в его второй язык. Такими билингвами были авторы большинства произведений, вошедших в Новый Завет. Уместным кажется в этой связи указать, что одной из самых серьезных проблем для лингвистов при создании современных научных переводов Нового Завета является проблема «дезарамеизации» и «дегрецизации» перевода.

Грецизмы древнейших славянских переводов хорошо известны славистам. В качестве явлений старославянского перевода, дублирующих арамеизмы греческого оригинала, можно указать, например, на конструкции *отъвѣщашѧ ...и рекошѧ* (Остр л. 9), *отъвѣща... и рече* (там же, л. 30), *отъвѣщавъ... рече* (там же, л. 73), *възъпи глѫщи* (там же, л. 115), *емоужє нѣсмъ достоинъ отрѣшити ремене сапогъ его* (Мар л. 84 об.), *бысть же въ единъ отъ дънеи. і тъ вълѣзе въ корабъ* (там же, л. 96), *бѣ оучѧ* (там же, л. 121 об.), на фразеологизм *тъ оутеръди лице свое въ имъ ити* (там же, л. 100 об.), на употребление *сѣмѧ* в значении «потомки» (Остр л. 29) и т. д. и т. п. [1].

Слависты при изучении древнейших славянских переводов, на наш взгляд, слишком редко обращаются к греческим рукописным книгам, которые по содержанию и времени употребления могут считаться относящимися к типу книг, переведенных на старославянский язык. Как правило, слависты используют печатные издания Септуагинты и греческого Нового Завета, обычно не интересуясь при этом, какой характер носит используемое ими издание.

Такой подход к уяснению соотношений древнейших славянских переводов с их греческими оригиналами вряд ли можно считать правильным. Дело в том, что, например, текст каждого из произведений, вошед-

[1] Здесь и ниже цитаты из древнеславянских рукописей приводятся по изд.: «Остромирово евангелие 1056—1057 г.», 2-е фотолитограф. изд., СПб., 1889 и И. В. Ягич, Маринское четвероевангелие с примечаниями и приложениями, СПб., 1883.

ших в Новый Завет, претерпевал те или иные изменения еще во время своего самостоятельного существования, т. е. до вхождения в этот сборник. Изменения претерпевал их текст и после того, как сформировался весь этот сборник целиком, вплоть до того времени, когда на его основе были созданы евангелия и апостолы. Наконец, изменения претерпевал и текст двух последних категорий рукописных книг. Поэтому изучающий, например, самые первые славянские переводы может, естественно, полноценно пользоваться лишь такими изданиями, где либо в основных частях, либо в критических аппаратах систематически отражен тот тип рукописей, к которому относились оригиналы, первыми переведенные на старославянский язык, т. е. лежавшие перед первыми славянскими переводчиками профитологии, псалтыри, евангелия и апостолы. Однако подобных изданий до сих пор нет. Нет до сих пор и изданий, систематически отражающих тот тип рукописей, к которому относились оригиналы последующих славянских переводов кирилло-мефодиевской эпохи. Причина заключается в особенностях истории печатных изданий Септуагинты и греческого Нового Завета. Знакомство с ними, особенно с основными моментами истории печатных изданий греческого Нового Завета представит, на наш взгляд, для славистов определенный интерес [2].

Когда в Европе в XVI в. впервые приступили к печатанию этого сборника, издатели использовали в основном поздние греческие рукописи, которые не были ни евангелиями, ни апостолами. Созданный на основании таких рукописей тип печатного издания греческого Нового Завета получил название «Текстус Рецептус» и многократно воспроизводился в изданиях XVI—XIX вв. Ни научным изданием рукописного материала, ни научной реконструкцией какого-либо типа рукописного текста он считаться не может.

В XIX в. в Европе начали появляться печатные издания греческого Нового Завета, носящие иной характер. В этих изданиях в основных частях предлагались результаты попыток реконструировать наивозможно древнейшее состояние всего сборника целиком (либо даже наивозможно древнейшее состояние каждого из составляющих сборник произведений, еще до вхождения в данный сборник). В критических аппаратах давались точные ссылки на использованные при подготовке изданий рукописи. Такие издания с конца XIX в. полностью заменили «Текстус Рецептус» в качестве единственного источника при научных исследованиях.

В настоящее время текстологи осознают, что существует некий предел реконструкции, дальше которого идти в попытках приближения к оригиналам произведений, вошедших в данный сборник, пока невозможно. Таким пределом являются древние «местные типы» этого сборника: александрийский (ранее называвшийся нейтральным), западный, кесарийский и византийский (ранее называвшийся сирийским, койне, церковным, антиохийским) [3]. Поскольку наиболее близким к типу оригиналов произведений, вошедших в сборник, о котором идет речь, считается александрийский тип, именно ту или иную реконструкцию последнего дают в качестве основных частей все без исключения новейшие научные издания греческого Нового Завета.

Ни издания «Текстуса Рецептуса», ни издания александрийского типа не могут считаться изданиями оригиналов древнейших славянских переводов.

Прежде всего, как указывали текстологи, тип текста этих переводов (взятых в целом, без разделения на самые первые и последующие) не ана-

---

[2] Более подробно об истории этих изданий см.: B. M. Metzger, The text of the New Testament, 2-nd ed., New York — Oxford, 1968, стр. 95 и сл.

[3] См.: B. M. Metzger, A textual commentary on the Greek New Testament, London — New York, 1971, стр. XVII и сл.

логичен ни александрийскому типу, ни «Текстусу Рецептусу» [4]. Действительно, если обратиться к древнейшим славянским рукописям, то нетрудно увидеть, что представляемый этими рукописями тип текста то отличается от александрийского типа, совпадая с «Текстусом Рецептусом» (Остр л. 139, Мар л. 155 об. *глѭще* — александрийский тип δόξαντες —«Текстус Рецептус» λέγοντες), то отличается от «Текстуса Рецептуса», совпадая с александрийским типом (Остр л. 266 об., Мар л. 8 об. *посълавъ оученикы своими* — александрийский тип πέμψας διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ — «Текстус Рецептус» πέμψας δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ), причем иногда это подтверждается лишь частью таких рукописей (ср. Остр л. 41 *оунѥ ѥсть вамъ* — александрийский тип συμφέρει ὑμῖν — «Текстус Рецептус» συμφέρει ἡμῖν — Мар л. 156 об. *оуне естъ намъ*), то, наконец, отличается и от александрийского типа, и от «Текстуса Рецептуса», причем такое отличие может заключаться даже в наличии/отсутствии целых фраз (Остр л. 190 об. *остани да видимъ аще придеть илиꙗ спс҃ть ѥго инъ же възъмъ копиѥ прободе ѥмоу ребра и изиде вода и кръвь иїс же пакы възъпивъ гласъмь великъмь*, Мар л. 41 об. *остани да видимъ. аще придетъ илиѣ спс҃ть его. дроугы же приемъ копие прободе емоу ребра. і изиде вода и кръвь. ї҃съ же възъпивъ гл҃смъ вълъемь* — александрийский тип и «Текстус Рецептус» —ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων αὐτόν. ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ). Помимо этого и издания александрийского типа, и издания «Текстуса Рецептуса» воспроизводят структуру греческих небогослужебных книг. Таким образом, если из числа древнейших славянских переводов последующие, совпадая с изданиями александрийского типа и «Текстуса Рецептуса» по типу книги, отличаются от них по типу текста, то самые первые славянские переводы отличаются от этих изданий и по типу книги, и по типу текста. А между тем изучение связи древнейших славянских переводов с их оригиналами вряд ли возможно без опоры на понятие типа «книга-текст» и без учета того обстоятельства, что эти переводы представляют два таких типа.

До сих пор не существует отвечающих современным требованиям изданий тех двух греческих типов «книга-текст», к которым относились переведенные первыми славянскими переводчиками греческие рукописи. Не существует и автономного издания такого греческого типа текста, к которому можно было бы отнести древнейшие славянские переводы, если рассматривать последние не с точки зрения типа «книга-текст», а только с точки зрения типа «текст». Греческим типом текста, издание которого могло бы удовлетворить слависта при последнем ограничении, мог бы быть византийский тип IX в. Но современные текстологи считают византийский тип самым поздним из всех типов и специально им не занимаются, так как основное внимание уделяют оригиналам произведений, вошедших в Новый Завет. Правда, в критических аппаратах новейших изданий александрийского типа дается много ссылок на рукописи, могущие считаться относящимися к тому типу, к которому относились рукописи, переведенные первыми славянскими переводчиками. Однако по этим ссылкам нельзя все же с надлежащей ясностью представить себе те греческие типы «книга-текст», которые должны интересовать слависта, т. к. ссылки даются не всюду, а лишь в тех местах, которые имеют, с точки зрения издателей, экзегетическую значимость.

Итак, славистам, изучающим древнейшие славянские переводы, приходится заниматься решением уравнения с двумя неизвестными, поскольку не уяснены ни греческие типы «книга-текст», с которыми имели дело первые славянские переводчики, ни основанные на результатах их дея-

[4] См.: «Evangelium Sv. Marka», vyd. J. Vajs, Praha, 1935, стр. VIII—XII.

тельности (на рукописях, вышедших непосредственно из-под их пера) славянские типы «книга-текст».

Слависты обычно пытаются заполнить этот пробел соотнесением данных древнейших славянских рукописей с отдельными ссылками в критических аппаратах научных изданий греческого Нового Завета. Но ведь понятие «оригинал» — это понятие «тип „книга-текст“», а отнюдь не понятие «рукописный вариант». Подобное соотнесение никогда не даст ответа на важнейший вопрос: является ли то или иное соответствие отдельной славянской рукописи и отдельной греческой рукописи результатом деятельности переводчика/корректора по греческим рукописям или же такое соответствие является результатом параллельного автономного развития греческого и славянского текстов (например, результатом параллельной гармонизации, параллельной конфляции и т. п.). Лишь работая со славянским и греческим типами «книга-текст», при четком отделении результатов параллельного автономного развития этих типов от результатов отражения последнего в первом, можно решать вопрос, чем были древнейшие славянские переводы как лингвистическое и культурно-историческое явление: были ли они результатами буквальной передачи чужеязычного оригинала на старославянский язык, или же они представляли собой результаты творческой работы с полным учетом особенностей старославянского языкового строя.

Важность работы с типом «книга-текст» при изучении древнейших славянских переводов не учли, как нам кажется, ни Г. А. Воскресенский (издававший рукописи, группируя их по редакциям этих переводов), ни Й. Вайс (издававший реконструкции этих переводов). Оба они оперировали лишь понятием «тип текста» и не использовали понятия «тип „книга-текст“». Подход Й. Вайса к проблеме реконструкции древнейших славянских переводов тем более непонятен, что после Г. А. Воскресенского И. Е. Евсеев и А. В. Михайлов доказали необходимость опоры в таких случаях именно на понятие «тип „книга-текст“».

И, наконец, последнее замечание. Обычно слависты при изучении древнейших славянских переводов (в частности, для уяснения текста в используемых научных изданиях греческого Нового Завета) обращаются к так называемому синодальному русскому переводу. Вряд ли это можно делать. Достаточно сослаться на оценку этого перевода, данную специально изучавшим его одним из крупнейших русских славистов И. Е. Евсеевым, который говорил, что русский перевод синодального издания «достаточен для элементарной потребности в назидательном чтении, но всякие более повышенные запросы им удовлетвориться не могут» [5].

---

[5] И. Е. Евсеев, Столетняя годовщина русского перевода Библии, Пг., 1916, стр. 34.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1976

З. Д. ПОПОВА

К ВОПРОСУ О ГРЕЧЕСКОМ ВЛИЯНИИ НА ПАДЕЖНУЮ И ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНУЮ СИСТЕМУ СТАРОСЛАВЯНСКОГО И ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКОВ

Создание древнеславянского письменного языка, традиционно именуемого старославянским, в процессе переводов с греческого общеизвестно. В связи с этим постановка проблемы о влиянии греческого языка на старославянский и через него на древнерусский закономерна. Этому вопросу посвящена значительная литература [1].

Исследователи рассматривают разные стороны воздействия греческого языка на старославянский — в области лексики, грамматики, фонемного состава [2]. Отмечается значительное число грецизмов и псевдогрецизмов (семитизмов), вошедших в славянские языки из греческого и при его посредстве. Обсуждаются границы влияния сложных предложений греческого языка на славянские структуры и обороты, греческой системы причастий на славянскую и т. п. Сделан ряд предположений о греческом влиянии на некоторые падежные и предложно-падежные формы старославянского и древнерусского языков [3].

В данной статье делается попытка обсудить эти предположения, учитывая внутренние тенденции славянской падежной и предложно-падежной диахронии. К формам, употребление которых считается обусловленным греческим влиянием, принято относить: вин. падеж при глаголах с отрицанием; им. падеж при отрицательном сказуемом; род. падеж при глаголах восприятия; *к* + дат. падеж при глаголах речи; *от* + род. падеж субъекта в страдательных конструкциях; родительный разделительный; род. падеж при сравнительной степени.

Рассмотрим место каждой из этих форм в системе старославянского и древнерусского языков.

---

[1] См., в частности, последние по времени исследования Е. М. Верещагина, внесшего существенный вклад в решение рассматриваемой проблемы: Е. М. Верещагин, Из истории возникновения первого литературного языка славян. Переводческая техника Кирилла и Мефодия, М., 1971 (ротапринт); его же, Из истории возникновения первого литературного языка славян. Варьирование средств выражения в переводческой технике Кирилла и Мефодия, М., 1972 (ротапринт).

[2] Н. А. Мещерский, Значение древнеславянских переводов для восстановления их архетипов (Доклад на IV Международном съезде славистов), М., 1958; H. Birnbaum, Zur Aussonderung der syntaktischen Gräzismen im Altkirchenslavischen. Einige methodische Bemerkungen, «Scando-Slavica», IV, 1958; H. Bräuer, Zur Frage der altrussischen Übersetzungsliteratur, ZfslPh, 27, 2, 1959; R. Růžička, Das syntaktische System der altslavischen Partizipien und sein Verhältnis zum Griechischen, Berlin, 1963; Г. Бирнбаум, Общеславянское наследие и иноязычные образцы в структурных разновидностях старославянского предложения, «American contributions to the VI international congress of Slavists», I, The Hague, 1968; К. Йордаль, Греческие заимствования в русском языке, «Scando-Slavica», XIV, 1968; J. Kurz, Kapitoly ze syntaxe a morfologie staroslověnského jazyka, Praha, 1972, стр. 70—79.

[3] К. Йордаль, Греко-русские синтаксические связи, «Scando-Slavica», XIX, 1973, стр. 148; Н. А. Мещерский, О синтаксисе древних славяно-русских переводных произведений, сб. «Теория и критика перевода», Л., 1962, стр. 96.

Вин. падеж при отрицании необычен, поскольку древнейшей общеславянской формой объекта в отрицательном предложении является род. падеж, проблематике употребления которого посвящена обширная синтаксическая литература [4]. В исторический период семантическая связь род. падежа при отрицании с каким-либо семантическим значением род. падежа отсутствует; он является собственно грамматической формой.

В старославянских текстах содержится несколько примеров с вин. падежом при отрицании. Р. Вечерка дает тщательное объяснение всех известных примеров и приходит к выводу, что все они позиционно обусловлены, вызваны аналогиями разного характера и лишь единицы из них могут быть объяснены исключительно поддержкой греческого оригинала.

В древних западнославянских и в древнерусском языках вин. падеж при отрицании практически отсутствует, что, по мнению Р. Вечерки, позволяет думать о более раннем процессе стирания различий между падежными формами, в частности вин. и род. падежей, в южнославянских языках. В них раньше началось развитие категории одушевленности, ведущее к совпадению форм род. и вин. падежей в ряде позиций; отсюда и раннее проникновение вин. падежа в конструкции с отрицанием. Исследование Р. Вечерки прежде всего раскрывает внутренние процессы в падежной системе древнеболгарского языка, которые лишь частично отразились в старославянских текстах [5].

В древнерусских текстах примеры с формами вин. падежа при отрицании не обнаруживаются. Только в текстах XVII в. в период, когда в русском языке стала складываться категория одушевленности, появляется позиционно обусловленное употребление вин. падежа при отрицании. Оно вызывается препозицией формы объекта (*в дождь избу не кроют*, Пословицы XVII в., 433) [6], необходимостью различить морфологическую

[4] См. об этом: А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, М., 1958, стр. 319—321; J. Bystroń, O uzyciu genetivu w języku polskim, Kraków, 1893, стр. 430; А. И. Томсон, К вопросу о возникновении род.-вин. п. в слав. языках. Приглагольный род. п. в праслав. языке, ИОРЯС, 1908, XIII, кн. 3, стр. 297; Д. Н. Овсянико-Куликовский, Синтаксис русского языка, 2-е изд., СПб., 1912, стр. 246; Е. К. Тимченко, Функции генитива в южнорусской языковой области, РФВ, 70, 3, 1913, стр. 57—58; А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, Л., 1941, стр. 325; А. Мейе, Общеславянский язык, М., 1951, стр. 374; В. И. Борковский, П. С. Кузнецов, Историческая грамматика русского языка, М., 1963, стр. 430; J. Bauer, M. Grepl, Skladba spisovné češtiny, Praha, 1965, стр. 57; J. Kuryłowicz, Słowiański genetivus po negacji, «Międzynarodowa komisja budowy gramatycznej języków słowiańskich. Sesja naukowa. Kraków, 1969», Wrocław — Warszawa — Kraków, 1971, стр. 11—15.

[5] Р. Вечерка, Синтаксис беспредложного родительного падежа в старославянском языке, «Исследования по синтаксису старославянского языка. Сборник статей», Прага, 1963, стр. 205—209.

[6] В статье приняты следующие сокращения: Пословицы XVII в.— «Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII—XIX столетий». Собрал и подготовил к печати П. Симони, Сб. ОРЯС, 66, 7, СПб., 1899. Цифры в сокращении указывают порядковый номер пословицы; Лавр. лет.— Лаврентьевская летопись 1377 г., ПСРЛ, I, I. II Лаврентьевская и Троицкая летописи, СПб., 1846. Цифры указывают стр. издания; РИБ, VI — «Памятники древнерусского канонического права». Часть первая (памятники XI—XV в.), 2-е изд., «Русская историческая библиотека», VI, СПб., 1880. Цифры указывают номер документа и стр. издания; Изб. 1076 — «Изборник 1076 года», М., 1965. Цифры указывают лист оригинала; Сказ о Б. и Г.— Сказание о Борисе и Глебе в кн.: «Успенский сборник XII—XIII вв.», М., 1971. Цифры указывают лист оригинала; Берест. гр.— А. В. Арциховский и В. И. Борковский, Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1955), М., 1958. Цифры указывают номер грамоты; Новг. гр.— А. Шахматов, Исследования о языке новгородских грамот XIII и XIV века, СПб., 1886. Цифры указывают номер грамоты; Рус. Пр.— «Правда Русская». I — Тексты, М.— Л., 1940. Цифры указывают лист оригинала (Синодальной летописи, по Синодальному списку 1282 г.). Дух. дог. гр.— «Духовные и договорные грамоты князей великих и удельных», под ред. С. В. Бахрушина, М., 1909. Цифры указывают стр. издания.

форму числа (*не копай под другом яму*, Пословицы XVII в., 1836) и др. [7]. Вряд ли может быть принято всерьез утверждение о влиянии греческого синтаксиса в этот период на русский язык [8].

Постановка вин. падежа при отрицании становилась возможной по мере появления условий для совпадения форм вин. и род. падежей в утвердительных конструкциях славянских языков [9]. До этого славянские языки допускали лишь редкие, позиционно обусловленные случаи употребления вин. падежа при отрицании [10]. Условия для употребления этой формы в древнеболгарском языке сложились, очевидно, значительно раньше, чем в других славянских языках. Отсюда и предположение некоторых исследователей о греческой природе славянского винительного при отрицании.

Род. падеж субъекта обычен в отрицательном славянском предложении (*нѣстъ бо семоу отьца*), поэтому случаи употребления им. падежа обращают на себя внимание и объясняются влиянием греческого синтаксиса (*скрѣбь велиѣ ѣкаже не была*) [11]. В древнерусском языке так же, как и в старославянском, конструкции с род. и им. субъекта сосуществовали и были дублетными по значению: *якого же зла не было отъ крещенья² надъ Кыевомъ* (Лавр. лет., 176) — *якоже зло не было ни отъ крещенья* (Лавр. лет., 197); *а попа бы вдовца туто не было* (РИБ, VI, 33, 276) — *А третье бы поиманье не было* (РИБ, VI, 33, 273).

Постановка им. падежа наблюдается, как правило, в препозиции. Пишущий еще словно не знает, утвердительной или отрицательной будет конструкция. Конструкция с род. падежом неизменно преобладает [12]; так, в имеющихся у нас примерах, представляющих период с XI по XVII в., безличное предложение с род. падежом субъекта употребляется в 10 раз чаще, чем личное с им. падежом. Письменный характер предложения с им. падежом очевиден. Не отрицая возможного греческого воздействия на постановку им. падежа субъекта при отрицательных глаголах в процессе перевода, мы хотим, однако, подчеркнуть, что такая постановка не противоречила возможностям позиционного варьирования, объясняемого из условий славянской системы простого предложения. Просуществовав много веков в качестве дублетов, в современном русском языке рассматриваемые структуры переживают процесс семантического размежевания [13].

Формы род. и вин. падежей при глаголах восприятия, мыслительной и речевой деятельности возводятся к индоевропейской эпохе [14]. В старо-

---

[7] Подробнее об этом см.: З. Д. Попова, Система падежных и предложно-падежных форм в русском литературном языке XVII в. ДД, Воронеж, 1969, стр. 161—179.

[8] См.: К. Йордаль, Греко-русские синтаксические связи, стр. 148; A. Stender-Petersen, K. Jordal, Das griechisch-byzantinische Erbe im Russischen TCLC, XI, 1957; R. Večerka, Vliv řečtiny na staroslověnštinu, «Listy filologicke» 1971, 2, стр. 129.

[9] Обзор литературы и разных точек зрения по этому вопросу см.: Ст. Сятковски, Проблемът за генезиса на славянския родително-винителен падеж, «Език и литература», 1972, 2; В. И. Георгиев, Причините за възникването на родителен-винителен падеж в славянските езици, «Славистичен сборник», София, 1973.

[10] См.: K. Hausenblas, Vývoj předmětového genitivu v češtině, Praha, 1958; K. Feleszko, Składnia genetiwu i wyrażeń przyimkowych z genetiwen w języku serbske-chorwackim, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1970, стр. 61.

[11] Р. Вечерка, Синтаксис беспредложного родительного падежа в старославянском языке, стр. 201—202.

[12] В. И. Борковский, Изменения в структуре простого предложения в восточнославянских языках (XI—XVII вв.), «Славянское языкознание», М., 1968, стр. 40

[13] См.: «Изменения в системе простого и осложненного предложения в русском литературном языке XIX века», М., 1964, стр. 306—310.

[14] А. И. Томсон, указ. соч., стр. 297.

славянском языке при глаголах восприятия преобладает род. падеж, но возможен также и вин. (*видѣхъ дыма*, но *віждъ врагы моѩ*, *слоушаѩ и словесе моего*, но *оуслыші гласъ мої*) [15].

В древнерусском языке род. падеж более устойчив при глаголах *смотрити*, *слышати*, *слоушати*: *съмотри житиꙗ ѥго* (Изб. 1076, 15); *оуслыши гласа моѥго* (Сказ. о Б. и Г., 14в), но там же — *оуслыши гласъ мои*; *росмѣтрити сьла своѥгъ* (Берест. гр., 142); *книжнаго поученья слушайте* (Лавр. лет., 187).

При глаголах *видети*, *читати*, *очютити*, *обоняти* употребляется чаще вин. падеж. В целом же, в группе глаголов восприятия в древнерусский период вин. падеж преобладает. Подсчеты по нашим выборкам дают такие соотношения:

	Вин. падеж	Род. падеж
XI в.	42	8
XII в.	64	1
XIII в.	41	4
XIV в.	68	19
XV в.	194	9
XVI в.	69	13
XVII в.	160	19

В дальнейшем род. падеж при глаголах восприятия был вытеснен, последние примеры употребления его в русском литературном языке отмечаются в XIX в. [16]. Диалекты же сохраняют эту конструкцию до наших дней [17]. Род. падеж при глаголах восприятия известен всем славянским языкам, процесс его утраты протекал в них параллельно [18]. Процесс смены сочетаемости падежных форм при глаголах восприятия мы объясняем забвением мотивированности объектного значения род. падежа при постоянном упрочении объектного значения за формой вин. падежа. Индоевропейское прошлое, наличие этого процесса во всех славянских языках, сохранение род. падежа при глаголах восприятия в диалектах — все это свидетельствует в пользу славянского генезиса рассматриваемых фактов и позволяет обоснованно сомневаться в греческом происхождении род. падежа при глаголах восприятия [19].

Форму *к* + дат. падеж после глаголов речи, а также в значении цели действия (*и отвеща Есфирь къ Мардохаеви*; *и даша римляны души своя к смерти*) Н. А. Мещерский относит к числу фактов необычного предложного управления (под влиянием древнееврейского или арамейского) [20], но, между тем, ничего необычного в этом управлении не было. Конкурирование форм дат. падежа и *к* + дат. падеж началось в пространственных значениях (*ехати Новугороду — ехати к Новугороду*) и распространилось на все специализированные и переносные значения формы дат. падежа,

---

[15] См.: К. И. Ходова, Система падежей старославянского языка, М., 1963, стр. 60—61.

[16] См.: Л. А. Булаховский, Русский литературный язык первой половины XIX века, 2-е изд., М., 1954, стр. 344.

[17] См.: В. И. Собинникова, Простое предложение в русских народных говорах, Воронеж, 1961, стр. 150.

[18] K. Horálek, Úvod do studia slovanských jasyků, Praha, 1962, стр. 252; Д. Гортан-Премк, Акузативне синтагме без предлога у српскохрватском језику, Београд, 1971, стр. 171.

[19] О греческом влиянии на род. падеж см.: К. Йордаль, Греко-русские синтаксические связи, стр. 148.

[20] Н. А. Мещерский, О синтаксисе древних славяно-русских переводных произведений, стр. 96—97.

в том числе на значение «получателя речи» и «получателя результатов действия». Это управление отмечается в старославянских текстах [21].

На протяжении всей истории древнерусского языка форма *к* + дат. падеж при глаголах речи была обычной; она употреблялась в старорусском языке и только к концу XVII в. уступает свои позиции при глаголах речи [22], оставаясь еще на некоторое время при глаголе *писать* [23].

Процесс взаимодействия форм дат. падежа и *к* + дат. падеж при глаголах речи объясняется внутренними тенденциями славянской падежной системы, общим процессом изживания беспредложных форм в прямых пространственных значениях и закрепления их в более отвлеченных и грамматически закрепленных значениях [24]. Поэтому, на наш взгляд, нет необходимости искать источник сочетаемости формы *к* + дат. падеж с глаголами речи в иноязычных системах.

В старославянском языке наблюдаются две субъектные формы, участвующие в страдательных конструкциях. При страдательных причастиях настоящего времени употреблялся твор. падеж, несколько позднее он стал возможен при страдательных причастиях прошедшего времени. В конструкциях с возвратно-страдательными глаголами употреблялась субъектная форма *от* + род. падеж [25].

В древнерусском языке форма *от* + род. падеж употреблялась параллельно с формой твор. падежа во всех разновидностях страдательных конструкций. Особенно активна она была в старших текстах (XI—XII вв.), где ее можно обнаружить и в пассивных структурах: *великыимъ сьподобиль сѧ кси отъ ба* (Изб. 1076, 24 об.), *въ гнѣвъ въпадеши отъ кого любо* (Изб. 1076,32); *молитва ваша от бога оуслышана будеть* (РИБ, VI, 8, 116).

Преобладание формы *от* + род. падеж в субъектном значении характерно и для старорусского периода, и только с XVIII в. она стала активно вытесняться формой твор. падежа [26].

Широкое употребление формы *от* + род. падеж и ее постепенное вытеснение из субъектной позиции находится в теснейшей связи с историей этой формы в целом. Будучи древнейшей общеславянской формой со зна-

---

[21] К. И. Ходова, Система падежей старославянского языка, стр. 85—86; ее же, Падежи с предлогами в старославянском языке, М., 1971, стр. 166; Cz. Bartula, Związki czasownika z dopełnieniem w najstarszych zabytkach języka staro-cerkiewno-słowiańskego, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1964, стр. 55.

[22] В. Н. Перетрухин, Система беспредложного глагольного управления в языке русской сатирико-бытовой повести второй половины XVII в., «Уч. зап. Ишимск. пед. ин-та», II, Тюмень, 1958, стр. 248.

[23] В. В. Гаранина, Глагольное управление в русском литературном языке второй половины XVIII века. АКД, Полтава, 1965, стр. 6; К. С. Горбачевич, Писать кому (к кому), «Русская речь», 1973, 3, стр. 75.

[24] А. Б. Правдин, Из истории предложных сочетаний в русском языке (дательный падеж с предлогом *к*), «Уч. зап. Тартуск. гос. ун-та», 43, 1956, стр. 182; Р. Мразек, Дательный падеж в старославянском языке, «Исследования по синтаксису старославянского языка. Сборник статей», стр. 227.

[25] К. И. Ходова, Система падежей старославянского языка, стр. 33—36.

[26] Т. П. Ломтев, Очерки по историческому синтаксису русского языка, М., 1956, стр. 403—406; «Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Типы простого предложения», М., 1968, стр. 173—174; М. С. Панюшева, Функции предлога «от» с родительным падежом и синонимические замены этой конструкции в XV—XVII вв., сб. «Вопросы стилистики», М., 1966, стр. 140; М. И. Стрельцова, О выражении субъекта в пассивных возвратных конструкциях в истории русского языка, «XXIV Герценовские чтения. Филологические науки. Краткое содержание докладов 23.III — 23.IV 1971 г.», Л., 1971, стр. 36; Н. Э. Беркович, Страдательные конструкции в языке памятников XVIII в., «Вопросы теории и методики изучения русского языка», [Саратов], 1965, стр. 130; І. І. Слинько, Історія объєктних зворотів української мови, Чернівці, 1969, стр. 80—90.

чением исходного пункта, она постепенно ограничивалась новыми предложно-падежными формами: *из* + род. падеж, *с* + род. падеж и др. Сначала было ограничено употребление формы *от* + род. падеж в прямом пространственном значении, затем началось ее оттеснение и в некоторых переносных значениях. Процесс захватил и субъектные употребления формы *от* + род. падеж, тем более, что для них существовал закрепленный традицией дублет — форма твор. падежа. Кстати, все субъектные формы русского языка были беспредложными (им., дат., род. падежи). Дольше всего форма *от* + род. падеж удерживалась в книжном письменном языке, оставаясь некоторое время стилистическим вариантом.

Внутренняя славянская логика развития и вытеснения формы *от* + род. падеж субъектного значения исторически очевидна, поэтому нельзя согласиться с объяснением формы *от* + род. падеж субъектного значения греческим влиянием [27]. Это влияние могло содействовать задержке старой формы в письменном языке, некоторому стимулированию ее в языке первых переводов, хотя сама она была собственно славянской.

Греческое влияние усматривается и в построении некоторых словосочетаний, включающих падежные формы.

После слов, обозначающих количественные числительные, и некоторых местоимений в старославянских текстах конкурируют формы родительного беспредложного и *от* + род. падеж (*посъла дъва оученикъ, дъва отъ оученикъ*) [28]. То же обнаруживается и в древнерусском языке: *Цр҃кѣвь домашьнюѭ къжьдо насъ имѣи оумъ свои* (Изб. 1076, 71 об.); *ѥдиноу оть мьньшихъ полатъ* (Изб. 1076, 18); *что волостии всѣхъ новгородьскыхъ* (Новг. гр., I, 237); *что сѧ ѡстанеть коунъ* (Рус. Пр., 623); *възвратишася кождо ихъ всвояси* (Лавр. лет., 177); *едино же отъ нихъ скажемъ* (Лавр. лет., 176), *кто отъ сихъ пріемъ опитемью* (РИБ, VI, 33, 273); *буди чего забылъ написати своее купли и участка* (Дух. дог. гр., 16). Дублет с родительным беспредложным К. Йордаль считает обязанным греческому влиянию [29].

Изучив соотношение форм с род. падежом и *от* + род. падеж в старославянских текстах и их соответствия греческому оригиналу, Р. Вечерка отмечает, что греческие конструкции как с предлогом, так и без предлога могли быть переведены формой *от* + род. падеж, а беспредложные греческие словосочетания переводились только родительным беспредложным. Очевидно, что обе формы были свойственны языку древних славян, но форма с предлогом была уже более употребительна [30].

Древнерусские тексты представляют родительный разделительный прежде всего в деловых документах, что говорит о его принадлежности разговорной речи. О том же говорит сохранение этой формы в некоторых восточнославянских диалектах (*Як бы х т о т а к и х приіхав, щоб вылічив*; *У мене д и т и н е п л о х и х*) [31].

Появление предложной формы *от* + род. падеж на месте род. падежа после слов, обозначающих количественные числительные и некоторые местоименные слова, отражает общие славянские тенденции смены бес-

---

[27] К. Й о р д а л ь, Греко-русские синтаксические связи, стр. 150.

[28] Об употреблении этих форм см.: К. И. Х о д о в а, Система падежей старославянского языка, стр. 130—131.

[29] К. Й о р д а л ь, Греко-русские синтаксические связи, стр. 143.

[30] R. V e č e r k a, Vliv řečtiny na staroslověnštinu, стр. 142; J. B a u e r, Vliv řečtiny a latiny na vývoj syntaktické stavby slovanských jazyků, «Československé přednašky pro IV mezinarodní sjezd slavistů v Moskvě», Praha, 1958, стр. 76.

[31] Н. П. Ф е д о р е н к о, О некоторых особенностях беспредложных словосочетаний украинских говоров Кубани в условиях их взаимодействия с русским языком, «Единицы различных уровней в языке и речи», ч. 2, Краснодар, 1972 («Научн. труды Кубанского гос. ун-та»), стр. 89.

предложных форм предложными в пространственных значениях, значениях мысленного удаления (*бежать кого — от кого*). Родительный разделительный был старшей общеславянской формой, постепенно оттесняемой из данного словосочетания.

Форму *от* + род. падеж в разделительном значении Р. Вечерка считает собственно южнославянской, учитывая современные формы: русскую *из* + род. падеж и чешскую *z* + gen [32]. Однако конструкция *из* + род. падеж распространяется в старорусском языке только с XV в. В древнерусском языке форма *от* + род. падеж была основной.

Таким образом, распространение формы *от* + род. падеж на месте беспредложного род. падежа является собственно славянским процессом, протекавшим, как следует из исследований Р. Вечерки, автономно от греческого оригинала даже в переводных текстах.

Древнейшая общеславянская форма род. падежа при сравнительной степени логично возводится исследователями к аблативным значениям род. падежа [33]. Эта форма не имела конкурентов ни в старославянском, ни в древнерусском языках. Устойчиво употреблялась она на протяжении всей истории русского языка. Развитие конкурирующих форм в украинском и белорусском языках началось в период их самостоятельного существования [34]. Род. падеж при сравнительной степени был собственно славянской формой, поэтому возводить его к греческим оригиналам не видим никаких оснований [35].

Из изложенного, на наш взгляд, следует, что в области употребления падежных и предложно-падежных форм влияние греческих оригиналов остается незаметным. Славянское управление, как утверждает Е. М. Верещагин, оставалось сохранным [36]. Влияние греческого языка могло проявляться лишь в поддержке одной из конкурирующих собственно славянских форм, имеющих эквиваленты в греческом языке [37]. Эта поддержка имела успех лишь в том случае, когда поддерживаемая форма вытесняла свой дублет по логике развития славянской системы.

И хотя влияние греческого языка на становление славянского письменного языка было большим, его следует видеть не в отдельных элементах структуры языка, а в общем стимулирующем воздействии на выработку славянской системы, на ее продвижение в поисках новых формальных средств и отборе старых. Его следует видеть в том, что греческий язык византийского периода на первых этапах формирования славянских литературных языков служил эталоном языковой культуры, высокого стилистического уровня, на который ориентировались древнеславянские книжники, создавая свои литературные языки из собственных средств.

---

[32] Р. Вечерка, Синтаксис беспредложного родительного падежа в старославянском языке, стр. 190.

[33] В. А. Богородицкий, Общий курс русской грамматики (из университетских чтений), М.— Л., 1935, стр. 225; А. Мейе, Общеславянский язык, М.,1951, стр. 373; Р. Вечерка, Синтаксис беспредложного родительного..., стр. 216.

[34] Е. Ф. Карский, Белорусы, 2, вып. 2—3, М., 1956; И. С. Козырев, Из истории развития предлогов при форме сравнительной степени в белорусском и русском языках, ВЯ, 1972, 2.

[35] К. Йордаль, Греко-русские синтаксические связи, стр. 148.

[36] Е. М. Верещагин, Из истории возникновения первого литературного языка славян. Переводческая техника Кирилла и Мефодия, стр. 134.

[37] J. Bauer, указ. соч., стр. 79.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1976

Ю. И. ЧАЙКИНА

ИЗ ИСТОРИИ ДИАЛЕКТНЫХ ГРАНИЦ В СВЯЗИ С ЗАСЕЛЕНИЕМ СЕВЕРНОЙ РУСИ

В последние десятилетия заметен бурный рост русской диалектографии. Широкое распространение получают методы картографирования материалов современных народных говоров. Рассматривая территориальное размещение языковых особенностей современных диалектов, лингвисты делают выводы о географическом распространении языкового материала в прошлом. Однако все чаще проводится мысль о том, что создавать русскую историческую диалектологию на базе одних современных говоров невозможно.

В связи с этим внимание языковедов привлекают материалы памятников письменности, которые в большинстве своем используются как побочный источник для проверки или уточнения показаний, получаемых путем применения методов лингвистической географии к данным современных территориальных единиц [1]. В редких случаях письменные источники привлекаются к картографированию, а между тем «создание русской диалектографии, основанной на показаниях памятников,— задача вполне реальная» [2].

Ряд исследователей справедливо полагает, что проведение точных изоглосс по данным письменных источников весьма затруднительно. Возможность историко-ареального изучения языка определенного региона зависит в первую очередь от наличия достаточного количества документов, отражающих явления живой локальной речи разных синхронных срезов [3]. Однако даже при наличии значительного круга памятников одного синхронного среза ареалы тех или иных явлений очерчиваются на лингвистических картах иногда весьма приблизительно. Примерный характер ареалов объясняется тем, что сетка обследования на картах, составленных по материалам письменных источников (особенно ранних периодов), получается более разреженной в сравнении с картами этих же явлений, построенных по данным современных говоров. Обусловлено это тем, что крупные письменные центры (уездные города), в которых находились приказные, земские, губные избы, были удалены друг от друга иногда на значительные

[1] См.: A. Dauzat, La géographie linguistique, Paris, 1922; M. Bartoli, G. Vidossi, Lineamenti di linguistica spaziale, Milano, 1943; М. А. Бородина, Проблемы лингвистической географии (на материале диалектов французского языка), М.— Л., 1966, стр. 150—159; В. Я. Дерягин, Из истории лексических изоглосс в говорах Архангельской области, «Этимология. 1966», М., 1968.

[2] С. И. Котков, Памятники русской письменности и историческая диалектография, ВЯ, 1975, 2, стр. 14. В языкознании уже имеются исследования подобного рода: Zd. Masařik, Zur spättmittelalterlichen Wortgeographie. Die Wochentagsnamen der deutschen Kanzleisprache des 14 — 16. Jahrhunderts in Mähren, «Zeitschrift für Mundartforschung», XXXIV Jg., 3/4, 1967; Н. С. Коткова, Историко-лингвистические свидетельства древней владельческой формулы, сб. «Русский язык. Источники для его изучения», М., 1971; Г. Ф. Благова, К методике историко-ареальных сопоставлений в тюркологии, ВЯ, 1972, 5.

[3] О письменных источниках, пригодных для картографирования, см.: С. И. Котков, Памятники русской письменности и историческая диалектография.

расстояния [4]. Поэтому при составлении карт по материалам письменных источников возрастает роль более мелких письменных центров (монастырей, имевших в течение ряда веков свой штат писцов), показания памятников письменности которых дают возможность сделать сетку обследования менее разреженной.

Отмечается вместе с тем неравномерность распределения знаков на картах, построенных по данным письменности, и наличие «белых пятен». Последнее определяется неравномерностью распространения в древности мелких письменных центров. Особенно были богаты монастырями некоторые уезды Русского Севера. По словам М. Н. Тихомирова, нигде монастыри не получили такого распространения, как в Вологодском и Белозерском уездах [5].

Трудности картографирования материалов письменных источников усугубляются еще и тем, что самый факт наличия локального явления или тем более отсутствия его в памятниках письменности не всегда свидетельствует о наличии или отсутствии последнего в говоре соответствующего исторического периода. Лингвистические карты, построенные на материалах письменных источников, приобретают большую надежность при сопоставлении с картами тех же явлений, составленными по данным современных говоров. Такое сопоставление дает возможность подтвердить наличие той или иной местной особенности в системе диалекта определенного исторического периода.

Несмотря на известные трудности картографирования показаний памятников письменности, историко-ареальное изучение языка имеет и явные преимущества. Карты, построенные на материалах письменности, не лишены недостатков, однако они могут иногда дать более значительный материал для исторической диалектологии русского языка, чем картографирование данных современных говоров, поскольку известно, что позднейшие явления могут стирать или представлять в измененном виде более ранние явления. Реконструирование ареалов локальных явлений на разных синхронных срезах позволяет определить время появления их в системе диалекта, установить центр распространения данных инноваций и, наконец, рассмотреть дальнейшее развитие этих особенностей — расширение, сужение их ареалов, архаизацию, выпадение из активного обихода.

Спорным является вопрос о том, какая сторона письменных источников перспективнее для картографирования. Как нам представляется, предпочтение следует отдать лексике, в силу того, что особенности фонетики и грамматического строя в деловых источниках XV—XVII вв., т. е. периода, от которого дошло наибольшее количество документов, годных для картографирования, «обнаруживают себя неполно и к тому же не всегда прямым, а порою и косвенным образом» [6]. Лексические особенности регистрируются более последовательно, поскольку препятствий для проникновения локальных слов в язык деловых документов было меньше [7].

Особого внимания заслуживают карты, на которых реконструированы ареалы не отдельных локальных слов (атомарный подход), а целых лексико-семантических групп (ЛСГ), т. е. дается системное описание лексики говора определенного исторического периода. Сопоставление лингвистических карт такого рода с материалами древней письменности этого же

---

[4] См. карту в ст.: А. Н. Качалкин, Памятники местной деловой письменности XVII в. как источник исторической лексикологии, ВЯ, 1972, 1.

[5] М. Н. Тихомиров, Россия в XVI столетии, М., 1962, стр. 237.

[6] С. И. Котков, Памятники русской письменности и историческая диалектография, стр. 18.

[7] См. об этом: В. Я. Дерягин, Л. П. Комягина, Из истории диалектных границ в северной России, ВЯ, 1968, 6, стр. 119.

периода других территорий проливает свет на историю формирования рассматриваемых ЛСГ, и вместе с тем, может помочь в решении проблем, связанных с формированием этнического состава населения соответствующей территории. Сравнение ареалов слов, входящих в состав лексико-семантических групп на разных синхронных срезах, дает возможности проследить развитие данных ЛСГ на протяжении длительного исторического периода, т. е. установить взаимосвязь и взаимозависимость слов в составе группы, отграничить изменения слов, обусловленные «давлением» системы, от трансформаций, вызванных нивелирующим влиянием литературного языка или междиалектным контактированием.

Значительную ценность приобретают лингвистические карты, построенные на показаниях письменных источников, в тех случаях, если с их помощью реконструируются ареалы локальных слов, ужене отмеченных в словарном составе современных говоров. Такие карты позволяют установить период, в течение которого отмеченные локальные слова входили в речевой обиход говорящих, т. е. определить их «возраст». Восстановление ареалов локальных слов, не сохранившихся в словарном составе современных диалектов, важно для исторической диалектологии русского языка, поскольку способствует выявлению новых диалектных явлений в русском языке среднего и старшего периода.

Заслуживают внимания лингвистические карты с реконструированными по данным письменности ареалами топонимов — названий селений. В силу устойчивости северной деревни, ареалы топонимов, восстановленные по документам XV—XVI вв., часто совпадают с распространением этих же топонимических наименований в наши дни [8].

К показаниям памятников письменности, проецированным на карту, может быть применен метод группировки изоглосс. Возникающие при этом пучки изоглосс (диалектные границы) обычно древнего происхождения. Сопоставление такого рода карт с данными литературных источников по археологии, истории и материальной культуре соответствующего региона дает возможность пополнить наши сведения о выделении диалектных зон языка древнерусской (общевосточнославянской) и великорусской народности.

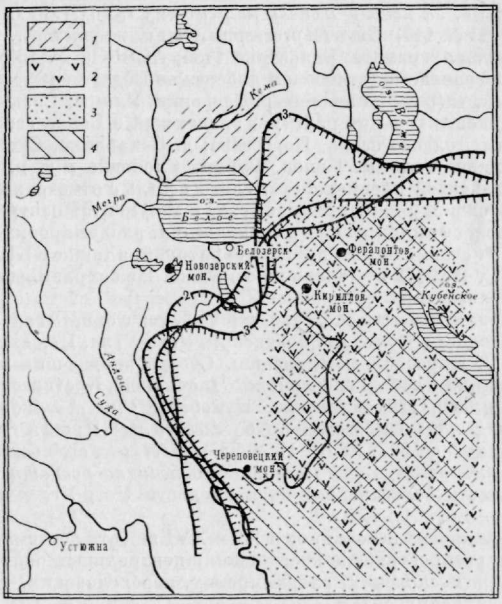
В настоящей работе делается попытка использования картографирования с применением метода группировки изоглосс к материалам белозерской актовой письменности XV—XVII вв. Если судить по публикациям, то от XIV в. сохранилось около 50 белозерских источников, от XV в. — несколько сотен. Количество источников, дошедших от XVI—XVII вв., практически не поддается исчислению. Историко-ареальное изучение лексики Белозерья потребовало привлечения не только опубликованных местных документов. Для картографирования отбирались и рукописные материалы, хранящиеся в центральных архивах (ГПБ, ЛОИИ, ГАЛО, ГИМ, ЦГАДА), а также в краеведческих музеях Вологодской обл. (Череповец, Устюжна, Борисово-Судское) [9]. На карту проецируются только лексические особенности документов. Сохранность значительного числа точно локализованных и датированных источников (своего рода «массовость свидетельств»), написанных на сравнительно небольшой территории Белозерского уезда, дает возможность составить карты территориального распространения слов в Белозерье на двух синхронных срезах — XV и XVII вв. Ареалы слов по данным письменности сопоставляются с распростра-

[8] *Об устойчивости северной деревни как сельского поселения см.:* П. А. Колесников, Северная Русь, Вологда, 1971, стр. 10.

[9] Подробнее об этом см.: К. К. Морозов, Ю. И. Чайкина, Рукописные материалы Белозерья XV—XVIII вв. в Череповецком краеведческом музее, сб. «Русский язык. Источники для его изучения».

нением их в современных белозерских диалектах. Следует отметить, что данная работа представляет собой один из первых опытов картографирования показаний письменных источников с учетом материалов современных говоров.

По своему происхождению и развитию белозерские говоры являются переходными. Межзональный характер этих территориальных единиц



Карта 1. Сводная карта изоглосс топонимов и примерных ареалов апеллятивов по данным белозерских деловых документов XV—XVI вв.: 1 — примерный ареал апеллятива *подбль*; 2 — примерный ареал апеллятива *раменье*; 3 — примерный ареал апеллятива *доръ*; *4* — примерный ареал апеллятива *сѣча*. Изоглоссы на карте: 1 — топоним *Починокъ*; 2 — топоним *Раменье*; 3 — топонимы *Доръ*, *Дорка*, *Дорино*, *Дора*

объясняется историей их формирования и развития. До прихода славян Белозерский край был районом расселения племени весь [10]. В конце первого тысячелетия н.э. Белозерье начинает заселяться выходцами из пределов Новгорода Великого, с XII—XIII вв. население края пополняется пришельцами из районов Верхнего Поволжья. Длительный исторический период территория Белозерья оставалась широкой пограничной полосой, отделяющей северо-западную диалектную зону от северо-восточной [11].

Сводные карты Белозерья отражают разнообразные типы лингвисти-

[10] А. Н. Насонов, «Русская земля» и образование территории древнерусского государства, М., 1951, стр. 179; В. В. Пименов, Вепсы, М.— Л., 1965.

[11] Ю. И. Чайкина, Вопросы истории лексики Белозерья, «Очерки по лексике севернорусских говоров», Вологда, 1975, стр. 158.

ческого ландшафта. Межзональный характер белозерских говоров определяет преобладание маргинальных диалектных зон. На карте 1 особого внимания заслуживают ареалы апеллятивов *подѣль*, *сѣча*, *доръ*, *раменье*, реконструированные по показаниям деловой письменности XV—XVI вв., а также изоглоссы топонимов *Раменье*, *Доръ*, *Дора*, *Дорка*, *Дорино*, *Починокъ*.

Апеллятив *подѣль* имел значение «подсека»: *Дали есмѧ . . . деревню свою на Талицѣ, да подѣли Попелы на рѣцѣ на Сѣзмѣ* (Данная Е. Пикина 1448; АСВР II № 117); *Отъ Кѣргоозерца лѣтнимь путемь ... на Тарасову подѣль* (Отводная грамота Белозерья 1455; АСВР II № 165). Это слово было распространено на восточном побережье Белого озера и на левобережье р. Шексны (р-ны по течению р. Словенки, Уломы, Сизьмы — левых притоков Шексны; р-ны по р. Киуй, впадающей в Белое озеро с северо-востока; р-ны Долгого озера, Кергозера; д. Захарьино, Скоково, Милобудицы, Колкач, Талицы, Попел, Рукина Слободка и т. д.) [12]. Помимо белозерской актовой письменности, слово *подѣль* с отмеченным значением регистрируется в XV в. по преимуществу в документах центральных районов Московского княжества — в суздальских, владимирских, московских источниках [13]. В памятниках других территорий, а также в КПОС, КСРГК, КАОС, КСВГ, КСРНГ это слово не отмечено. Не сохранилось оно в современных белозерских говорах.

Ареал апеллятива *сѣча* «подсека» в XVI в. тоже охватывал левобережье р. Шексны (волости Волочок Словенский, Усть-Угла, Пошехонье; районы по течению р. Порозобицы, Шелекши, Суслы, впадающих в Кубенское озеро; д. Рукина Слободка, Скоково, Чаромское, Костиевское, Непотягово, Демьянцево, Михайловское, Кукобой): *Сии сѹд сѹдил Михаило Гнѣваш..., став на сѣчѣ на ѡзими на Сѹселскаго лѣсѹ* (Правая грамота Ферапонтова монастыря 1502; АСВР II № 337); *Повѣли... отъ березы да тѣмъ же путемь людчикомъ через Костиевского починка розпаши и через сѣчю* (Правая грамота белозерского писца волости Усть-Угла 1505; ЛОИИ ф. 194, карт. 1, № 1, л. 5) [14].

По данным других источников в XV—XVI вв., эта лексема, как и слово *подѣль*, была распространена в основном в центральных районах Московской Руси — в московских, владимирских, переяславских, дмитровских, тверских, кашинских актах [15].

В КСРНГ, КПОС, КСРГК, КСНГ, КСВГ слово *сѣча* не отмечено, у В. Даля сопровождается пометами яросл., владимир., кашин. (IV, 382); в значении «пашня» это слово фиксируется в староукраинском языке (Акты Полтавского городского уряда 1667, 113— Тимченко).

Апеллятив *доръ* имел значение «сенокосное угодье»: *А ѹ менѧ... ѹ Ѳилиска, да ѹ Макѹты ѡтвели доры, наших деревень покосы* (Правая грамота крестьян Волочка Словенского 1492; АСВР II № 285); слово *раменье* выступало в значении «участок леса»: *Повели...на край уголъ Гридина мху, да на раменье на пихтовое* (Разъезжая грамота Кир.-Белоз. мон. 1555; Арх. Стр. I № 194). Эти слова были распространены в юго-восточных белозерских говорах, главным образом на левобережье р. Шексны (р-ны по ее левым притокам — Уломе, Сизьме, Ухтоме; волости Волочок Словенский,

[12] Ареал слова *подѣль* установлен также на основании документов АСВР II №№ 111, 120, 289, 290, 327; Арх. Стр. I № 196; Арх. еж. (1968), стр. 409; ГПБ ф. 351,№ 69/1308.

[13] Правая грамота Суздальского уезда 1470; АСВР I № 485; Духовная С. Корякина (Владимирский уезд) 1480; АСВР III № 105.

[14] Ареал см. также и по АСВР II №№ 290 лл. 26, 28 об., 306, 310. 338; Арх. Стр. I № 100; АЮ № 263; ГПБ ДА — I, № 17, лл. 203—204.

[15] АФЗХ I №№ 44, 51, 117; АЮ № 8; АЮБ I, стр. 673; АЮБ II, стр. 470, 576; Арх. Стр. I № 91; АГР I №№ 29, 35; АСВР II №№ 338, 338а, 405; АСВР III №№ 79, 209; ПКМГ II (Тверской уезд), стр. 347; Розыск. Шакл. IV, стр. 513.

Сяма, Маслена, Пошехонье; р-н Долгого озера; д. Скоково, Рукина Слободка; с. Синдош, Воскресенское, Чаромское). В среднем течении р. Шексны зоны *доръ* и *раменье* частично заходили и на правобережье (волость Арбуй; д. Дальняя, Горка) [16]. Помимо белозерских источников, эти слова фиксировались в этот период в документах центральных уездов Московской Руси: *доръ* — в ярославских, костромских, рязанских актах [17], *раменье* — в ярославских, переяславских, звенигородских и других документах [18].

В современных диалектах с близким к отмеченному значением *дор* — слово северо-восточного и среднерусского ареала (архангельские, вологодские, владимирские и тверские говоры) [19]. Лексема *раменье* последовательнее сохранилась в говорах Восточной зоны — вологодских, владимирских, ярославских, вятских, пермских, поволжских, рязанских (КСРНГ). *Эти слова не отмечены* в КПОС, КСРГК.

Судя по данным карты 1, ареалы апеллятивов *подѣль*, *сѣча*, *доръ*, *раменье*, охватывая в XV—XVI вв. юго-восточную часть Белозерья, во многом совпадают. Привлечение материалов современных говоров, а также памятников письменности этого периода других территорий дает основание считать, что все эти лексемы были занесены на территорию Белозерья переселенческими потоками с юга — из пределов Ростово-Суздальского, а позже Московского княжества [20]. Примерный характер ареалов этих слов не дает возможности сказать что-либо определенное о границах ростово-суздальской колонизации на территории Белозерья, поскольку материалы письменных источников, на основе которых они были воссозданы, характеризовали изучаемую территорию довольно неравномерно. Районы междуречья Шексны и Суды (особенно западная часть), не относившиеся к владениям белозерских монастырей, нашли более слабое отражение в актовой письменности.

Больший интерес в этом плане вызывает пучок изоглосс, образуемый распространением топонимов *Раменье*, *Доръ*, *Починокъ*, являющихся названиями селений [21].

По материалам местной письменности населенные пункты, имеющие наименование *Доръ*, зарегистрированы в р-нах левобережья р. Шексны; в междуречье Ягрыш — Сизьма (1482, Шум., стр. 116), в Колкаче (1556, АСВР II № 316), в волости Маслена (1556, АСВР II № 316). Топонимы

---

[16] Ареалы см. также и по АСВР II №№ 48, 65, 184, 223, 241, 263, 267, 275, 286, 288, 289, 290, 316; АСВР III № 224; АФЗХ I № 281; Арх. Стр. I №№ 116, 183; АЮ №№ 151, 263; ЛОИИ ф. 260, оп. I, № 400; ГПБ ф. 351, № 79/1318, л. 107; ГПБ ДА А — I, № 17, лл. 148, 177, 177 об., 203 об.

[17] АЮ №№ 8, 11, 14; Мух. № 283; Ряз. П., 450 и др.

[18] АСВР I № 110; АСВР II № 392; АСВР III №№ 67, 201, 224; АГР I №№ 50, 82, 102; АФЗХ I № 80; АЮБ I № 52, стр. 187; Мух. № 281; Ряз. П., 450.

[19] Ю. И. Чайкина, Вопросы истории лексики Белозерья, стр. 80—81.

[20] Как отмечает Ф. П. Филин, слово *раменье* в раннюю феодальную эпоху было широко распространено не только в центре, но и на севере (Ф. П. Филин, Древнерусские диалектные зоны и происхождение восточнославянских языков, ВЯ, 1970, 5, стр. 10). Можно полагать, однако, что в древненовгородских говорах это слово архаизировалось намного раньше, чем в диалектах других территорий. Об этом свидетельствует не только отсутствие апеллятива *раменье* в новгородской актовой письменности, островной реликтовый ареал его в современных северо-западных говорах, но и активизация топонима *Раменье* в Северо-Западной Руси уже в XV в. (НПК VI. Указатель).

[21] Топонимические данные для картографирования извлекались не только из местных источников. Значительную ценность представляют исторические карты, приложенные к кн. А. И. Копанева «История землевладения Белозерского края в XV—XVI вв.» (М.— Л., 1951), на которых реконструирована топонимика Белозерья трех исторических периодов — конца XV в. (Карта землевладения Белозерского края конца XV в.), середины XVI в. (Карта землевладения Белозерского края середины XVI в.), начала XVII в. (Карта землевладения Белозерского края начала XVII в.).

Малый Доръ, *Большой Доръ* отмечены юго-восточнее Кирилло-Белозерского монастыря (1577, Шум., стр. 138), *Доринское*, *Чистый Доръ*, *Дорино* — на северном и восточном побережье Белого озера (1495, АСВР II № 295; 1626, ПК № 591, 592), *Доръ*, *Дора*, *Дорка* — в междуречье Шексна — Андога (1556, АСВР II № 316; 1626, ПК № 591) [22]. Почти все эти топонимические наименования сохранились до наших дней (КСБГ).

Названия селений *Раменье* (конец XV в., ЛОИИ № 32, тетр. 2, лл. 6 об.— 9; 1543; Арх. Стр. 1, стр. 402; 1556, АСВР II № 316), *Елизарово Раменье* [1520, ГКЭ, 767 (66)], *Семеново Раменье* (1529, ПК № 591) регистрируются в междуречье Шексна — Андога (верховья р. Шулмы и Ковжи). На южном и восточном побережье оз. Воже местные документы отмечают селения *Раменье* (1533, ААЭ № 176), *Большое Раменье*, *Малое Раменье* (1615, ЛОИИ № 81), на левобережье р. Шексны — *Великое Раменье* (1492, АСВР II № 289), *Романовское Раменье* (1556, АСВР II № 316). В источниках представлены также топонимы, однокоренные со словом *раменье*, но иного морфологического состава: *Раменейцо* (1492, АСВР II № 286), *Раменка* (1543, Арх. Стр. I, стр. 405), *Рамешка* (1601, ГПБ ф. 351, № 76/1315; ГПБ ДА А—I, № 16, л. 449 об.). Селения с такими названиями располагаются по среднему течению р. Шексны [23].

Ареал топонима *Починокъ* в XVI в. во многом совпадал с территорией распространения топонимических наименований *Доръ* и *Раменье*. По данным письменности, топоним *Починокъ* фиксируется в р-нах левобережья р. Шексны — на р. Кодобое в Пошехонье (1490, АСВР II № 282), на р. Ягрыш (1556, АСВР II № 316), в Чароме (1556, АСВР II № 316), см. также: 1543, Арх. Стр. 1, стр. 406; ГПБ ф. 351, № 70/1309, л. 39 об.; ГПБ ДА А—I, № 16. На восточном побережье Белого озера отмечены топонимы *Починокъ* (1615, ЛОИИ № 81, л. 232) и *Новый Починокъ* (1584, ГПБ ДА А—I, № 16, л. 1600), во владениях Череповецкого Воскресенского монастыря — *Починокъ Холмъ* (1626, ПК № 591, л. 649) [24].

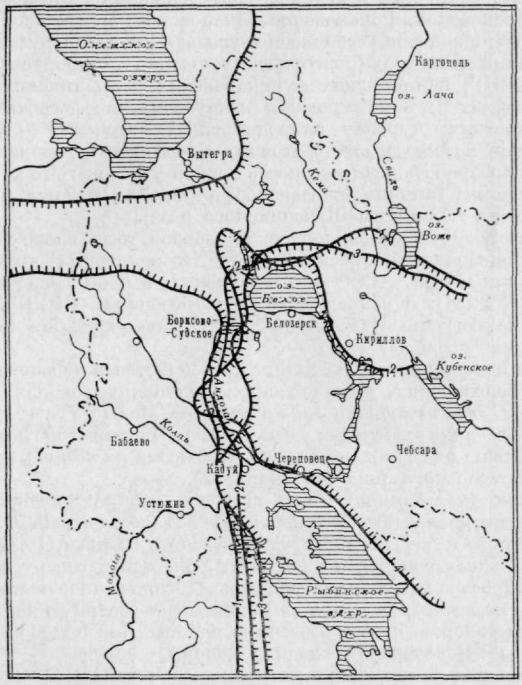
Судя по материалам карты 1, изоглоссы рассматриваемых топонимов образуют пучок, оформившийся на территории Белозерья, по-видимому, в период замедления верхневолжской колонизации или сразу после ее завершения. Изоглоссы в составе пучка пересекают р. Мологу, нижнее течение Суды в р-не впадения в нее р. Андоги и следуют на север по течению последней. Доходя до ряда озер (Новое, Азатское), расположенных южнее Белого озера, пучок изоглосс поворачивает на восток, огибает восточное побережье Белого озера и направляется к южному побережью оз. Воже. Полагаем, что отмеченный пучок изоглосс отражает глубину проникновения колонизационных потоков из районов Верхнего Поволжья в северо-западном направлении. Примерная граница между новгородской и ростово-суздальской колонизацией XIV—XV вв. проходила по линии Белоозеро — Великий Устюг [25]. Ее началом можно считать северную часть установленного нами пучка изоглосс, проходящего примерно по 60° с. ш. (южное побережье Белого озера и оз. Воже).

Об устойчивости этой древней диалектной границы свидетельствует и карта 2, на которой показано распространение апеллятивов *удворина*, *нива*, *подсека*, *поскотина* в современных белозерских говорах.

Слово *удворина* отмечено в местных памятниках конца XVII в. в значении «участок пахотной земли около крестьянского двора»: *А отъ того столба на полденьже к елизаровъской удворинѣ* (Дело о размежевании цер-

[22] А. И. Копанев, указ. соч., стр. 214. См. также его карты 1, 2, 3.
[23] Там же, стр. 239, карты 2, 3.
[24] Там же, стр. 238, карты 2, 3.
[25] С. Ф. Платонов, Прошлое Русского Севера, «Очерки по истории колонизации Поморья», Берлин, 1924.

ковной земли 1695; ЛОИИ ф. 260, оп. 1, № 609). Оно бытует в том же значении и в современных белозерских говорах (Кадуйский, Череповецкий, Шекснинский р-ны, южная часть Кирилловского и Белозерского): *На удворине лучше не сей, все курици розгребут* (Романово Череповецкого р-на); *Всю удворину сама обработала* (Енино Белозерского р-на). Данные областных словарей свидетельствуют об узости ареала слова *удворина*.



Карта. 2. Сводная карта изоглосс апеллятивов по данным современных белозерских говоров: 1 — *поскотина*; 2 — *удворина*; 3 — *нива* «пашня», «поле с рожью», «сенокосное угодье», 4 — *подсека*

Кроме Белозерья, в значении «дворище; место, занятое строением одного хозяйства; усадебная земля; полосы близ деревни» оно распространено в мологских, верхнекубенских, новленских говорах [26]. Отмечена эта лексема в ярославских брейтовских, рыбинских, бугаевских диалектах (КСРНГ).

Ареалы апеллятивов *нива* и *подсека* на территории Белозерья в основном совпадают с территорией распространения слова *удворина* (см. карту 2). Слово *нива* в диалектах Кирилловского и восточной части Белозерского р-нов последовательно — «пашня» или «поле с рожью»: *Нива вспахана и*

[26] С. А. Копорский, О говоре севера Пошехоно-Володарского уезда Ярославской губернии, Ярославль, 1929, стр. 197.

огорожона (Городище Белозерского р-на); *С нашой нивы много жита снимали* (Глухарево Кирилловского р-на). В говорах Череповецкого, Шекснинского, восточной части Кадуйского р-нов *нива* — «сенокосное угодье»: *На своёй ниве два стога сена накосили* (Горка Кадуйского р-на).

По материалам картотек *нива* в значениях «поле», «пашня (не из-под леса)», «поле с посевами» более последовательно распространено в говорах центральных, восточных и юго-восточных областей (Ярославской, Костромской, Московской, Горьковской, Ивановской, Пензенской, Тульской, Рязанской) [27]; в значении «сенокосное угодье» — в среднерусских и пограничных с ними диалектах (новгородских солецких, старорусских, окуловских — КСРНГ; калининских селижаровских, кушалинских, осташковских, пеновских [28]; в ярославских некаузских, арефьевских, мышкинских, ростовских; курских скороднинских, льговских — КСРНГ).

Апеллятив *подсека* в юго-восточных белозерских говорах выступает в значении «разработанный под посев лесной участок»: *Мало земли было, дак подсеки жгли* (Липняки Белозерского р-на); *Секли подсеку, сияли рожью, хорошо ростет* (Игумново Шекснинского р-на).

Что касается других севернорусских говоров, то это слово с отмеченным значением эпизодически регистрируется в некоторых архангельских; на территории Карел. АССР — в пудожских; в ленинградских лодейнопольских (КСРГК); в вологодских междуреченских (КСВГ). В КПОС, КСНГ оно не отмечено. В ССРЛЯ (X, 592) слово *подсека* не локализовано и имеет помету «спец».

Лексема *поскотина* (*подскотина*) употребляется в череповецких, шекснинских, белозерских, кирилловских, кадуйских говорах в значении «пастбище»: *Скотина ходит у нас в поскотине* (Малые Углы Череповецкого р-на); *Поскотину вся деревня огораживает* (Чистый Дор Кирилловского р-на). В отличие от слов *удворина*, *нива*, лексема *поскотина* известна и в говорах Вытегорского р-на (см. карту 2).

Поскотина (*подскотина*) имеет широкое распространение в других севернорусских диалектах. Согласно карте 344 (составитель Ю. С. Азарх), подготовленного к печати Институтом русского языка АН СССР «Атласа русских народных говоров центральных областей к северу от Москвы», дающей распространение слов со значением «огороженное место для скота», ареал слова *поскотина* (*подскотина*) охватывает северную часть Вологодской группы говоров, северо-восточные районы Костромской и северные межзональные Белозерско-Бежецкие говоры.

Сопоставление узких диалектных зон рассматриваемых апеллятивов с более широкими свидетельствует о том, что ареалы их на территории Белозерья разного происхождения. Лексема *удворина* является инновацией юго-восточных белозерских и пошехонских говоров. Проникновение апеллятивов *подсека* и *нива* («поле с рожью») в Белозерье определяется влиянием тех объединительных тенденций в области языка, которые связаны с центральными районами Московского государства. Иррадиация слова *поскотина* (*подскотина*) является заходом вологодской зоны.

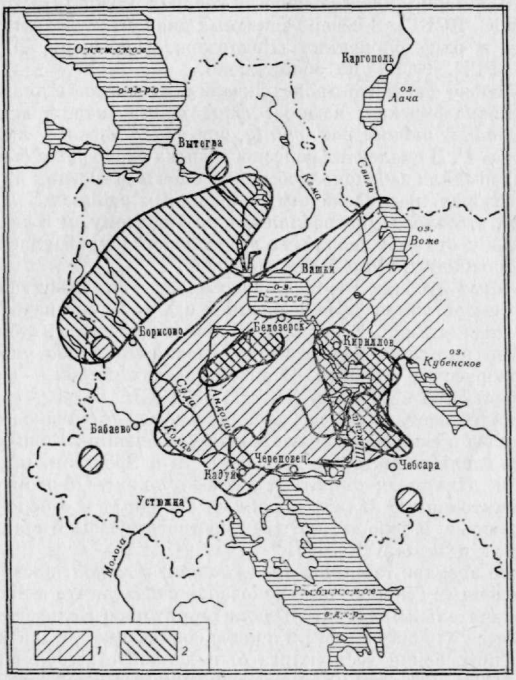
Причины, вызвавшие распространение рассматриваемых слов в говорах Белозерья, были разными, однако их изоглоссы не являются беспорядочным переплетением линий, а образуют пучок. При наложении ареалов апеллятивов *удворина*, *нива*, *подсека*, *поскотина* на диалектные зоны топонимов *Доръ*, *Раменье*, *Починокъ* (карты 1, 2) обращает на себя внимание сходство в конфигурациях изоглосс в западной части пучка, в том и

[27] О. Г. Порохова, Пробные статьи Словаря, в кн.: Ф. П. Филин, Проект «Словаря русских народных говоров», М.— Л., 1961, стр. 190—194.

[28] Т. В. Кириллова, Н. С. Бондарчук, В. П. Куликова, А. А. Белова, Опыт словаря говоров Калининской обл., Калинин, 1972, стр. 142.

другом случае располагающихся по течению р. Андоги и ее притокам. Только в своей северной части изоглоссы апеллятивов охватывают, а не огибают западное побережье Белого озера, поворачивая затем на восток.

По данным истории, археологии и языка распространению верхневолжской колонизации в западном и северо-западном направлении на терри-



Карта 3. Ареалы слов *лыва* (*лывина*) и *мянда* в современных белозерских говорах: 1 — ареал слова *лыва* (*лывина*) «низкое болотистое место»; 2 — ареал слова *мянда* «низкое болотистое место»

тории Белозерья препятствовала сравнительно высокая плотность вепсского населения по течению р. Суды и ее притокам.

О расселении летописной веси на территории Белозерья в начале II тысячелетия н. э. до известной степени свидетельствуют реконструированные ареалы лексем субстратного происхождения *лыва* (*лывина*) и *мянда* (карта 3).

Лыва — заимствование из финских языков: фин., карел. *liiva* «ил, тина» (Kalima, 157; то же у Фасмера II, 539). В местных источниках это слово в значении «низкое болотистое место» фиксируется начиная с XVI в.: *Да прямо лывою в Долгое болото* (Межевая грамота Кир.-Белоз. мон. 1526; Арх. Стр. I № 115). В современных белозерских говорах оно последовательнее употребляется в этом же значении: *У нас на болоте лыв нет, сухо* (Сиуч Кадуйского р-на); *Корова в лыву попала, еле выташшыли* (Ко-

варзино Кирилловского р-на). По данным карты 3 ареал слова *лыва* (*лывина*) охватывает в основном центральные говоры Белозерья. Островной реликтовый характер ареала данного слова в северных и западных районах Белозерья свидетельствует вместе с тем о том, что в прошлом оно было распространено и на этой территории. Помимо белозерских, слово *лыва* (*лывина*) широко представлено в говорах Северо-Восточной зоны (КСРНГ, КАОС, КСВГ). В северо-западных диалектах оно употребляется эпизодически в ряде олонецких (Водлозеро, Ведлозеро, Данилово) [29]. В КПОС, КСРГК, КСНГ не обнаружено.

Мянда — слово финского происхождения, известное в диалектах многих прибалтийско-финских языков: фин. *mänty*, карел. *mändä*, ливв. *mändö*, люд. *mänd*, *mändä*, вод. *mänty*, эст. *mänd* «сосна», ливск. *mäñD* «молодая сосна» [30]. В диалектах вепсского языка слово *mänd* бытует в двух значениях: 1) «рыхлая заболонь» (обычно сосны) и 2) «сосняк на болоте» [31]. В вепсских говорах, расположенных в западных районах Белозерья (Бабаевский р-н), это слово употреблялось, по-видимому, и в значении «болото», поскольку отмечен апеллятив *muraškmänd* «сухой участок болота, поросший морошкой» (*muraškʼ* «морошка») [32].

В современных русских говорах слово *мянда* в значении «низкое болотистое место» имеет узкий ареал: начиная с XVI в. оно известно только белозерским диалектам [33]. В значениях «болотная сосна», «темноватые и водянистые верхние слои ствола сосны» апеллятив *мянда* употребляется в ряде севернорусских говоров. В архангельских *мянда* — «мелкий сосновый лес, растущий на болоте» (КСРНГ, КАОС).

Карта 3 показывает, что ареал апеллятива *мянда* («низкое болотистое место») претерпел в Белозерье существенные изменения. Если в наши дни он носит островной реликтовый характер, то в прошлом, по-видимому, был сплошным, охватывая территорию края в целом. Об этом свидетельствует наличие топонима *Мянда* в южных, западных и северо-восточных районах Белозерья, в говорах которых соответствующий апеллятив уже архаизировался и выпал (КСБГ).

Своеобразие ареалов терминов *лыва* (*лывина*) и *мянда*, построенных по данным современных говоров, дает основание считать, что в прошлом они были более значительными и охватывали территорию Белозерья в целом. Вряд ли является случайным почти полное совпадение ареала курганного и грунтового погребения веси (карта 4) и диалектных зон апеллятивов *лыва* и *мянда*. Согласно данным археологических и лингвистических карт, весь занимала в прошлом довольно значительную территорию вокруг Белого озера.

Из сказанного можно сделать некоторые общие выводы. Данные лингвогеографии, дополненные материалами истории и археологии, позволяют утверждать, что заселение славянами отдельных частей Белозерья происходило неравномерно, с различной интенсивностью, в результате чего ассимиляция веси в разных районах завершалась не в одно и то же время.

Восточные районы Белозерья, по которым проходил оживленный торговый путь Шексна — Белое озеро, подверглись массовой крестьянской

---

[29] Г. И. Куликовский, Словарь областного олонецкого наречия, СПб., 1898, стр. 51.

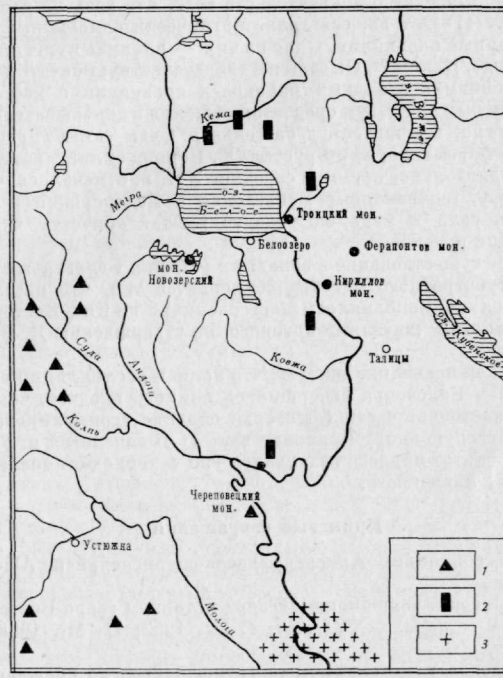
[30] «Suomen kielen etymologinen sanakirja», I—IV, LSFU, XII, Helsinki, 1958—1968, стр. 359.

[31] М. И. Зайцева, М. И. Муллонен, Словарь вепсского языка, Л., 1972, стр. 344.

[32] Там же, стр. 337.

[33] Первая фиксация в Ободной грамоте Кирилло-Белозерского монастыря 1556 г. (АСВР II № 316).

колонизации еще в конце I тысячелетия н. э., поэтому славянские элементы рано ассимилировали весь [34]. Активно заселялись эти районы выходцами из пределов Новгородской земли, из Ростово-Суздальского, а позже Московского княжеств [35].



Карта 4. Схема расселения веси и ее финноязычных соседей в XI—XIII вв. по погребальным памятникам: 1 — курганные группы веси и отдельные курганы с вепсско-мерянскими элементами; 2 — грунтовые погребения веси; 3 — мерянские погребения и мерянские элементы в русских курганах (по кн. Л. А. Голубевой «Весь и славяне на Белом озере X —XIII вв.»,М., 1973)

Иной характер имела славянская колонизация в западных районах Белозерья (течение р. Суды, Андоги, Колпи). Она не была такой массовой и шла в основном из пределов Новгородской земли. Верхневолжская колонизация если и затронула данную территорию, то весьма незначительно

[34] Д. В. Бубрих, О двух этнических элементах в составе карельского народа, «Уч. зап. ЛГУ», Серия востоковедческих наук, 2, Советское финноугроведение, I, 1948, стр. 121. По словам археолога Л. А. Голубевой, в IX—X вв. «славянское население освоило все течение Шексны, а также южное и северо-восточное побережье Белого озера» (Л. А. Голубева, Славянские памятники на Белом озере, «Сборник по археологии Вологодской обл.», Вологда, 1961, стр. 34).

[35] Подробнее об этом см.: Ю. И. Чайкина, Вопросы истории лексики Белозерья.

и в более поздний исторический период, поскольку лингвогеографическое описание Белозерья свидетельствует о том, что языковые инновации из этих мест, отмеченные в восточной части Белозерья в XIV—XV вв., не нашли распространения в западных районах.

Существует множество доказательств того, что весь на данной территории еще в XIII—XV вв. составляла этнически самобытный массив, не ассимилированный славянами. Одно из них — наличие курганных могильников по р. Суде, Колпи [36]. Об этом же свидетельствует богатство субстратной микротопонимии западных районов в сравнении с восточными [37]. Вепсский язык был активным средством общения в первой четверти XVI в., так как известно, что жители в бассейне р. Суды «имеют особый язык, хотя ныне почти все говорят по-русски» [38]. Период билингвизма населения затянулся на длительное время; в середине XIX в. отмечалось, что жители Белозерского у. (современные Бабаевский и Белозерский р-ны) «почти наполовину корела и чудь, но успели уже так обрусеть, что свободно изъясняются по-русски» [39].

Длительное существование в западных районах Белозерья отмеченного этнического субстратного массива объясняется тем, что население этих районов постоянно пополнялось переселенцами из Юго-Восточного Приладожья, коренными жителями которого, по утверждению Д. В. Бубриха, являлась весь [40].

Все сказанное позволяет считать, что полная ассимиляция вепсов в западных районах Белозерья завершилась намного позднее, чем в восточных. Если в восточной части Белозерья славяне ассимилировали вепсов еще в древнерусскую эпоху (в первые века II тысячелетия н. э.), то в западных районах этот процесс развивался уже в период становления языка великорусской народности.

Принятые сокращения

ААЭ — «Акты, собранные Археографическою экспедицею АН», I, СПб., 1836.

АСВР — «Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XVI вв.», I, М., 1952; II, М., 1958; III, М., 1964.

АГР — А. Федотов-Чеховский, Акты, относящиеся до гражданской расправы древней России, I—II, Киев, 1860.

Арз. А. — «Арзамасские поместные акты (1578—1618)», собр. и ред. С. Б. Веселовский.— Смутное время Московского гос-ва, 1604—1613, вып. 4 («Чтения ОИДР», 1916, кн. 1).

Арх. еж. (1968) — «Археографический ежегодник за 1968», М., 1970.

Арх. Стр. I — «Архив П. Строева», I, Пгр., 1915.

АФЗХ I — «Акты феодального землевладения и хозяйства XIV—XV вв.», ч. I, М., 1951.

АЮ — «Акты юридические или собрание форм старинного делопроизводства, изд. Археографическою комиссиею», СПб., 1838.

АЮБ — «Акты, относящиеся до юридического быта древней Руси», ч. I—III, СПб., 1857—1884.

ГААО — Государственный архив Архангельской области.

---

[36] Л. А. Голубева, Археологические памятники веси на Белом озере, «Советская археология», 1962, 3, стр. 68—75.

[37] А. К. Матвеев, Взаимодействие языков и методы топонимических исследований, ВЯ, 1972, 3, стр. 77.

[38] С. Герберштейн, Записки о московитских делах, СПб., 1908, стр. 123.

[39] Н. Богословский, Новгородский сборник, 1, Новгород, 1865, стр. 57.

[40] Д. В. Бубрих, указ. соч., стр. 121.

ГАЛО — Государственный архив Ленинградской области.
ГИМ — Государственный исторический музей.
ГКЭ — Грамоты коллегии экономии (копии, хранящиеся в ЛОИИ).
ГПБ — Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Даль — В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, I—IV, М., 1955.
ДА — Духовная Академия (название одного из фондов Рукописного отдела ГПБ).
Kalima — J. Kalima, Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen, Helsinki, 1919.
КАОС — Картотека Архангельского областного словаря (Диалектологический кабинет МГУ).
КПОС — Картотека Псковского областного словаря (Межкафедральный словарный кабинет, ЛГУ).
КСБГ — Картотека Словаря белозерских говоров (Череповецкий педин-т, кабинет русского языка).
КСВГ — Картотека Словаря вологодских говоров (Вологодский педин-т, кабинет русского языка).
КСНГ — Картотека Словаря новгородских говоров (Новгородский педин-т, кабинет диалектологии).
КСРГК — Картотека Словаря русских говоров Карелии (Кабинет русского языка, ЛГУ).
КСРНГ — Картотека Словаря русских народных говоров Института русского языка АН СССР (Ленинград).
ЛОИИ — Ленинградское отделение Института истории.
Мух. — «Сборник Муханова», 2-е изд., дополненное, СПб., 1866.
НПК VI — «Новгородские писцовые книги, изд. Археографическою комиссиею», VI, Книги Бежецкой пятины, СПб., 1910.
ПК № 591, 592 — Писцовая книга письма и меры князя Н. Шаховского и подьячего М. Козлова, 1626—27 (ЦГАДА).
ПКМГ — «Писцовые книги Московского государства XVI в.», СПб., 1872.
Розыск. Шакл. — «Разыскные дела о Ф. Шакловитом и его сообщниках, изд. Археографическою комиссиею», I—IV, СПб., 1884—1893.
Ряз. П. — «Писцовые книги Рязанского края XVI и XVII вв.», под ред. В. Н. Сторожева, т. 1, вып. 1—3, изд. Рязан. учен. архивн. комис., Рязань, 1898—1904.
СГКЭ II — «Сборник грамот Коллегии экономии», II, Пг., 1922.
ССРЛЯ — «Словарь современного русского литературного языка», 1—17, М. — Л., 1950—1965.
Тимченко — Картотека Исторического словаря украинского языка XIV—XVII вв. Институт общественных наук АН УССР (Львов).
Фасмер — М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, I—IV, М., 1964—1973.
ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов.
Шум. — С. Шумаков, Обзор грамот Коллегии экономии, II — Тексты и и обзор белозерских актов (1395—1758), М., 1900.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1976

С. Ш. ДЖАМАНТАЕВА

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАГОЛЬНОЙ СЛОВОФОРМЫ В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

В тюркологии существует способ описания языка по принципу упорядочения элементов в системе. Этот способ, известный как грамматика порядков, впервые был применен Г. Глисоном к описанию морфологического состава турецкого слова [1]. В советской тюркологии соотношение аффиксов в тюркской основе было исследовано А. М. Щербаком и Н. А. Баскаковым [2].

И. И. Ревзин, Г. Д. Юлдашева и В. Я. Пинес [3] усовершенствовали систему Глисона и построили формальную модель грамматики порядков с приложением к материалу узбекского и азербайджанского языков.

Ниже излагается попытка применить принцип грамматики порядков для описания системы последовательности формантов в казахской глагольной словоформе. В отличие от существующих моделей тюркского слова в настоящем сообщении анализируется также выбор и сочетаемость грамматических формантов в пределах глагольной словоформы.

Любая глагольная словоформа казахского языка начинается с корневого элемента, за ним следуют аффиксы залогов [4] и способов действия. Примеры: *сөйле-с-тір-іҥ-кіре* «сделай так, чтобы они поговорили еще немного», *тұрт-кіле-т* «сделай так, чтобы он(а) еще подергал», *шом-ылыҥқыра* «мойся еще немного». Для простоты описания мы рассматриваем основу (корень + аффиксы залогов и способов действия) как целостную единицу. Основа может совпасть с корнем, если отсутствуют залоговые и акционсартные аффиксы (например, *кел* «приходи»). Основа служит исходным элементом в нашей системе. Для дальнейшего анализа представляют интерес грамматические показатели, следующие за основой.

В теории языкознания известна корреляция, наблюдаемая в языках агглютинативного строя, между порядком расположения морфем и их значением: «...морфемы с более конкретным значением располагаются ближе к корню слова, а морфемы с более общим значением располагаются дальше от корня» [5]. По мнению Б. А. Серебренникова, этим достигается

---

[1] Г. Глисон, Введение в дескриптивную лингвистику, М., 1959, стр. 164—169.

[2] А. М. Щербак, О методике морфологического описания языка, ВЯ, 1963, 5; Н. А. Баскаков, Порядок и иерархия аффиксов в основе слова в тюркских языках, в кн.: «Морфологическая типология и проблема классификации языков», М.— Л., 1965.

[3] И. И. Ревзин, Г. Д. Юлдашева, Грамматика порядков и ее использования, ВЯ, 1969, 1; В. Я. Пинес, И. И. Ревзин, Описание морфологической структуры азербайджанского глагола с помощью грамматики порядков, «Статистическое и информационное изучение тюркских языков (Тезисы докладов и сообщений)», Алма-Ата, 1969. См. также: В. Я. Пинес, О моделировании структуры глагольных форм в тюркских языках, «Советская тюркология», 1971, 3.

[4] Комбинированное употребление залоговых аффиксов при одной глагольной основе детально изучено Э. В. Севортяном. См.: Э. В. Севортян, Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке (опыт сравнительного исследования), М., 1962 стр. 540.

[5] Б. А. Серебренников, Внутренние причины языковых изменений, «Общее языкознание (формы существования, функции, история языка)», М., 1970, стр. 247.

типовое однообразие в указанных языках, что служит проявлением тенденции к экономии языковых средств. Заметим, однако, что данный постулат не затрагивает взаимоотношений грамматических формантов.

В казахском языке порядок следования формантов за основой может быть двух типов.

Первый тип. За основой следует один из аффиксов со значением времени и наклонений [6]: 1) *-ды* (алломорфы *-ді*, *-ты*, *-ті*) — категорическое прошедшее время: *бар + ды + м* «я ходил»; 2) *-а* (*-е*, *-й*) — настоящее-будущее время: *бар + а + мын* «я пойду, я хожу»; 3) *-атын* (*-етін*) — многократное прошедшее время: *бар + атын + мын* «я бывало ходил»; 4) *-ған*(*-ген*, *-қан*, *-кен*) — перфективность: *бар + ған + мын* «я ходил»; 5) *-ар*(*-ер*) — будущее предположительное: *бар + ар + мын* «возможно, я пойду»; 6) *-ып* (*-іп*, *-п*) — субъективное прошедшее: *бар + + ып + сың* «оказывается, ты ходил»; 7) *-Ø* (алломорф *-ыр* для глагола *жат* «лежать») — настоящее время: *отыр + Ø + мын* «я сижу»; 8) *-ғы* (*-гі*) + *кел* — желательность с точки зрения субъекта действия: *бар + + ғы + м келеді* «мне бы хотелось пойти»; 9) *-мақ* (*-мек*) — намерение: *бар + мақ + пын* «я намереваюсь пойти»; 10) *-ғай* (*-ғей*, *-қай*, *-кей*)— пожелательность с оттенком благословения: *бар + ғай + сың* «да будет так, чтобы ты пошел»; 11) *-ғалы* (*-қалы*, *-келі*, *-гелі*) — цель, намерение: *бар + ғалы отырмын* «я собираюсь пойти»; 12) *-у* — имя действия (инфинитив): *бар + у* «хождение»; 13) *-са* (*-се*) — условность: *бар + са + м* «если я пойду»; 14) Ø — повелительность: *бар + Ø* «иди».

Как видно, имеются два омонимичных нуля: один нуль служит основанием для повелительного наклонения: *отыр + Ø + айын* «дай-ка я присяду», *отыр + Ø + сын* «пусть он сядет» и т. д. Второй нуль относится к изъявительному наклонению: *отыр + Ø +мын* «я сижу», *отыр + Ø + + сың*, «ты сидишь», *отыр + Ø едім* «я сидел» и т. д. Второй нуль как показатель изъявительного наклонения имеет ограниченную дистрибуцию, оформляя только четыре основы *отыр-* «сидеть», *жат-* «лежать», *тұр-* «стоять», *жүр* «ходить, идти» [7].

Если центральному элементу — основе — припишем нулевой порядок (ПØ) («порядок» — в дальнейшем П), тогда рассматриваемые аффиксы получают порядок номер один (ПI), внутри же данного уровня имеются четырнадцать взаимозаменяемых компонентов: замена любого аффикса (например, *-ды*, *-ғы*, *-атын* и т. д.) другим аффиксом (например, *-ған*, *-мақ*, и т. д.) не нарушает правильной последовательности.

Второй тип. Если за основой непосредственно следует один из деепричастных показателей (ПI *-ып* (*-іп*, -п), *-а* (*-е*, *-й*) или *-ғалы* (*-қалы*, *-келі*, *-гелі*), то следующим формантом является один из вспомогательных глаголов — *отыр*, *жат*, *тұр*, *жүр* (ПII).

Сравнение двух типов расположения грамматических формантов показывает, что между основой (ПØ) и временными-модальными аффиксами

---

[6] «Категории наклонения и времени в тюркских языках выражаются единой синкретичной формой... в тюркских языках отсутствуют специальные аффиксы отдельно для наклонений и для времени» (Н. А. Баскаков, О категориях наклонения и времени в тюркских языках, в кн.: «Структура и история тюркских языков», М., 1971, стр. 75).

[7] Аффикс Ø (его алломорф *-ыр* для глагола *жат*) служит показателем настоящего времени для указанных четырех глаголов и в каракалпакском языке. Однако в разговорной речи *-ыр* в этих языках иногда не воспринимается как показатель настоящего времени. Поэтому возможны формы типа *келе жатырған* вместо *келе жатқан*, встречающиеся на территории Западного Казахстана (см.: А. Хасенова, *Етістіктің* лексика-грамматикалық сипаты, Алматы, 1971, стр. 79), *джатырғын* вместо *джатқын* в каракалпакском языке (см.: Н. А. Баскаков, Каракалпакский язык, II, ч. 1, М., 1952, стр. 369).

(ПI) допустимы еще два порядка (*-ып*, *-а*, *-ғалы* — ПI) и (*отыр*, *жат*, *тұр*, *жүр* — ПIII).

Причем отношение между ними строго импликативно: если есть ПI (*-ып*, *-а*, *-ғалы*), то обязательно есть и ПIII (*отыр*, *жат*, *тұр*, *жүр*). Например: *жаз + ып отыр + мын* «я пишу в данный момент», *жаз + а жүр + + ді + м* «я писал». Основа же (ПØ) имплицирует либо ПI, либо ПIII. В последнем случае первые два порядка равны нулю. Например: *жаз + + Ø + Ø + ды + м* «я писал, написал», *жаз + Ø + Ø + а + мын* «я напишу», *жаз + Ø + Ø + ған + мын* «я написал» и т. д. Таким образом, мы должны внести поправку в первую систему последовательности, приписывая временным и модальным аффиксам не первый (ПI), а третий (ПIII) порядок.

Теперь обратимся к выбору и особенностям сочетаемости этих трех порядков. Как видно, в первом и третьем порядках повторяются аффиксы *-ып*, *-а*, *-ғалы*. Покажем, что аффиксы *-ып* и *-а* (ПI) омонимичны *-ып* и *-а* (ПIII). Они могут сочетаться в одной и той же словоформе. Например: *жаз + ып отыр + ып + пын* «я, оказывается, писал в тот момент», *жаз + + а отыр + а + мын* «я буду писать в тот момент». По значению *-ып* (ПI) и *-ып* (ПIII), так же как и *-а* (ПI) и *-а* (ПIII), различны. На уровне первого порядка *-ып* и *-а* составляют приративную оппозицию с маркированным членом *-а*. Он семантически маркирован признаком «частичности (неполноты)» действия.

Данный признак проявляется в значениях: 1) сопутствования другому действию [8], например: *сөйлей отырды* (здесь *-й* — алломорф морфемы *-а*) «он разговаривал (рассказывал), занимаясь одновременно другим делом», ср. *сөйлеп отырды* «он разговаривал» (он был занят только одним делом — разговором); 2) темпоральности (временной ограниченности) действия, ср. *шыға тұршы* «выйди-ка, выйди на минутку» и *шығып тұршы* «выйди» (без указаний на определенный ограниченный промежуток времени). Форма с деепричастием на *-а* обозначает действие, которое ограничено во времени: *Сен барып келгенше, мен сабақты қайталай тұрармын* «Пока ты сходишь, я буду повторять уроки» (т. е. время повторения ограничено другим действием — возвращением); 3) собственно частичности: *құптай тұрдым* «я одобрял и не одобрял, частично (не полностью) одобрял», ср. *құптап тұрдым* «я целиком (полностью) одобрял»; 4) вместо кого-то другого: *жаза отырдым* может означать «я писал в течение короткого промежутка времени вместо кого-то другого», ср. *жазып отырдым* «я сам писал, целиком был занят письмом». Но этот оттенок «вместо кого-то» проявляется с ограниченным количеством глаголов (типа *жаз-*, *іте-*) [9].

Что касается форманта *-ып* в оппозиции (*-ып* — *-а*), то он, будучи семантически немаркированным и, следовательно, более широким по объему, может употребляться вместо *-а*: *Сабақтан шыққанда біздің үйге соға жүрші* обычно означает только «После занятий заглядывай (иногда) к нам домой» (значение частичности). Ср. *Сабақтан шыққанда біздің үйге келіп жүрші*, которое может означать как то же самое, так и «После занятий ты вообще всегда заглядывай (заходи) к нам домой».

Отсюда следует, что *-а/-й* в данной ситуации сигнализирует о наличии «частичности», *-ып* означает не отсутствие данного признака, а безразли-

---

[8] Ср.: А. А. Юлдашев, Аналитические формы глагола в тюркских языках, М., 1965, стр. 73.

[9] Помимо указанных различий, следует отметить и тот факт, что в повелительном наклонении сочетание «деепричастие на *-ып* + один из вспомогательных глаголов *отыр*, *жат*, *тұр*, *жүр*» передает категорическое повеление в отличие от соответствующего сочетания с деепричастием на *-а/-й*, которое передает некатегорическое повеление. См.: «Қазақ тілінің грамматикасы», I, Морфология, Алматы, 1967, стр. 158.

чие к нему. К такому выводу мы пришли на основании анализа обширного фактического материала.

Обратимся теперь к *-а* и *-ып*, фигурирующим в ПIII. Здесь они выступают со значениями грамматического времени: *-а* «настоящее или будущее»: *жаз* + Ø + Ø + *а* + *мын* «я пишу, я напишу», *жаз* + *ып отыр* + + *а* + *мын* «я пишу, я напишу»; *-ып* со значением прошедшего субъективного (неочевидного) времени: *жаз* + *ып отыр* + *ып* + *сың* «ты, оказывается, писал в тот момент», *жаз* + *ып* + Ø + Ø + *сың* «ты, оказывается, писал (написал)». На уровне ПIII *-ып* и *-а* составляют эквиполентную оппозицию, каждый член которой отмечен своими признаками: *-а* «настоящее-будущее», *-ып* «прошедшее субъективное». При этом *-ып* имеет дополнительный оттенок модальности — неочевидность, заглазность действия [10], а формант *-а* лишен такого оттенка.

Итак, мы рассмотрели аффиксы *-ып* и *-а* (ПI), которые омонимичны аффиксам *-ып* и *-а* (ПIII). Их характеризует взаимная сочетаемость в одной и той же последовательности, разные значения, а также разный характер взаимоотношений.

Сложнее обстоит дело с формантом *-ғалы*. Рассмотрим соотношение между *-ғалы* (ПI) и *-ғалы* (ПIII). Аффикс *-ғалы* (ПI) не сочетается с *-ғалы* (ПIII): не говорят *жаз* + *ғалы отыр* + *ғалы* (бессмысленное сочетание), но: *жаз* + *ғалы отыр* + *ды* «он(а) намеревался (намеревалась) писать», *жаз* + *ып отыр* + *ғалы* «с тех пор, как он(а) начал(а) писать». Эту несочетаемость трудно отнести за счет простого эвфонического отталкивания. Здесь имеются семантические причины.

Аффикс *-ғалы* (ПI) имеет значение «цели, намерения» [11]: *Мен Алматыда оқығалы жүрмін* «Я собираюсь учиться в Алма-Ате». *Ол сөйлемді енді оқығалы отыр* «Он только сейчас собирается прочитать предложение».

Аффикс *-ғалы* (ПIII) имеет значение, близкое английскому союзу *since* «с тех пор как», например: *Бұл адам оқып отырғалы бір сағат болды* «Прошел час, с тех пор как этот человек начал читать книгу (этот человек занят чтением книги вот уже целый час)». Здесь *-ғалы* означает точку отсчета для второго действия *бір сағат болды* «прошел один час» (первое действие выражено при помощи глагола с аффиксом *-ғалы*). Значение «цели» (*-ғалы* ПI) исключает значение «с тех пор как» (*-ғалы* ПIII).

Рассматриваемые формы выступают в разных синтаксических функциях. *-Ғалы* (ПIII) «с тех пор как» употребляется только в составе обстоятельственных сочетаний времени: *Бұл повесті жазып жүргелі екі ай болды* «Эту повесть он пишет уже два месяца». *-Ғалы* (ПI) со значением «цели, намерения» реализуется в составе сказуемого: *Менің жолдасым бір үлкен шығарма жазғалы жүр* «Мой друг собирается написать большое произведение». Форма на *-ғалы* (ПI) может выступать и в функции обстоятельства цели: *Мен Алматыға оқығалы келдім* «Я в Алма-Ату приехал учиться». Отсюда следует, что *-ғалы* (ПI) и *-ғалы* (ПIII) имеют взаимоисключающую дистрибуцию, форма на *-ғалы* (ПIII) никогда не сочетается с предикативными показателями.

Наряду с указанными различиями, данные единицы имеют общий семантический множитель — значение «приближения» (близости соположения, проксимации). Относительно «приближения» рассматриваемые два форманта казахского языка находятся в отношении дополнительной дистрибуции. Иначе говоря, они являются вариантами одной и той же единицы. В таком случае они не должны попасть в разные порядки. Выход

[10] См.: И. Е. Маманов, Қазіргі қазақ тілі (етістік), Алматы, 1966, стр. 132.

[11] Еще в самом начале XX в. И. Лаптев называл эту форму «достигательным деепричастием (супин II)». См.: «Материалы по казак-киргизскому языку, собранные И. Лаптевым. Краткий грамматический очерк», М., 1900, стр. 103.

из создавшегося положения, по-видимому, находится в признании форманта *-ғалы* двухместным (или двухпорядковым). Он занимает позицию I и III порядков. Это, впрочем, согласуется и с общими представлениями о тюркских языках, в которых те или иные аффиксы являются многоместными. Так, в узбекском языке, по свидетельству И. И. Ревзина и Г. Д. Юлдашевой, аффикс *-моқ* многоместный, он занимает порядки IV и VII.

Существование многоместных аффиксов свидетельствует о неполной уравновешенности системы образования словоформ. Такие отклонения закономерны с точки зрения системного метода анализа [12].

Теперь обратимся к ПII. Здесь выбор элементов зависит от дополнительных значений, привносимых вспомогательными глаголами *отыр*, *жат*, *тұр*, *жүр*. Деепричастие (основа + один из аффиксов I порядка) образует аналитические конструкции с этими вспомогательными глаголами [13].

В первых трех порядках была естественной сочетаемость каждого подпорядка предыдущего уровня с каждым подпорядком последующего уровня. Такая универсальная сочетаемость, однако, не характерна для всех следующих после ПIII порядков. Здесь наблюдается избирательность аффиксов ПIII по отношению к ПIV, а эти последние в свою очередь избирают свои форманты в IV и т. д. Например, аффиксы ПIII: *-ған*, *-атын*, *-ар*, *-у* сочетаются с притяжательными аффиксами *-ым*, *-ың*, *-ы*, *-ымыз*, *-ыңыз*, *-ы*, которые представляют ПIV по отношению к данным аффиксам. Для других же аффиксов, например *-ды* (ПIII), четвертый порядок составляют предикативные форманты [14].

Аффикс *-а* (ПIII) сочетается только с предикативным показателем 1-го типа: *жаз + ып отыр + а + мын* «я буду писать в тот момент», *жаз + + ып отыр + а + сың* «ты будешь писать в тот момент».

Для удобства описания целесообразно сгруппировать подпорядки ПIII с точки зрения общих формантов в следующих уровнях.

Класс 1 включает аффиксы *-атын*, *-ған*, *-ар*, *-у*, *-ғы*. Они попадают в один и тот же класс на том основании, что имеют общие оформители. За каждым из них непосредственно следуют притяжательные показатели (ПIV). В свою очередь к притяжательным аффиксам непосредственно присоединяются падежные показатели, составляющие пятый порядок. К форме на *-ғы* с притяжательным аффиксом (например, *отыр + ғы + м*) падежные оформители не присоединяются. Вместе с глаголом *кел* она образует аналитическое сочетание со значением желания: *жаз + ып отыр + ғы + м* (*-ң*, *-сы*) *кел + е + ді* «Мне (тебе, ему) хочется писать».

К падежным показателям присоединяются предикативные показатели первого типа (настоящее время) или вспомогательный глагол *еді-* с предикативными показателями второго типа (прошедшее время). Примеры: *жаз + ып жүр + ет ін + ің + де + мін* «я нахожусь у того (человека), о котором ты писал»; *жаз + ып жүр + етін + іміз + ден + сің* «ты один из тех наших, кто пишет что-либо»; *жаз + ып жүр + етін + іміз + ден еді + ң*, «ты был одним из тех наших, кто писал что-то».

---

[12] «Система никогда не бывает „правильной“ полностью: она лишь стремится к равновесию, но никогда его по существу не достигает» [Е. С. Кубрякова, Г. П. Мельников, О понятиях языковой системы и структуры языка, «Общее языкознание (внутренняя структура языка), М., 1972, стр. 52].

[13] Анализ элементов ПII см.: С. Ш. Джамантаева, Роль знаменательных и служебных компонентов в аналитических конструкциях с процессуальным значением (на материале казахского языка), сб. «Қазақ тілі және әдебиеті мәселелері», VIII, Алматы, 1971, стр. 43.

[14] Мы присоединяемся к мнению тех тюркологов, которые различают два типа предикативных показателей. К первому типу относятся аффиксы: ед. число 1-е лицо *-мын*, 2-е лицо *-сың*, 3-е лицо *-Ø* (вариант *-ды*); мн. число 1-е лицо *-мыз*, 2-е лицо *-сыңдар*, 3-е лицо *-Ø* (вариант *-ды*). Ко второму типу относятся: ед. число 1-е лицо *-м* 2-е лицо *-ң*, 3-е лицо *-Ø*; мн. число 1-е лицо *-ң*, 2-е лицо *-ңдар*, 3-е лицо *-Ø*.

Для трех формантов (*-атын*, *-ған*, *-ар*) рассматриваемого класса характерно то, что они могут присоединять непосредственно предикативные показатели первого типа или вспомогательный глагол *еді-*, в этом случае притяжательность и падежность отсутствуют. Примеры: *жаз* + *ып отыр* + + *атын* + Ø + Ø + *мын* «я бывало писал»; *жаз* + *ып отыр* + *ған* + + Ø + Ø + *мын* «я писал в тот момент»; *жаз* + *ып отыр* + *ар* + Ø + + Ø + *мыз* «мы, возможно, будем писать в тот момент». Словоформа на *-у* не может присоединять непосредственно ПIV. Она сочетается с формантами *еді-*, *-мын*, *-сың* и т. д. только в форме местного падежа: *ізден* + Ø + + Ø + *у* + Ø + *де* + *сіздер* «вы находитесь в процессе поисков»; *практика өткіз* + Ø + Ø + *у* + Ø + *де* + *мін* «я нахожусь в процессе прохождения практики».

К л а с с 2 состоит из аффиксов -Ø (изъявительное наклонение), *-ғай* (значение пожелательности), *-а* (настоящее - будущее время), *-ғалы* (значение цели), *-мақ* (намеренность, запланированное будущее), функционально соответствует английскому модальному выражению *to be going* и модальному глаголу *to be*: *Мен бар* + *мақ* + *пын* ~ *I am to go* «Я должен идти»; *Оқып отыр* + *мақ* + *шы емес еді* ~ *He wasn't going to read* «Он не собирался читать в тот момент». Особенность рассматриваемых аффиксов состоит в том, что за ними может следовать только один порядок, состоящий из предикативных показателей первого типа и вспомогательного глагола *еді* (то, что служит шестым порядком с аффиксами класса 1, с данными аффиксами класса 2 — составляет четвертый порядок). Примеры: *жаз* + *ып отыр* + *ғай* + *сың* «да будет так, чтобы ты писал», *жаз* + *ып жат* + *а* + *мын* «я буду писать в тот момент», *жаз* + *ып жүр* + *гелі еді* + *м* «я собирался писать». Форма на *-а* не сочетается со вспомогательным глаголом *еді-* (ПIV).

К л а с с у 3 относим аффиксы *-ды* и *-са*, которые присоединяют предикативные показатели второго типа: *бар* + *ып жүр* + *ді* + *м* «я ходил (туда), я бывал там»; *бар* + *ып жүр* + *се* + *м* «если я буду ходить (туда)». Отметим форму на *-са*, которая может употребляться и в другом сочетании — со вспомогательными *ағі* и *еді-* она образует аналитическую форму желательного наклонения со значением благожелательности.

К л а с с 4 состоит из одного аффикса -Ø, который служит основанием для повелительного наклонения. Показатели лица присоединяются непосредственно к нулевому аффиксу, составляя ПIV в данной группе, например: *жаз* + *ып отыр* + Ø + *сын* «пусть он пишет»; *жаз* + *ып жүр* + + Ø + Ø «ты пиши»; *сөйле* + *п отыр* + Ø + *айық* «давайте поговорим».

Выше были сгруппированы подпорядки ПIII с точки зрения присоединяемых к ним общих аффиксов. Как видно, компоненты ПIII проявляют строгую избирательность по отношению к следующим уровням. По этой причине на уровне ПIII заканчивается универсальная последовательнотсь формантов. После ПIII следует говорить по крайней мере о четырех самостоятельных системах порядков в соответствии с рассмотренными четырьмя классами аффиксов.

Итак, казахская глагольная словоформа выступает как система, характеризующаяся объединением упорядоченных между собой морфем. Компоненты словоформы состоят в определенном порядке, причем каждый порядок может включать выбор из нескольких подпорядков. Здесь наблюдается закономерность: чем дальше данный порядок отстоит от основы, тем больший выбор формантов имеется в этом порядке. Однако это касается компонентов словоформы только до четвертого уровня; на ПIV кончается универсальная последовательность формантов. Существует омонимия аффиксов, расположенных в разных порядках. В казахской глагольной словоформе имеются и омонимичные нулевые показатели.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1976

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

S.-G. Andersson. **Aktionalität im Deutschen.** Eine Untersuchung unter Vergleich mit dem russischen Aspektsystem. I — Die Kategorien Aspekt und Aktionsart im Russischen und im Deutschen. — Uppsala, 1972. VI + 248 стр. («Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Germanistica Upsaliensia». 10)

Известно, что в немецком (и вообще германском) глаголе наблюдаются явления, в той или иной мере сопоставимые, а нередко и прямо отождествлявшиеся со славянским глагольным видом. Книга молодого шведского языковеда С.-Г. Андерссона «Акциональность в немецком языке» представляет собой попытку заново проанализировать эти явления и критически разобраться в теориях, создававшихся в связи с ними в германистике. Автор хорошо знает обширную литературу вопроса, старую и новую, в частности и многие работы советских лингвистов. Опираясь на достижения и понятийный аппарат современной аспектологии, он проводит широкую конфронтацию соответствующих особенностей немецкого и русского глагола. Книга задумана как теоретическое введение к конкретному сопоставительному исследованию на материале трех немецких переводов «Анны Карениной». Однако и без этой специальной части работа Андерссона является вполне законченным целым и представляет самостоятельный интерес.

Понятие акциональности охватывает у Андерссона всю совокупность явлений, связанных с характеристикой протекания действия, обозначенного глаголом. Андерссон полагает, что термин «акциональность» (Aktionalität), уже употреблявшийся в этом или близком смысле в германистике [1], является более подходящим, чем термин «аспектуальность», используемый для того же понятия в работах А. В. Бондарко о русском виде.

Акциональное содержание может получать в языке различное выражение. Там, где существует «акционально обусловленное противопоставление словоформ одной глагольной лексемы» (стр. 25), мы говорим о виде (Aspekt). В качестве примеров Андерссон, наряду с русск. *возвращаться* : *возвратиться*, приводит также сходные грамматические оппозиции других языков — франц. *il retournait* : *il retourna*, лат. *redibat* : *reditit*, англ. *to be returning* : *to return*. Сюда же отнесено и противопоставление «временных основ» (Tempusstämme) в древнегреческом. Как видим, Андерссон — и это нужно приветствовать — придерживается широкого понимания грамматической категории вида и не сводит вид к противостоянию совершенности и несовершенности славянского типа.

В отличие от вида, выражаемого, по определению, противопоставлением словоформ, способ действия (Aktionsart) присущ, по Андерссону, глагольной лексеме: он есть «акциональное содержание лексемы». Так, русск. *возвращаться*/*возвратиться*, франц. *retourner* и т. д. и нем. *zurückkehren* являются глаголами определенного способа действия, а именно предельными; нем. *erblühen* «зацвести/зацветать» — глаголом ингрессивного (начинательного) способа действия (стр. 26). Таким образом, в качестве способа действия рассматривается принадлежность глагола к семантическим (акциональным) группировкам, как более крупным (типа предельные/непредельные глаголы), так и более дробным.

Помимо вида и способа действия, существуют и другие формы выражения акционального значения, например, выражение в немецком языке ингрессивной акциональности с помощью словосочета-

[1] Андерссон ссылается на В. Флемига (W. Flämig, Zur Funktion des Verbs, III — Aktionsart und Aktionalität, «Deutsch als Fremdsprache», 2, 1965).

ния (*zur Blüte kommen* и *zu blühen anfangen* «начать/начинать цвести») или «на уровне сочетания предикатов» с помощью смыслового соотношения между двумя глаголами-сказуемыми (*Kurz nachdem er zurückgekehrt war, b l ü h t e n die Apfelbäume* «Вскоре после того, как он вернулся, зацвели яблони»).

Вида, т. е. акционально обусловленного противопоставления глагольных словоформ, в немецком языке нет. Немецкая акциональность — это выражение различных акциональных значений на лексематическом уровне (т. е. на уровне способов действия), на уровне словосочетаний («рекциональном») и на уровне «связи предикатов». В четком разграничении этих уровней — основной пафос рассматриваемой концепции. И, соответственно, главный (и совершенно справедливый) упрек, который Андерссон бросает традиционным теориям «перфективности и имперфективности в немецком» («perfektive und imperfektive Aktionsart»), это — неразличение уровней, объединение и смешение под одним названием двух разных семантических оппозиций, принадлежащих разным ярусам языковой структуры (стр. 62 и сл. и в других местах).

О первой из этих двух оппозиций много писали и до работы Андерссона. Это — оппозиция предельности/непредельности (в дальнейшем П/НП), т. е. противопоставление направленности/ненаправленности действия к пределу, или наличия/ /отсутствия границы, с которой соотнесено, к которой «стремится» действие. Андерссон вводит очень удачное немецкое обозначение для предельности — Grenzbezogenheit букв. «соотнесенность с границей, с пределом»,— обозначение, которое точно указывает на суть дела и сразу исключает возможность превратного понимания предельности в смысле достижения, или достигнутости предела действия (стр. 70). Это важно, так как предельность может сочетаться как с достигнутостью, так и с недостигнутостью, отсроченностью предела, т. е. с любым из двух членов второй семантической оппозиции—оппозиции достижения/недостижения предела действия (в дальнейшем — Д/НД).

Разграничение уровней проводится Андерссоном уже внутри первой оппозиции — П/НП. Соответствующие значения могут быть присущи самой глагольной лексеме (собственно — основе глагола, стр. 28), например, в глаголах *trennen* «разделить» и «разделять» (П) и *tragen* «нести» и «носить» (НП). Это — лексематическая П/НП, выступающая как способ действия. Но наряду с предельными и непредельными выделяется обширная группа лексематически нейтральных глаголов (стр. 32). В зависимости от наличия или отсутствия дополнений и обстоятельств и от их характера действие этих глаголов оказывается то предельным, то непредельным. Ср. *gehen* с указанием цели движения (куда?) — «идти/пойти» (П) и с простым указанием места осуществления движения (где?) — «идти» или «ходить» (НП). Общеизвестные критерии П/НП (семантика причастия II переходных глаголов, возможность/невозможность атрибутивного употребления причастия II непереходных глаголов и т. д.) подтверждают правильность выделения группы глаголов с меняющимся значением предельности.

Там, где П/НП выявляется лишь на уровне словосочетания, Андерссон говорит о «рекциональной П/НП» (стр. 35), причем в зависимости от сложности контекста он различает две ступени рекциональной предельности. Первая ступень связана с обязательными валентностями глагола, с наличием при глаголе одного дополнения или обстоятельства. Вторая ступень имеет место там, где для выявления предельного характера действия требуется более чем одно дополнение или обстоятельство, например, *den Wagen auf den Hof ziehen* «вытаскивать/вытащить повозку на двор» (в отличие от непредельного *den Wagen ziehen* «тащить повозку»). Значение П могут получить в некоторых случаях не только сочетания с лексематически нейтральными, но и сочетания с лексематически непредельными глаголами, ср. *tragen* «нести» (НП) и *den Brief zur Post tragen* «относить/отнести письмо на почту» (П). И напротив, лексематически предельные глаголы могут получить в отдельных специфических случаях значение НП, ср. *finden* «находить/найти» (П) и *Ich finde, daß er recht hat* «Я нахожу, что он прав» (НП).

Наконец, есть случаи, когда значение предельности появляется лишь на уровне сочетания предикатов, например, *Als er dies erfuhr, f r e u t e e r s i c h* «Узнав это, *он обрадовался*» (стр. 48). Но в этих случаях речь идет уже не просто о предельности (= соотнесенности с пределом, маячащим в перспективе), а о реальном достижении предела, что входит в сферу второй акциональной оппозиции, выделяемой Андерссоном.

В специальном разделе описывается воздействие П/НП на времена перфектной группы и на пассив состояния, а также на сочетания с фазовыми глаголами и с некоторыми наречиями (стр. 49—58). При этом Андерссон опирается как на работы Бринкмана и других немецких германистов, так в ряде пунктов на работы советских исследователей (Б. М. Балина и др.). Явления, рассмотренные в этом разделе книги, расцениваются автором и как дополнительные критерии разграничения значений П/НП. Несколько страниц посвящено вопросу о статусе П/НП в системе языка. В согласии с точкой зрения ряда современных аспектологов автор приходит к выводу, что П/НП представляет собой «высшую ступень се-

мантической абстракции в области способов действия» и образует в немецком «грамматически релевантную понятийную категорию» (стр. 62).

Вторая акциональная оппозиция, оппозиция достижения/недостижения предела действия (Д/НД), не проявляется в немецком языке ни на морфологическом, ни на лексематическом, ни даже на рекциональном уровне, а только на еще более высоком уровне — на уровне сочетания предикатов. Достижение предела имеет место в случае, когда действия связаны между собой временной последовательностью, например, *Als er zurückkehrte, fand er ein Telegramm vor* «Когда он возвратился, он нашел телеграмму». Напротив, НД наблюдается в случае параллельного протекания действий, например, *Schmidt, der... von seinem Büro zurückkehrte, merkte nicht, daß er die ganze Zeit gegen den Menschenstrom ging* «Шмидт, который возвращался из своего бюро, не замечал, что он все время идет навстречу людскому потоку» (стр. 63). «Понятийная категория Д/НД» опирается, таким образом, на определенные типы соотношений между данным действием и другими окружающими действиями, она создается этими соотношениями и немыслима вне их. В немецком языке именно понятийная категория Д/НД (а не категория П/НП) оказывается «семантическим соответствием важнейшего функционального различия русских видов» (стр. 65).

В самом деле, предельный глагол *zurückkehren* выступает в приведенных сейчас примерах то в значении Д, то в значении НД, и соответственно переводится на русский язык то совершенным, то несовершенным видом. Такое же закономерное соответствие Д совершенному, а НД несовершенному виду наблюдается и в других подобных случаях, поскольку речь идет об однократных действиях.

Как показал в свое время Э. Кошмидер, в славянских языках употребление форм вида во многом определяется так называемыми ситуационными типами. Этим термином обозначают типы ситуаций самой объективной действительности, описываемой в соответствующих высказываниях, типы, различаемые по соотношению внутри ситуации между составляющими ее процессами, событиями, состояниями и т. д. Главными компонентами ситуационных типов оказываются «Währen», т. е. продолжающееся (еще протекающее в соответствующий момент времени) действие или состояние, и «Eintritt», т. е. наступление чего-то нового. «Währen» передается формами несовершенного, а «Eintritt» (кроме случаев многократности) формами совершенного вида.

Андерссон использует теорию ситуационных типов, справедливо считая, что в межъязыковых сопоставлениях и, в частности, при анализе переводов «важен именно учет внеязыковой ситуации, о которой идет речь» (стр. 192). Он подчеркивает, что понятия Кошмидера содержательно совпадают с понятиями Д/НД: «Eintritt» всегда связан с достижением предела действия, а «Währen» обязательно предполагает отсутствие достижения предела (стр. 193). На этой базе и возникает то регулярное семантическое соответствие, о котором шла речь выше,— соответствие между понятийной категорией немецкого и морфологической категорией русского языка. В иных типах контекстов, в частности при обозначении многократных действий, в так называемом изолированном типе и т. д., вступают в силу специальные закономерности и наблюдаются иные типы соответствий.

В общем, как отмечает Андерссон, «при переводе русского текста на немецкий язык для интеллектуального понимания содержания..., как правило, не требуется компенсировать нехватку категории вида в немецком добавлением какого-либо нового языкового материала, отсутствующего в подлиннике... Та специфическая разновидность, в которой выступает действие, отмеченная в русском тексте формой вида, обычно оказывается интуитивно понятной для немецкого читателя, так как аспектуальный характер действий, обозначенных глаголами (их принадлежность к „Währen“ или к „Eintritt“), отчетливо вытекает из типа описываемой ситуации» (стр. 198). Существенно и то, что «аспектуальный характер действий» часто бывает обозначен в русском тексте не только с помощью категории вида, но и с помощью других языковых средств (наречий, союзов и т. д.), взаимодействующих с глаголом и получающих в немецком переводе точные лексические соответствия (стр. 200). Сами же ситуационные типы, будучи внеязыковыми, являются вполне привычными и для говорящих на немецком языке, так сказать «общим духовным достоянием» носителей обоих языков. В итоге «отсутствие категории вида в немецком языке не создает в большинстве случаев трудностей для переводчика» (стр. 199) и не нарушает адекватности перевода. С трудом передаваемыми или вовсе невоспроизводимыми в немецком переводе оказываются лишь те коннотации, которые возникают в русском тексте в условиях так называемой конкуренции видов (т. е. когда денотативное содержание высказывания допускает использование любого из двух видов и в игру вступают дополнительные нюансы значения).

Таковы основные положения концепции, развиваемой Андерссоном. В книге есть также историографические и обзорно-критические разделы. Самый большой из них (стр. 72—184) посвящен истории исследований в области «акциональности» немецкого и, шире, германского глагола, начиная от Я. Гримма и

вплоть до начала 70-х годов нашего века. В другом разделе (стр. 203—224) содержится обзор работ (З. Е. Роганової и др.) о способах передачи значений славянских видов в немецком. Отдельные историографические экскурсы включены и в другие главы книги. Любопытен небольшой параграф, посвященный терминологии предельности/непредельности, и сопоставительная таблица терминов (стр. 71), предложенных разными учеными XIX и XX вв. для обозначения соответствующих понятий.

Переходя к критическим замечаниям, укажем, что в рецензируемой книге стоило уделить больше внимания конструкциям типа *daran (dabei) sein, den Brief zu schreiben*; *am (beim) Schreiben sein*; *in Schreiben begriffen sein* и т. п. Андерссон видит в этих оборотах — кажется, правильно — выражение предельного действия с недостигнутым пределом (можно добавить: или непредельного действия в процессе его протекания, «im Währen»); но касается он этих фактов лишь вскользь (см. стр. 97—98, 115—116, 204). А между тем это своего рода зачатки конкретно-процессного вида, аналогичного английскому *прогрессиву (Continuous)*. Развитие функционально сходных (хотя структурно довольно разнородных) образований характерно для большинства современных германских и романских языков.

Андерссон безусловно прав, подчеркивая различие между оппозициями П/НП и Д/НД и всячески отделяя одну оппозицию от другой. Но есть и другая сторона дела, которая осталась в тени. Между оппозициями П/НП и Д/НД существует и определенная связь, определенное иерархическое отношение: вторая оппозиция функционирует только в рамках первого члена первой оппозиции, т. е. в рамках предельности. Именно поэтому в славянских языках непредельные глаголы принципиально оказываются одновидовыми, глаголами imperfectiva tantum. И это естественно: там, где нет предела, не может быть и достижения предела.

Высказанному сейчас положению не противоречат примеры вроде приведенного выше *Als er dies erfuhr, f r e u t e e r s i c h*. В этих случаях благодаря специфическому сочетанию предикатов возникает значение направленности на предел, реализующееся как достижение предела: глагол, нормально обозначающий непредельное состояние («радоваться»), становится обозначением начала, наступления этого состояния. Несколько иную картину наблюдаем в редких примерах из художественной литературы (см. стр. 63 и 64) вроде *Kennedek s c h l i e f g l e i c h, er war ganz erschöpft* (А. Зегерс) «Кеннедек *сразу заснул* (букв. спал), он был совершенно измотан». Здесь необычное сочетание глагола состояния и обстоятельства мгновенности служит своего рода стилистическим приемом. Писатель подчеркивает моментальность засыпания очень усталого человека, как бы сводит к нулю этап засыпания и, «перешагнув» через этот этап, показывает нам героя уже вполне спящим. По-русски можно было бы сказать: «спустя секунду, он уже спал».

В целом рецензируемая книга вносит заметный вклад в разработку проблем германской и сопоставительной аспектологии. Безусловно перспективным следует признать проведенное Андерссоном разграничение понятий лексематической и рекциональной предельности и двух ступеней внутри последней, как и вообще разграничение разных уровней реализации аспектуальных значений в таком «безвидовом» языке, каким является немецкий. Существенно выделение понятийной категории Д/НД и выяснение условий ее функционирования и линий ее содержательного соответствия славянским видам. Книга написана очень ясно и отчетливо. Ее можно рекомендовать как германистам, занимающимся вопросами грамматики и семантики, так и аспектологам разных конкретных специальностей и вообще всем, кто интересуется проблемами сопоставительного изучения языков.

Ю. С. Маслов

***А. Граннес.* Просторечные и диалектные элементы в языке русской комедии XVIII века.** — Bergen — Oslo — Tromsö, Universitets forlaget. 283 стр.

Вышедшая в Норвегии книга известного норвежского слависта А. Граннеса «Просторечные и диалектные элементы в языке русской комедии XVIII века» представляет собой серьезное и интересное исследование очень важного в истории русского литературного языка периода — периода его становления и формирования. Она посвящена описанию просторечных и диалектных особенностей в фонетике и морфологии языка комедий и комических опер второй половины XVIII в. Нельзя не приветствовать выбор темы норвежским ученым: А. Граннес обращается к одному из наиболее сложных и неразработанных вопросов в истории русского литературного языка. Если изучение предшествующих периодов русского языка привлекало многих исследователей, то литературный язык XVIII в., несмотря

на активизацию интереса к нему в последнее десятилетие, все еще остается недостаточно изученным. Что же касается фонетических и морфологических особенностей языка XVIII в., то они были почти не исследованы. Надо подчеркнуть, что предметом своего изучения А. Граннес делает произведения «низкого» стиля, т. е. того стиля, в котором получили отражение особенности разговорного языка XVIII в., тем самым значительно усложняет свою задачу, так как именно в произведениях «низкого» стиля в сложной борьбе различных стихий вырабатывались и складывались нормы современного литературного языка.

А. Граннес избирает в качестве источников своего исследования комедии писателей преимущественно второклассных, полагая, что языковые особенности определенного периода (в особенности, если речь идет о диалектизмах и просторечии) отражаются не в произведениях мастеров художественного слова, писателей-классиков, а у писателей невыдающихся, средних. Исключение составляют комедии Фонвизина, Сумарокова и Капниста. Таким образом, А. Граннесом исследован язык 40 комедий и комических опер (начиная с трех комедий А. П. Сумарокова 1750 г. и кончая комедией В. В. Капниста «Ябеда» 1798 г.).

А. Граннес исследует те фонетические и морфологические особенности, которые он определяет как «style markers», т. е. диалектные и просторечные особенности, употреблявшиеся писателями при изображении языка героев из народа. По его словам, предметом изучения становятся фонетические диалектизмы, а из морфологических — особенности диалектного характера и те, которые встречались в произведениях, язык которых близок к народной речи. Объектом исследования автора, таким образом, становятся явления, которые в силу своей диалектности могли применяться в характерологических функциях (стр. 17), явления литературного языка, признаваемые «низкими» в грамматических трудах изучаемой эпохи; явления литературного языка, не признаваемые «низкими», но характерные для жанров, язык которых близок к народной речи, и неосознанные диалектизмы. При отборе этих явлений автор опирался на грамматические сочинения XVIII в. [1], отзывы современников (писателей, поэтов XVIII в.), работы XIX—XX вв. [2], а также на данные современных русских диалектов. Помимо этого, А. Граннес постоянно обращается к современным исследованиям по истории русского языка, орфоэпии, диалектологии и т. п. Тщательность, добросовестность и осторожность при описании изучаемых языковых особенностей позволяют А. Граннесу в основном дать правильную оценку различным языковым фактам.

Рецензируемая книга привлекает большим тщательно собранным и разносторонне интерпретированным материалом, свободной ориентацией в научной литературе вопроса, самим подходом к анализу изучаемых явлений.

Несомненной заслугой автора является четко выраженная тенденция историзма в исследовании. Для А. Граннеса характерен последовательный показ динамики изучаемых явлений, что проявляется: а) в использовании материала, в интерпретации суждений, представленных в лингвистической литературе; б) в том, что изучаемые явления рассматриваются с позиций грамматической нормализации русского литературного языка XVIII в. (в их постепенном изменении). Широкое привлечение данных грамматик XVIII в., высказываний писателей и ученых того времени позволяет видеть изменения в употребительности и стилистической отнесенности явлений внутри периода; в) в том, что приведенные автором языковые факты XIX и XX вв. дают представление об исторической перспективе развития того или иного явления.

Трудности на избранном автором пути значительны. Они объясняются и характером исследуемого материала и малой изученностью русского языка XVIII в.

Почти полная неисследованность народных говоров русского языка XVIII в. предопределила выбор ретроспективного метода установления диалектной прикрепленности фонетических и морфологических явлений. Суммируя квалификации

[1] Широко привлекая данные из «Российской грамматики» М. В. Ломоносова (1755), автор использует также работы: А. А. Барсов, Грамматика Российская. Рукопись ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; А. Д. Байбаков, Грамматика, руководствующая к познанию славено-российского языка, Киев, 1794; Е. Б. Сырейщиков, Краткая российская грамматика, изданная для народных училищ..., СПб., 1787; В. Е. Адодуров, Anfangs-Gründe der Russischen Sprache, СПб., 1731; M. Groening, Российская грамматика Thet är *Grammatica russica eller Grundelig handledning til ryska språket*..., Stockholm, 1750, и др.

[2] См. обширный круг работ в библиографии (стр. 251—269). В книге неоднократно приводятся материалы и мнения, почерпнутые из работ: С. И. Котков, Южновеликорусское *наречие в* XVII столетии, М., 1963; П. С. Кузнецов, Очерки исторической морфологии русского языка, М., 1959; F. Cocron, La langue russe dans la seconde moitié du XVII-e siècle (Morphologie), Paris, 1962; B. O. Unbegaun, La langue russe au XVI-e siècle (1500—1550), I—La flexion des noms, Paris, 1935, и др.

изучаемых диалектных явлений в работах XIX—XX вв., автор в ряде случаев уточняет их данными русского языка XVIII в.[3] Приходится, однако, сожалеть, что автором не используются диалектные записи XVIII в., частично отразившие фонетические особенности народных говоров, а также некоторые публикации начала XIX в.[4]. Вероятно, тогда невозможен был бы ошибочный подход к некоторым речевым партиям комедий, как к своеобразным диалектным записям, ощущающийся в ряде случаев в работе А. Граннеса.

Среди явлений фонетических А. Граннес рассматривает аканье, оканье, иканье, яканье, еканье, совпадение заударных *а*, *о* и *ы* в одном звуке, цоканье, дзеканье, произношение возвратной частицы *ся*, *сь* с твердым *с*, стяженные формы глаголов, прилагательных и притяжательных местоимений, утрату интервокального *в* (*голоушка*, *дегушка*), местоимения типа *те*, *тя*, произношение *х* на месте *ф*, произношение окончаний глаголов *-шься* как *-сся* и некоторые другие явления. Исследованные материалы позволяют автору опровергнуть утверждение Р. Якобсона о том, что писатели XVIII — начала XIX в. для воспроизведения народного языка использовали исключительно севернорусские диалектизмы[5]. В своей работе А. Граннес показывает, что с целью языковой характеристики персонажей писатели пользовались небольшим набором фонетических особенностей; причем среди них отмечаются как севернорусские, так и южнорусские особенности.

Из морфологических явлений А. Граннес рассматривает такие, как род.-предл. падеж на *-у*, им.-вин. падеж существительных *име*, *семе*, род. падеж ед. числа без наращения *-ен-* у существительного *время*, твор. падеж *дочью* от *дочь*, им. падеж мн. числа *крестьяна*, *крестьяне* и т. п., им. падеж мн. числа существительных *ребяты*, *семяны*, *училищи*; род. падеж мн. числа на *-ев*, *-ов* у существительных ср. и жен. родов, сравнительная степень прилагательных на *-ае*, *-яе*, *-яй*, *-яя*, *-ея*; диалектные формы местоимений *тобе*, *собе*, *ёну*, *оны*, *вси* и некот. др. Рассмотрены такие особенности глаголов, как окончание *-ут*, *-ют* у глаголов II спряжения, формы типа *глядь*, *прыг*, многократные бесприставочные глаголы, инфинитив на *-ти* (безударное), деепричастия на *-учи*, *-ючи*, *-мши* (*взямши*), *-дчи* (*пришодчи*).

С особым интересом читаются те страницы книги, где речь идет о явлениях, отражающих общую разговорную речь эпохи. Автор рассматривает их в перспективе развития литературного языка, т. е. в отношении к складывающейся литературной норме. Тот факт, что особенности разговорного языка попали в книгу, едва ли следует считать просчетом автора. Стилистическая квалификация языковых особенностей XVIII в. ввиду особой сложности этого периода и наличия в литературном языке того времени фактов неустановившихся, переходных вообще представляется весьма затруднительной. Необходимо отметить в то же время, что исследование именно таких особенностей является очень важным и сложным. Ведь история их на протяжении XVIII в., как уже отмечалось, связана со становлением, формированием литературной нормы, окончательно сложившейся к XIX в. и дожившей до наших дней. Сказанное касается таких явлений, как совпадение заударных *а*, *о* и *ы* в одном звуке, произношение частицы *-ся* в глаголах, род.-пред. падеж существительных на *-у*, окончание *-ут*, *-ют* в 3-м лице мн. числа у глаголов II спряжения. Как известно, С. П. Обнорский считал флексию *-ут*, *-ют* у глаголов II спряжения диалектной для XVIII в. Однако приводимые им материалы начала XIX в.[6], а также тот факт, что до недавнего времени указанное окончание было литературной нормой, скорее говорит о том, что такое произношение в XVIII в. было особенностью разговорного языка. Это подтверждают и материалы, представленные в книге А. Граннеса: окончания *-ут*, *-ют* не использовались писателями с целью языковой характеристики (стр. 218). Предупреждение Н. Греча против написаний в глаголах окончаний *-ут*, *-ют* вместо *-ат*, *-ят* красноречиво свидетельствовало об укоренившемся в начале XIX в. соответствующем произношении[7].

Особой полнотой и аргументированностью выделяется раздел об употреблении существительных муж. рода ед. числа в род. и предл. падежах с окончанием *-у*. Формирование этой особенности современного русского литературного язы-

[3] См. использование материалов книги: С. И. Котков, Н. П. Панкратова, *Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII — начала XVIII века*, М., 1964, и др.

[4] См., например: И. Глушков, *Ручной дорожник для употребления на пути между императорскими всероссийскими столицами, дающий о городах, по оному лежащих, известия исторические, географические и политические; с описанием обывательских обрядов, одежд, наречий и видов лучших мест*, СПб., 1801; *2-е изд.— СПб., 1802*.

[5] См.: R. Jakobson, Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves, TCLP, 2, 1929, стр. 94.

[6] *С. П. Обнорский*, *Очерки по морфологии русского глагола*, М., 1953, стр. 147.

[7] Н. Греч, Практическая русская грамматика, СПб., 1827, стр. 526.

ка, имеющей своим источником общую разговорную речь, прослеживается с XV—XVI вв. Автор знакомит читателя с результатами большой и тщательной работы. Приведя список из 175 существительных муж. рода, употреблявшихся в XVIII в. в комедиях в род. падеже с окончанием *-у*, А. Граннес систематически отмечает также случаи употребления их с окончанием *-а*. Эти данные автор пополняет сведениями, взятыми из работ других исследователей (Б. Унбегауна, Хр. Станга, Ф. Кокрона, Х. К. Сёренсена, П. Я. Черных, Е. П. Гарбузовой и др.). В результате приведения таких полных и исчерпывающих сведений автор делает вывод о широком употреблении окончания *-у* в русском разговорном языке второй половины XVIII в. и опровергает на этом основании утверждение английского исследователя Д. Уорда о том, что окончание *-у* в XVIII в. употреблялось реже, чем в XV и XVI вв.

Другие наблюдения А. Граннеса сводятся к следующему: формы род. падежа на *-у* образовывались исключительно от существительных муж. рода неодушевленных; большую часть их составляют существительные с отвлеченным значением; на втором месте стоят существительные вещественные и собирательные; существительные, обозначающие время, место и единичные предметы, подлежащие счету, составляют незначительное количество. Наличие довольно большого числа недавних заимствований среди общего количества слов с окончанием *-у* свидетельствует о том, что это окончание было живой и развивающейся особенностью разговорного языка XVIII в. Автор устанавливает также, что родительный партитивный на *-у* был в ту пору лишь одним из различных применений этой формы. Окончание *-у* употреблялось в ряде определенных синтаксических конструкций. Почти половину примеров составляют предложные конструкции: чаще всего это окончание встречается в конструкциях с предлогами *с*, *от*, *без*, *из*, *до*; изредка — с предлогами *после*, *кроме*. Очень часто окончание *-у* употребляется во фразеологических сочетаниях и оборотах (*с голоду умереть*, *без умыслу*, *с часу на час*), отрицательных конструкциях (*меду нет*).

Нельзя не сказать, что выводы автора были бы более убедительны, если бы они были подкреплены материалами из памятников различных жанров и разной стилистической тональности, без чего невозможно правильное соотнесение языковых явлений со стилями и жанрами и адекватное действительности представление о роли разговорной речи в процессе формирования русского литературного языка. По нашим наблюдениям, форма род. падежа ед. числа существительных мужского рода на *-у* характерна для памятников «низкого» и среднего стилей середины века и простого стиля конца века. См., например, в «Лексиконе» Волчкова 1755 г.: «Il y a cent ecus de bon... Сто талеров выигрышу, прибыли» (ч. 1, стр. 275), в «Материалах для комиссии об уложении» 1768 г.: «Из духовных можно дозволить сенаторами быть без выбору архиереям» (Зап. АН, VII, № 4, 1905, стр. 5), в «Полном своде законов Российской империи»: «Купленную у помѣщика Верещагина деревню и земли,... по недостатку в Тулѣ городскаго выгону... приписать к Богородицкой волости» (т. 22, 1784, № 16101, стр. 261), в переводе свифтовского «Путешествия Гулливера»: «Есть ли вооруженные люди будут всѣ такого же росту...» (кн. 1, 1772, стр. 12) и др.

Исследуемое явление, таким образом, выпадает из круга style markers, хотя связь его с общей разговорной речью в XVIII в. ощутима довольно отчетливо. Квалификацию этого явления как южнорусского (стр. 152) следует понимать как указание на источник происхождения. Для изучаемого периода это факт общей разговорной речи.

История данных форм, убедительно изложенная А. Граннесом, опровергает общий вывод автора о том, что элементы старого разговорного языка, проникшие в русский литературный язык XVIII в., уступили место нормализованным (церковнославянским) формам (стр. 244). Значение исследования этого явления в рецензируемой книге и важность всех других выводов автора не подлежат сомнению. Можно без преувеличения сказать, что теперь историю форм род.-предл. падежа на *-у* в XVIII в. невозможно представить без учета работы А. Граннеса.

Изучение русского языка XVIII в. на фундаментальном материале показало, что ему свойственны противоречивость тенденций развития, различная, часто противоположная, направленность языковых процессов. Исследователь сталкивается здесь с известной функциональной нечеткостью, когда вырисовываются лишь тенденции к передвижению языковых явлений из одной сферы функционирования в другую. В пределах литературного языка это проявляется в незавершенности отбора явлений различными оформляющимися функционально-стилистическими категориями, в обилии промежуточных языковых групп.

При общей весьма положительной оценке рецензируемой работы нельзя не сделать некоторые замечания, касающиеся в основном частностей, деталей. Не может не вызвать удивления вывод А. Граннеса в конце книги, в котором он присоединяется к мнению Б. Унбегауна о том, что все рассмотренные им фонетические и морфологические особенности «в основной своей массе» вышли из употребления в литературном языке и уступили место «нормализованным», т. е. церковнославянским. Такой вывод никак не вытекает

из тщательного и добросовестного анализа материала книги, а напротив находится в явном противоречии как с материалом, так и с собственными рассуждениями автора. Обсуждение мнения Б. Унбегауна — за пределами данной рецензии. Скажем лишь, что позиция А. Граннеса, изложенная в предисловии, убедительно опровергает концепцию Б. Унбегауна, отождествлявшего современный русский литературный язык с языком старославянским. Не случайно А. Граннес приводит в предисловии слова Тредиаковского о переводе им сочинения «Езда в остров любви». Тредиаковский пишет, что это сочинение «не славенским языком перевел, но почти самым простым русским словом, то есть каковым мы меж собой говорим». Далее он объясняет, почему он это делает: «Сие я учинил следующих ради причин. Первая: язык славенской у нас есть язык церковной; а сия книга мирская. Другая: язык славенской в нынешнем веке у нас очюнь темен, и многия его наши читая не разумеют» [8].

Автора можно упрекнуть в несколько буквальном восприятии тех языковых фактов, с которыми он встречается в текстах комедий. Иногда создается впечатление, что для А. Граннеса текст художественного произведения — это обычная диалектная запись («фиксации дзеканья в репликах „мужиков“», стр. 78), между тем как в этом случае речь должна идти о художественном приеме комедиографа. Уместно вообще предостеречь автора от «несколько формальной», по выражению С. И. Коткова [9], или побуквенной интерпретации написаний XVIII в. Думается, что в таких случаях А. Граннес принимает за диалектное явление грубое изображение средствами орфографии нормального литературного произношения. Вероятнее всего, здесь мы встречаемся с тем художественным приемом, о котором пишет П. Гиро: «Если в романе написана фраза: „un p'tit ch'min ou Mad'moisel' Julie“, то имеется в виду воспроизведение вульгарного говора, хотя подобное написание вполне соответствует совершенно нормальному и правильному произношению» [10]. Приведем лишь два примера такого явления: первый — это отражения иканья в заударных слогах (стр. 64). Ссылаясь на грамматистов XVIII в., А. Граннес считает его диалектным. Однако А. А. Барсов и А. Д. Байбаков осуждают только написание с *-и* на месте *-е*, но ничего не говорят о таком произношении. Между тем написание с *-и* могло отражать разговорное произношение XVIII в., на что указывает приведенное в книге свидетельство А. А. Шлецера. В особенности это касается произношения суффикса *-еньк-*, орфография которого не была еще установленной и в начале XIX в. Еще Н. Греч в своей грамматике отказывался от установления какого-либо единого написания в собственных именах на *-еньк-* [11]. Ср., например, у Пушкина в «Бове»: «Чу! бьет полночь — Что же Зоинька?». Теперь, после выхода в свет книги С. И. Коткова, наличие иканья в московском разговорном языке XVII в. можно считать доказанным [12]. Второй пример касается произношения частицы *-ся* в глаголах. Автор считает твердое произношение *с* в этой частице не литературным для XVIII в. Известно отрицательное отношение к такому произношению Барсова, Байбакова и Тредиаковского. Но собственно их оценка рассматриваемого факта свидетельствует об укоренившемся обычае произношения частицы с твердым *с* (ср. слова Тредиаковского: «многие не токмо говорят, что простительнее, но и пишут»). Характерно написание частицы *-ся* в комедии «Судьба деревенская» Пракудина-Горского: здесь написание *-са*, *-тца* встречается наряду с традиционным в речи одного и того же лица (и не только в речи крестьян, но и помещиков). Как известно, произношение частицы с твердыми согласными в инфинитиве и в 3-м лице ед. и мн. числа является современной литературной нормой (*бояться*, *драться*, *пасется*), произношение частиц *-ся*, *-сь* в личных формах глаголов и в деепричастиях (*вижусь*, *стучась*) с твердым *с* также было нормативным до самого последнего времени [13]. О складывавшейся в XVIII в. современной литературной норме произношения говорят пушкинские рифмы: *Денис — убрались* («Казак»), *зажглись — Дафнис* («Рассудок и любовь»), *час — постучась* («Мечтатель»), *час — свободясь* («К Батюшкову»), *рассердясь — глас* («Тень Фонвизина»), *вкус — признаюсь* («Городок») и др.

Автор не прав, когда квалифицирует севернорусские стяженные формы притяжательных местоимений типа *мово*, *моему* как не имеющие определенной диалектной принадлежности (стр. 105). Та-

[8] Сочинения Тредиаковского. Изд. А. Смирдина, 3, СПб., 1849, стр. 649.

[9] С. И. Котков, Московская речь в начальный период становления русского национального языка, М., 1974, стр. 56.

[10] P. Guiraud, Le français populaire, Paris, 1965, стр. 96.

[11] В «Практической русской грамматике» он писал: «Уменьшительные собственные имена пишутся различно, по прихоти употребления: например, *Лизанька*, *Катенька*, *Сашенька*, *Машенька*, *Олинька* и т. п.» (стр. 513).

[12] С. И. Котков. Московская речь в начальный период становления русского национального языка, стр. 92—97, стр. 283.

[13] См.: Р. И. Аванесов. Русское литературное ударение и произношение, М., 1955, стр. 563, 568.

кой определенной квалификации могли бы не получать формы возвратных глаголов на *-ся* (из *-шься*) (стр. 105) [14].

Рассматриваемые А. Граннесом многократные глаголы с суффиксами *-ыва-*, *-ива-*, также свойственные общей разговорной речи XVIII в., в данный период обнаруживают тяготение к функционально-стилистической категории — просторечию и довольно часты в памятниках различных жанров и стилей. См., например, в переводе «Путешествия Гулливера» Свифта: «*Такого прекрасного зрѣлища я никогда не видывал*» (кн. 1, 1772, стр. *30*) или у Аничкова: «*Ибо часто* мы воображаем в мыслях своих золотыя гóры, а в *самой вещи никогда не видывали таких*» («Слово о разных причинах», М., 1774, *стр. 86*), *также* у Зуева: «Я еще такой большой ‹змеи› не видывал («Путешествие. Записки от СПб. до Херсона», 1781—1782, стр. 48), у Дмитриева: «Ах! я такого дня не видывал давно» («Чижик и зяблица», Соч., 1, 1803, стр. 86). Именно поэтому их также не следует относить к явлениям style markers.

Итак, в книге А. Граннеса нашли отражение фонетические и грамматические явления: диалектные, просторечные и явления живого разговорного языка XVIII в. Описание их, выполненное тщательно и добросовестно, с учетом всей имеющейся литературы, нередко с выходом за границы XVIII в., представляет безусловный интерес как для историков языка, так и для диалектологов. Добавим к этому, что книга А. Граннеса написана по-русски, в целом (за исключением редких стилистических погрешностей) хорошим русским языком. Ее с интересом и пользой для себя прочтут все исследователи русского языка.

Г. П. Князькова, О. Д. Кузнецова

[14] См.: «Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров», М., 1970, стр. 117, карта 33.

Т. А. Бертагаев. **Лексика современных монгольских литературных языков** (на материале монгольского и бурятского языков). — М., «Наука», 1974. 384 стр.

В течение многих лет автор книги весьма продуктивно занимается диалектной и литературной лексикой монгольских языков. В его новой монографии на большом фактическом материале прослеживаются способы и средства образования новых слов и терминов в бурятском и монгольском языках. Следует, впрочем, заметить, что название работы несколько шире ее содержания, ибо в ней не рассматриваются синонимы, омонимы и другие лексические группы слов, лексика не рассматривается с экспрессивно-стилистической точки зрения и т. д. Однако прежде чем перейти к авторской трактовке лексического строя современных монгольских литературных языков, необходимо коротко остановиться на двух общетеоретических положениях, затронутых во введении к книге.

Во введении автор высказывает взгляд на естественный язык, как на незнаковую в своей основе систему.

Восхождение гоминидов до состояния человека, по новым данным, длилось не менее полутора или двух миллионов лет. И Т. А. Бертагаев пишет, что, возможно, понадобились сотни тысяч, может быть и миллион, лет для того, чтобы доречевые звуковые комплексы гоминидов в процессе постепенного их очеловечения перерастали в языковые единицы.

Как известно, диалектический материализм исходит из того, что ощущения, восприятия, представления, понятия суть приблизительные копии, снимки, образы объективной реальности. Однако этого никак нельзя утверждать в отношении языка в целом. Если значение в той или иной степени является образом, копией действительности, то звуковая, материальная сторона языка, звуковая сторона языковых единиц не имеет ничего общего с обозначаемыми предметами, т. е. является знаковой по своему характеру. Но в отличие от искусственных знаков знаковая сторона языковых единиц исторически обусловлена, мотивирована.

Во введении имеется и другое интересное теоретическое положение. Как известно, часть языковедов считает, что слово обозначает только понятие. По Т. А. Бертагаеву же, значение слова может передавать и чувственный образ, и представление, и категории мышления — понятия и суждения. Слово в своей исходной позиции отражает что-либо единичное, например, какой-нибудь характерный признак данного явления. Это единичное выражает и общее. Но обобщение через единичное, конкретное не всегда вначале может быть понятийным, т. е. это первичное обобщение может граничить и с представлением. Автор намечает ступени обобщения: узуальное > дискурсивное > научно-логическое, соответствующее научному понятию. Если первые две ступени обобщения представляют собой развитие значения по горизонтали, то научное понятие — это развитое обобщение, ведущее в глубину. В этой связи, на наш взгляд, автор, солидаризуясь с В. З. Пан-

филовым, справедливо считает, что в так называемых образных словах есть абстракция, *«но в них едва ли можно обнаружить строго логически выдержанное понятие»* (стр. 23).

Во введении же автор рассматривает внешние и внутренние факторы развития лексики. К экстралингвистическим факторам, повлиявшим на развитие словарного состава монгольского и бурятского языков, он относит: 1) послереволюционные изменения во всех сферах жизни; 2) заимствование слов из русского языка, особенно советизмов; 3) наличие или отсутствие последовательно и систематически организованной работы над созданием терминов на научной основе. Как указывает Т. А. Бертагаев, в отличие от МНР в Бурятии терминологическая работа была слабо организована (стр. 6 и 29). Это мнение мы считаем не совсем справедливым. Хотя в Бурятии эта работа не велась с таким большим размахом, в годы интенсивного языкового строительства на терминотворчество здесь обращалось достаточно большое внимание. В связи с переводами на бурятский язык произведений классиков марксизма-ленинизма, материалов съездов и пленумов, учебной и научно-популярной литературы практиковалось коллективное обсуждение терминов, они публиковались в газетах, бюллетенях и словарях. Тот факт, что в настоящее время в бурятском языке имеется вполне установившаяся терминология, является одним из существенных результатов развития бурятского языка в советскую эпоху. Следует заметить, что в 1974 г. в Улан-Удэ образована республиканская терминологическая комиссия при Президиуме Верховного Совета Бурятской АССР, которая развернула активную деятельность.

К внутрилингвистическим факторам, воздействующим на развитие лексики, автор относит: 1) разносоставный характер словарного фонда и деривативных аффиксов монгольского и бурятского языков; 2) постепенное развертывание значения слова по историческим звеньям. Корни в этих языках в основном общие, но расхождения в производной лексике все более увеличиваются и составляют ныне не менее 50% всего словарного состава. Несмотря на наличие в работе некоторых неудачных примеров (*тас* «гриф», *янгир* «горная коза», *гурэн* «государство»), в целом нам кажется, что экстралингвистические, внутрилингвистические и промежуточные (влияние классического монгольского языка, а также диалектные основы литературных языков) факторы, способствующие развитию лексики, определены применительно к монгольским языкам верно.

В первой главе «Семантические изменения», сравнивая значения одних и тех же слов в близкородственных бурятском и монгольском языках, автор прослежи*вает сдвиги, изменения в значениях,* постепенное их развертывание.

В вводной части главы формулируется ряд теоретических положений о типах семантических изменений. Прежде всего здесь дается определение понятия «значение». «Значение, таким образом, есть трансформированное в процессе общения людей и реализованное в нем адекватное или приближенное отражение в общественном сознании дискретных элементов действительности, их связей и взаимоотношений» (стр. 35). Автор исходит из того, что необходимо строго дифференцировать значения слова, проявляющиеся в минимальном или максимальном контекстах. Как поясняет автор, «первые зависимы, они синтаксического, а вторые — лексического уровня» (стр. 36). Автор считает омонимами все те значения, которые осуществляются до речевого общения, т. е. до предложения и фразовых сочетаний. Отсюда делается вывод о том, что «слово может не только обновляться, но и зарождаться на основе семантических изменений, оставляя нетронутой свою фонетическую структуру» (стр. 37). Далее формулируется закон цепного развития значений слов, суть которого в том, что в ходе постепенного наращения и развертывания того или иного значения в слове образуется диахронная цепь значений из ее синхронных узловых, семантических звеньев. Исследование изменений значения слова по семантической цепи ведется в тесной связи с рассмотрением экстра- и внутрилингвистических факторов. Так, слово *хот, хотон* первоначально имело значение «загородка для овец», «загороженное место», «круг». Пройдя через ряд промежуточных звеньев, это *слово в монгольском языке* приобретает значение «город», а в бурятском *оно застыло в своем первичном* значении «хлев», что объясняется особенностями *общественного развития* бурятского и монгольского народов. Автор *объясняет этот факт тем, что буряты не* были затронуты теми переменами в экономической *и культурной жизни,* которые происходили в период формирования *монгольского феодального государства.* Большинство разбираемых в этой главе слов, как утверждает автор, в бурятском языке, особенно в его западных говорах, семантически застывают на начальных стадиях. В случаях, когда подобные слова в бурятском литературном языке или восточных диалектах все же употребляются в позднейших значениях, автор квалифицирует их как заимствования из монгольского языка. Они не могут рассматриваться как результат развития на почве самого бурятского языка, ибо в семантической цепи отсутствуют промежуточные звенья, узлы, которые могли быть опорой в возникновении современных, более отвлеченных значений, завершающих семантическую цепь.

Далее Т. А. Бертагаевым рассматривается изменение значения слов на основе внутрилингвистических факторов, под которыми в данном случае имеется в виду дистрибуция употребления. В разделах этой главы изучаются пути семантического видоизменения: неопосредованные (по автору — диффундированные) и опосредованные (по автору — рефракционные).

В целом следует заметить, что эта глава в теоретическом плане представляет большой интерес. Желательно бы, чтобы еще больше внимания уделялось тем словам, которые переосмыслены в советскую эпоху (*шабы* «ученик; последователь», *нангин* «священный» и др.), хотя этому вопросу посвящена целая подглава.

Вторая глава «Морфологический способ образования слов» написана в традиционном плане. В ней описываются продуктивные именные, глагольные и другие суффиксы, образующие неологизмы. Эта глава насыщена добротным материалом и интересными интерпретациями фактов.

Автор пишет: «Монгольский литературный язык гораздо шире и свободнее пользуется коренными средствами создания новых слов, чем бурятский, и у носителей современного монгольского языка творческая потенция более активная, чем у бурят» (стр. 128). Он считает, что в отличие от монгольского языка создание терминов и неологизмов в Бурятии носит стихийный, спорадический характер, что в бурятском языке не используются морфологические и фонетические слова-варианты в целях дифференциаций их значений, не активизируются многие непродуктивные словообразовательные средства.

Как справедливо указывает Т. А. Бертагаев, буряты в иных случаях предпочитают заимствования оригинальному словотворчеству не потому, что они не хотят полностью использовать свои языковые средства, а ввиду того, что это диктуют общественные условия развития языка. Если бы буряты пошли по пути чрезмерного увлечения оригинальным словотворчеством, это привело бы к перенасыщению языка искусственными образованиями и к отрыву литературного языка от живого языка масс, развивающегося в условиях интенсивного двуязычия. В отдельных случаях целям коммуникации более соответствует заимствованное, а не «свое» слово, перегруженное множеством значений. На стр. 41 книги автор прослеживает переходы и сдвиги значений в слове *хүвь* (монг.), *хуби* (бурят.). В монгольском языке значение «доля, порция» образует филиации: «пай», «дробь», «процент», «штука», «участь, судьба, доля». В свою очередь значение «штука» дает ответвления «экземпляр» и «тираж». Значение «участь» дает развитие «личное», «частное», «удельный вес». Некоторые из этих значений являются терминологическими, и бурятский язык вполне оправданно предпочитает для их передачи заимствованные слова (*дробь*, *процент*, *тираж*).

В третьей главе «Сложные слова» рассматриваются основные типы и виды сложных слов. Как указывается, нарушение акцентологии, фузия, формализация одного из компонентов являются основными причинами появления сложных слов. Вопреки распространенному в монголоведении мнению, автор считает, что сложных слов в монгольских языках довольно много. Он выделяет два основных типа образования сложных слов: 1) основосложение и 2) словосложение. Основосложение — это сращение двух основ, встречается в основном в народном языке (*өтөө бай* «дед» из *өтөгөс авай* «старый отец», *энэдэр* «сегодня» из *энэ удэр* «этот день»). Под словосложением понимается сложение не основ, а слов. Это словосочетания с единым значением, между их компонентами невозможно вставить другие слова. В отличие от фразеологизмов — это номинанты. Фонетически они не слились и пишутся раздельно.

В целом, как кажется, здесь намечен правильный путь выделения сложных слов в монгольских языках. Плодотворным представляется установление различных градаций сложных слов. Сращение — высшая ступень на пути образования сложных слов. Слова, достигшие высшей ступени стяжения, переходят в новое качество и по своим признакам не отличаются от простого слова. Но, как справедливо замечено, в бурятских и монгольских языках таких, подлинно сложных слов мало. Большинство номинантов находится на пути к образованию сложных слов, причем наиболее продуктивным оказывается примыкающее словосложение. Ввиду сказанного, в некоторых случаях границы между словосочетанием и сложным словом, между аналитической формой и сложным словом весьма зыбки.

В четвертой главе «Фонетический способ образования слов» исследуется образование слов посредством чередования звуков. В результате спонтанного чередования образуются однокорневые варианты слов, значительное количество которых приобрели дополнительные смысловые и стилистические различия и стали самостоятельными словами. Такие новые слова (бывшие варианты) Т. А. Бертагаев называет словами-дериватами и подразделяет на две основные группы: 1) слова, отличающиеся друг от друга стилистически, и 2) слова, отличающиеся по смыслу. На первый взгляд кажется, что данная глава построена на бурятском диалектном материале, но при внимательном рассмотрении оказывается, что в ней доминируют факты из монгольского языка.

Последняя, пятая глава называется «Заимствование слов и их адаптация в монгольских языках». Здесь различаются двоякого рода заимствования: 1) квалификативное, т. е. в этом случае в заимствующем языке на разных его уровнях происходит много изменений, 2) квантитативное, не имеющее каких-либо последствий для заимствующего языка, кроме количественного увеличения его словарного состава. Автор устанавливает внешние и внутренние причины заимствования в монгольских языках, много внимания уделяет процессу калькирования и ассимиляции заимствований.

Т. А. Бертагаев справедливо считает, что неологизмы и советизмы сыграли колоссальную роль в качественном обновлении лексики монгольских языков, в усилении их собственных структурно-семантических возможностей, в огромном увеличении валентности слов.

Довольно большое внимание автор уделяет заимствованиям из восточных языков. Как правильно отмечает Т. А. Бертагаев, нередко очень трудно установить: имеем ли мы дело с генетическим или контактным совпадением корней и слов. Поэтому многие этимологические решения оказываются гипотетическими и нередко мало обоснованными. В работе подвергнута критике этимология ряда слов, предлагавшаяся Б. Я. Владимирцовым. Как показывает автор, эти слова имеют разветвленные семантические связи и потому являются исконными. В связи с этим следует добавить, что в последние годы Т. А. Бертагаев интенсивно и весьма успешно занимается и этимологическими изысканиями.

В целом рецензируемая работа, несмотря на наличие отдельных недостатков частного характера, является весьма значительным вкладом в изучение процессов развития и обогащения монгольских литературных языков. Следует отметить высокий теоретический уровень работы, самостоятельность подхода автора ко многим вопросам, критический дух исследования.

У.-Ж. Ш. Дондуков, Л. Д. Шагдаров

«Суффиксальное словообразование существительных в восточнославянских языках XV—XVII вв.»

Авторский коллектив: Е. Н. Прокопович, В. Н. Хохлачева, Н. Т. Шелихова. Отв. ред. акад. В. И. Борковский. Ред. канд. филол. наук В. Н. Хохлачева. — М., «Наука», 1974. 224 стр.

Названная монография входит в серию работ по сравнительно-историческому языкознанию восточнославянских языков, опубликованных Сектором сравнительно-исторического изучения восточнославянских языков Института русского языка АН СССР. Монография посвящена сравнительно-историческому описанию словообразования существительных в восточнославянских языках начального периода их формирования.

В исследовании, как об этом пишут авторы во «Введении», объединены три проблемы методологического характера. Первая из них «включает общие вопросы словообразования, и прежде всего — определения объекта изучения и описания, определения словообразовательной единицы, словообразовательных отношений...»; «вторая проблема связана с понятием исторического словообразования и требует постановки и решения таких вопросов, как определение объекта исторических изменений в системе словообразования»; «третья проблема — это проблема сопоставительного изучения языковых систем... близкородственных языков в их историческом развитии» (стр. 4).

Объектом исследования в работе являются совокупности структурно однотипных слов, отождествляемые с понятием моделей (типов). Словообразовательные типы изучаются со стороны их структуры и функционирования. Описание словообразовательного типа в структурном отношении содержит: а) характеристику производящих основ со стороны их категориальных значений и морфонологического строения; б) определение внутренних отношений производящего и производного; в) общее (словообразовательное) значение производных. Под функционированием словообразовательного типа подразумевается ограниченность/неограниченность образования производных от производящих основ, обусловленных структурой словообразовательного типа.

Анализ исторических изменений словообразовательной системы восточнославянских языков — эта проблема занимает центральное место в исследовании — включает наблюдения над изменением структуры словообразовательных типов (изменение строения производящих основ, появление новых аффиксов, изменения в чередовании на стыках морфем, расширение или ограничение производящих основ, различающихся категориальными или внутрикатегориальными значениями) и их функционированием. В последнем случае устанавливается,

больше или меньше производных возникает по данной модели, раскрываются причины движения в ту или иную сторону. Все подобного рода наблюдения сопровождаются изучением распространенности слов определенной структуры в памятниках разной хронологической соотнесенности. Изучается словообразовательная синонимия. Особое внимание уделяется стилистическому аспекту — жанровой прикрепленности слов различного словообразовательного строения.

Что касается третьей проблемы — сравнительно-исторического сопоставления изучаемых языков, то здесь целесообразной признается необходимость систематического сопоставления явлений категориальных, системных, т. е. тех общих словообразовательных отношений, которые регулируют словообразовательные процессы в восточнославянских языках. Такими отношениями являются отношения категориальных значений взаимодействующих производных и производящих единиц. Эти системные отношения авторы изучают на материале старорусского языка, сопоставляя с тем, что устанавливается при изучении в тех же аспектах старобелорусского и староукраинского языков.

Рубрикация материала (и соответственно структура книги) определяется объективно существующим делением имен существительных на грамматические категории — существительные одушевленные (имена лиц) и неодушевленные (имена действия и имена качества), словообразовательные отношения в пределах которых различны, а также различно функционирование словообразовательных типов, их продуктивность, регулярность и т. д. С другой стороны, деление материала отражает противопоставленность производящих единиц как единиц разных категорий — именных и глагольных: имена действия — отглагольные образования; имена качества — отадъективные; имена лиц, выделенные на основе внутрикатегориальных значений существительных, внутри раздела делятся на отглагольные и отыменные. В разделах материал классифицируется в зависимости от словообразующих морфем — суффиксов. Описание словообразования в старобелорусском и староукраинском языках полностью повторяет схему описания его в старорусском. В заключительной части каждого из разделов подводятся итоги проведенных сопоставлений словообразовательных явлений.

Подобное исследование словообразования, ставящее перед собой столь широкие задачи историко-сопоставительного плана, предпринимается в науке впервые. И хотя авторы рассматривают его только как «заявку» на возможность решения задач, связанных со сравнительно-историческим изучением словообразования близкородственных языков (стр. 9), перед нами вполне законченное, тщательно проведенное исследование, являющееся, несомненно, крупным вкладом в науку об историческом словообразовании.

Исследование строится на огромном материале, выбранном путем сплошной выборки из старорусских, старобелорусских и староукраинских памятников изучаемого периода, список которых включает свыше пятисот названий. (Следует подчеркнуть, что при описании сохраняется полнота фактического материала; она признается необходимой при описании каждого из языков.) Исследованный материал позволяет сделать ряд существенных выводов о развитии словообразования в каждом из рассматриваемых языков, а главное — дает возможность провести сопоставления типологического характера, которые только и возможны на таком обширном материале. Сопоставления эти ведутся в двух планах: 1) в плане сходства и различий материальных средств словообразования и 2) в плане сходства и различий функционирования словообразовательных единиц. Устанавливается значительная типологическая близость всех трех восточнославянских языков, которая достаточно ярко проявилась при изучении их словообразовательных систем.

Типологическая близость обнаруживается прежде всего в том, что те внутренние словообразовательные отношения, которые регулируют продуктивность словообразовательных моделей и различного рода модификации значений производных в пределах их общего словообразовательного значения, не имеют различий в восточнославянских языках.

В отглагольном словообразовании имен лиц, например, типологическая общность восточнославянских языков выразилась в общей закономерности, действующей в направлении размежевания имени и глагола, нацеленной на стирание черт глагольности в производных именах. Для русского языка эта закономерность проявилась, во-первых, в активизации суффикса *-щик* (в обусловленных случаях *-ник*), структурно связанного с основами, формально совпадающими с основами отглагольных имен — бессуффиксальных или на *-ка*; во-вторых, в известных в языке процессах, связанных с эволюцией семантики имен лиц на *-тель* в сторону снижения «глагольности» этих имен. Для белорусского и украинского эта закономерность проявляется в неусвоенности модели образования существительных с суффиксом *-тель* как наиболее «глагольной» и в дальнейшей активизации менее «глагольных» моделей образования имен лиц — с суффиксами *-ник*, *-льник*, *-щик*.

Отыменное словообразование характеризуется общей для восточнославянских языков закономерностью, регулирующей

словопроизводство имен лиц, выражающих в своей семантике значение дифференцированного отношения лица к названному в основе предмету (таким отношением является отношение лица к предмету как объекту воздействия).

О типологическом тождестве свидетельствует и вся система отадъективного словообразования имен отвлеченного качества. Общность развития производящей базы — имен прилагательных, активность словопроизводства имен на *-ость* и их внутренние семантические преобразования сближают восточнославянские языки по общим признакам внутрисистемных отношений.

Изученный материал позволяет сделать вывод и о сходстве материальных средств словообразования в этих языках: звуковом тождестве словообразующих морфем, сопровождаемом их функциональным тождеством. Расхождения касаются в большинстве своем таких явлений, как строение исхода основ, специфика их сцепления с суффиксами — как следствия законов морфонологической и фонетической сочетаемости.

К явлениям, в общих чертах противопоставляющим русский язык белорусскому и украинскому, относятся: ассимиляция русским языком модели образования имен лиц с суффиксом *-тель* и неусвоенность ее белорусским и украинским; сравнительно ранняя известность (XIII в.) модели образования имен лиц с суффиксом *-щик* (белорусскому и украинскому она стала известна не ранее XVII в.).

При общности в функционировании моделей в восточнославянских языках для русского языка характерны более интенсивные процессы в системе отглагольного и отыменного словообразования существительных. Так, усвоение системой отглагольного словообразования суффикса *-тель* и включение в нее суффикса *-щик* вело к известным перестройкам в словообразовании имен лиц в целом, что было неизвестно ни белорусскому, ни украинскому языкам. Синонимические взаимодействия суффиксов *-ость*, *-изна*, *-ота*, *-ина*, достаточно активные в русском языке, другим восточнославянским языкам неизвестны, хотя образования со всеми этими суффиксами в них употребительны. Соотношение сходства и различий в явлениях и фактах, свойственных восточнославянским языкам, может найти объяснение с точки зрения некоторых более общих отношений, которые проявляются в типологической близости этих языков.

Кроме основных, центральных для данного исследования вопросов о закономерностях развития словообразовательной системы восточнославянских языков, материалы монографии позволяют решить и ряд более частных вопросов исторического словообразования (ср., например, вопрос о происхождении суффикса *-тель*, который получает на этой основе вполне однозначное решение), дают возможность уточнить хронологию некоторых словообразовательных явлений, реальнее представить границы суффиксальной синонимии, вскрыть действие тенденции к специализации суффиксов, которая оказывается свойственной всем восточнославянским языкам и имеет место уже на ранней стадии их формирования.

Отмечая все эти существенные моменты книги, тем более приходится сожалеть о ее неполноте, которую авторы объясняют «стремлением дать основное, не растворяя его в фактах, не раскрывающих специфику явления в целом» (стр. 9). Однако остается все же неясным, почему, например, имена существительные со значением конкретного предмета менее пригодны для раскрытия специфики словообразовательных явлений, чем другие разряды слов. Можно думать, что и их исследование привело бы к не менее интересным результатам, как в отношении общих закономерностей в развитии словообразовательной системы восточнославянских языков, так и каждого из этих языков.

Следует отметить, что и в рамках имеющихся разделов степень реализации поставленных задач, на наш взгляд, несколько различна. Наиболее полно это сделано в части, посвященной словообразованию имен существительных со значением лица (главным образом это относится к словообразованию с суффиксами *-тель*, *-щик*, *-ник*). Выводы теоретического характера — о категориальном взаимодействии производящих и производных основ и результатах влияния этого взаимодействия на словообразовательные процессы — делаются преимущественно также на материале имен существительных с личным значением (отглагольное словообразование).

В разделе о словообразовании существительных со значением отвлеченного действия основное внимание уделено фактической стороне дела — исследованию словообразовательных типов со стороны их структуры и функционирования.

В разделе «Словообразование существительных *со значением отвлеченного* качества» значительное место занимает исследование лексико-семантических процессов, что обусловлено особым положением этих имен, связанных с формированием самого понятия качества, качественности, и процессов грамматических.

Исходя из положения, что «если существует влияние словообразования на синтаксис, то нельзя, видимо, не предположить наличия обратного влияния — синтаксиса (в частности, синтаксического распространения слов) на словообразовательные *процессы*» (стр. 115), авторы тщательно наблюдают за валентностью, слова — возможностью/невоз-

можностью его абсолютивного употребления, обязательностью/необязательностью распространения его зависимыми словами. Эти факты сигнализируют, как пишут авторы, о различиях в семантической структуре соответствующего имени существительного с тем или иным суффиксом отвлеченного качества, свидетельствуя тем самым о развитии степени этой отвлеченности. Подобные наблюдения сами по себе чрезвычайно интересные, занимают, на наш взгляд, слишком большое место, приобретая совершенно самостоятельное значение.

В разделе «Словообразование существительных со значением лица» подразделы «Словообразование имен лиц от основ прилагательных» и «Словообразование существительных, обозначающих лиц по отношению к этническим, национальным, географическим, территориальным и т. п. понятиям» слишком, с нашей точки зрения, фрагментарны.

Как нам кажется, требуют большей доказательности и некоторые теоретические положения, в частности, наиболее важный из сделанных выводов о стирании черт глагольности в производных именах и о самой закономерности, действующей в направлении размежевания имени и глагола (это прослеживается, как уже отмечено, только в одной части отглагольного словообразования — имен со значением лица).

Возникает также вопрос, действительно ли новые процессы, развивающиеся в отглагольном словообразовании в более поздние эпохи и направленные на снижение активности наиболее глагольных имен, происходят под воздействием действующей в славянских языках закономерности размежевания имени и глагола? Не обусловлено ли это общими особенностями номинации, свойственными разным эпохам, о чем мы знаем пока еще очень мало?

Не останавливаясь на некоторых замечаниях более частного характера, возникающих при чтении работы, отметим еще раз, что в свет вышла очень полезная, интересная, насыщенная языковыми фактами, богатая наблюдениями и теоретическими обобщениями книга. Она является существенным звеном в исследовании истории словообразования существительных в восточнославянских языках.

В. Л. Воронцова

«Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі». 1 — А — Ә. —
Алматы, Қазақ ССР-нің «Ғылым» баспасы, 1974. 696 стр.

Начался выпуск двенадцатитомного «Толкового словаря казахского языка». 1-й том вышел в свет [1]. 2-й том в производстве, а 3-й готовится к печати. 1-й том открывается довольно обстоятельной вводной статьей А. И. Искакова, которая знакомит читателей с особенностями развития казахского общенационального письменного и устного литературного языка и с основными достижениями лексикологии и лексикографии в казахском языкознании; в ней также освещены научно-теоретические аспекты разработки лексикографических работ в Казахстане, цели и значение «Толкового словаря казахского языка». Выходу 1-го тома Словаря предшествовала большая подготовительная работа. В процессе этой работы был использован немалый опыт казахских лексикографов в области составления не только двуязычных и терминологических словарей, но и «Толкового словаря казахского языка» [2], а также опыт составления толковых словарей тюркских, русского и других языков.

1-й том «Толкового словаря казахского языка» составлен на базе трехмиллионного фонда Института языкознания АН КазССР, накопленного с 1937 г. Он содержит, по данным, приведенным в конце Словаря (стр. 656), 7 945 лексических единиц (в том числе 5 310 реестровых слов и 2635 фразеологических единиц).

Словарь снабжен «Напутствием» («Жеңеу»), в котором содержатся основные сведения о словнике, о структуре Словаря, о смысловой характеристике слова, о распределении иллюстративного и фразеологического материала и о системе помет. Там же приложены списки условных сокращений, а в конце словаря — списки лексикографических пособий и различ-

[1] Составители: А. Ибатов, Б. Кайымова, А. Борибаев, З. Машабаева, Г. Жаркешева, Б. Калиев, А. Болганбаев, А. Иманбаев. Под общей редакцией чл.-корр. АН КазССР А. И. Искакова. Редактор т. 1 Б. К. Калиев. Редколлегия: С. К. Кенесбаев, А. И. Искаков, А. Б. Болганбаев, Г. Г. Мусабаев, Р. Г. Сыздыкова, Б. К. Калиев.

[2] Ранее были выпущены два тома «Толкового словаря казахского языка»: *Қазақ тілінің, түсіндірме сөздігі*, I — Алматы, 1959; II — Алматы, 1962. Рец. Ш. Ш. Сарыбаева на словарь см.: ВЯ, 1963, 6. См. также: «Қазіргі қазақ тілінің бір томдық түсіндірме сөздігінің инструкциясы», Алматы, 1953.

ных источников, использованных при составлении Словаря.

Структура Словаря. Заглавные слова расположены в порядке алфавита. За ними следуют: стилистические или специальные пометы, смысловая характеристика слов, иллюстративный материал и за знаком ромб—фразеология идиоматического характера

Омонимы даются самостоятельными статьями и снабжаются арабскими цифрами. Причастия занимают отдельные реестры. Залоговые формы глагола в реестре — во 2-м лице ед. числа повелительного наклонения, т. е. в «чистом» виде. Имя действия на форму *-у* дается как самостоятельное слово. Слова, квалифицированные по происхождению как глаголы, а по функции перешедшие в категорию наречий и других частей речи, выступают в качестве самостоятельных реестров. Отрицательные формы глагольных основ, не имеющих положительных форм, в реестр включены как самостоятельные слова. Вторые компоненты парных слов, не обладающие самостоятельным значением вне сочетания, даются на своем месте по алфавиту. В реестре приводятся разные фонетические варианты и дублеты с отсылкой к основному варианту (при фонетическом варианте дается иллюстрация).

При отборе слов составители стремились к наиболее полному отражению различных слоев лексики казахского языка. Основу словника составляют оригинальные слова, обыденные в языковой практике казахов и имеющие общенародный и общенациональный характер, бытующие как в литературном (письменном и устном) языке, так и в разговорной речи. В него входят некоторые устаревшие термины, неологизмы и многочисленные заимствования, не имеющие эквивалентов в казахском языке. С бурным развитием науки и техники, промышленности и сельского хозяйства в республике происходит непрерывное обогащение казахского языка за счет профессионализмов и производственных терминов, которые в Словаре представлены особенно широко.

Что касается диалектных слов, то в Словарь вошли те из них, которые проникли в прошлом или проникают в настоящем в литературный язык. Например, слово *әбжіл* «шустрый; быстрый в движениях; расторопный» снабжено пометой «диал.» (стр. 567). Это слово, прежде свойственное разговорной речи казахов, населяющих южные районы республики, теперь все чаще употребляется в литературном языке. В области научно-технической терминологии наблюдается тщательный отбор слов на основе определения и уточнения сферы их употребления: чем шире их диапазон действия, тем больше они претендуют на место в реестре (ср. *апробация* — в Словаре, *адсорбция* — за его пределами). В словник не вошли: аббревиатуры, областные слова, географические названия, названия жителей городов и сел, собственные имена людей и клички животных, жаргонные и вульгарные слова. За пределами Словаря остались и просторечные элементы, имеющие узкую сферу употребления.

В Словаре широко представлена фразеология, ее основные структурные типы: именные фразеологические единицы, глагольные и наречные сочетания, а также модальные выражения. Варианты фразеологических единиц даются в квадратных скобках, например: *ажал[өлім] аузында* «при смерти; на смертном одре» (стр. 477). Если один из компонентов фразеологического сращения самостоятельно не употребляется, после него ставится двоеточие и приводится этот фразеологизм, например, *асқыш: құлақ асқыш* «послушный» (стр. 378).

Смысловая характеристика слова начинается с наиболее распространенного и общего значения, последующие значения располагаются по смысловым связям. Определение значений слова осуществляется как путем описательного толкования, так и при помощи синонимов. Например, значение слова *алымқор* «взяточник» раскрывается при помощи синонимов *парақор* и *жемқор* (стр. 243). Кроме того, составители Словаря применяют и соотносительные или отсылочные определения (при наличии вариантов и дублетов реестра), изредка — способ определения значений слова при помощи антонимов.

Грамматическая характеристика дается всем корневым и производным основам без выделения таких форм, как, например, степени сравнения прилагательных, разряды местоимений и т. п. Например, *аласа* прил. «низкий» (стр. 198), *аласалау* прил. «несколько ниже» (там же) и *аласарақ* прил. «низковато» (стр. 199) — последние две формы представляют собой сравнительную и преуменьшительно-приблизительную степени имен прилагательных. Ср. *алтыншы* числ. порядковое от *алты* «шесть» (стр. 237). Одни и те же слова, судя по синтаксическим функциям, могут быть помечены по-разному. Так, например, *алуан* нареч. «разнообразный» (стр. 238) и *алуан-алуан* прил. «многообразный» (там же).

Для выделения стилистических пластов лексики в Словаре применена система стилистических помет. Если стилистические пометы относятся ко всем значениям слова, они следуют после его грамматической характеристики. Стилистические пометы указывают на принадлежность слова к книжному стилю, к разговорной речи, к просторечию, к высокому стилю, к малоупотребительным или архаичным словам. Соответствующие пометы имеют в Словаре слова,

обозначающие исторические реалии, а также диалектизмы и местные (областные) слова. Следует отметить, что применение помет в Словаре носит до известной степени субъективный характер. Только глубокое изучение различных источников и сплошная их роспись позволят в будущем создать картину исторического развития лексики казахского языка.

Кроме грамматических и стилистических помет, в Словаре имеются также пометы, указывающие на происхождение заимствованного слова, как-то: ар. (арабское), ир. (иранское), монг. (монгольское), ор. (русское). Последняя помета относится лишь к заимствованиям дореволюционного периода: в силу своеобразных особенностей разговорной речи казахов того времени слова, заимствованные из русского (или через русский язык), претерпевали значительные фонетические изменения, тогда как советизмы, по правилам орфографии современного казахского языка, полностью сохраняют свой фонетический облик и поэтому не нуждаются в этимологической помете.

Иллюстративный материал, представленный в Словаре, отвечает устоявшимся национальным нормам как разговорной речи, так и письменного литературного языка. Источниками примеров, подтверждающих правильность выделения тех или иных значений слова и фразеологических единиц, послужили прежде всего оригинальная художественная письменная и устная литература, образцы фольклора и разговорная лексика. Украшением Словаря являются многочисленные пословицы, поговорки, крылатые выражения и яркие народные речения. Значительное место в Словаре отведено и материалу, почерпнутому из современной прессы, различных периодических изданий, из учебников и учебных пособий, словарей, справочников и т. п. Для иллюстрации политических, философских, научных и научно-технических терминов широко использована переводная литература.

Иллюстративный материал распределяется в основном следующим образом: при заглавном слове — два или три примера, при фразеологических сочетаниях — один или два, при фонетических (производных) вариантах и залоговых формах по одному примеру. Так, например, слова *алаҚ-булаҚ*, *алаҚ-жалаҚ*, *алаҢ-жұлаҢ*, имеющие отсылку на основной вариант *алаҚ-жұлаҚ* «с беспокойством смотреть по сторонам, быстро и часто поворачивая голову» (стр. 188, 194), иллюстрированы каждое одной цитатой. По одной цитате имеют и слова типа *аталас* «родственник по линии отца» (стр. 421), *әуенді* «музыкальный» (стр. 648), *алым-салыҚ* «налоги» (стр. 243) и т. п., имеющие частое употребление в языковой практике. Слова, употребляемые редко или имеющие историко-архаический оттенок, снабжаются более пространными цитатами. Например, третье значение слова *аласта* «изолировать из определенной среды» (кого-нибудь) (стр. 200) иллюстрируется четырьмя примерами.

Следует отметить, что в Словаре крайне скупо использованы старые письменные источники, представляющие определенный этап в развитии казахского языка. Недостаточное использование при составлении толкового словаря тех или иных источников может привести к обеднению Словаря.

Необходимым условием последующей успешной работы является непрестанное пополнение имеющейся картотеки и расширение словника Словаря. Пополнение Словаря может идти как за счет включения в него неологизмов, новых терминов и фразеологизмов, так и за счет пассивного запаса.

В I т. Словаря не попал ряд употребительных слов и фразеологических выражений. Так, при реестре *айт* «говорить» (стр. 105—106) отсутствует фразеологическое сочетание *айттым-бітті, кестім-үзілді* «сказано — отрезано» (букв. «я сказал — кончено, я отрезал — разорвано»). Наряду с междометиями *апыр-ай*, *апыр-ау*, *апырм-ай*, *апырм-ау* (и *япыр-ай*) в Словарь следовало бы включить и не менее употребительное *алла-ай* со всеми его фонетическими вариантами. Отсутствуют следующие варианты приветствия *ассалаумағалайкум*! «здравствуйте!» (стр. 381): *ассалаумалейкум*, *ассалаума-әлейкум*, *ассалам-әлейкум* (в будущем следует дать: *салам-әлейкум*, *сәлем*). При реестре *асыл*, видимо, надо было дать и сочетание *асылдың тұяғы* «благородного происхождения [человек]» (стр. 398—399).

К недочетам Словаря надо отнести случаи неудачных, ошибочных толкований слова. Так, сочетание *әйелдікке алды* «он взял в жены» при толковании, видимо, по небрежности, приобрело еще и значение *әйел болды* «он стал женщиной» (стр. 593). Слово *айтпаҚшы* (стр. 107) имеет отсылку на отсутствующее в Словаре *айтҚандайын* (оно должно было быть на стр. 106!).

Не всегда выдержана система помет. Слово *айтпаҚшы* (стр. 107) помечено как вводное, а его синонимы — *әйткенмен* (стр. 596) как служебное, *әйтеуір* (там же) как наречие. Или: «*әлбетте* вводное слово, употребляется в значении *әрине*» (стр. 605) и «*әрине* модальное слово, употребляется в значении *әлбетте*» (стр. 635). Арабское слово *алуан* (стр. 238) имеет помету «иранское», сочетание *алуан-алуан* (там же) дано без пометы. Имеют место в Словаре и другие случаи нарушения инструкции. Так, вместо *аяҚ* (*табан*) *астында* «внезапно, неожиданно» при реестре *асты* (стр. 389) мы находим *аяҚ астынан*, *аяҚ астында* в одной колонке стр. 390 и *табан астынан*, *табан астында* — в другой. Слово *алаҢ* снаб-

жено пояснением: «второй компонент парного слова *елең-алаң*», тогда как подача таких слов принята через двоеточие (*алаң*: *елең-алаң*). Фразеологическое сочетание неидиоматического характера *асыл бейне* «прекрасный (благородный) образ» помещено за знаком ромб (стр. 398) и т. д.

Мелкие недостатки и недочеты, упомянутые выше, никоим образом не снижают достоинства Словаря в целом. Они, видимо, неизбежны при создании большого коллективного труда. Издание 1-го тома «Толкового словаря казахского языка», несомненно, является крупным достижением казахских лингвистов и значительным событием в советской тюркологии.

А. К. Курышжанов

***Н. А. Шигаревская.* История французского языка**
(на французском языке). — Л.,
ЛО изд. «Просвещение», 1974. 285 стр.

Рецензируемая книга Н. А. Шигаревской является новым полезным пополнением существующей учебной литературы по истории французского языка.

Учебник основывается на программе по истории французского языка, принятой Министерством высшего образования в 1962 г., и предназначен для студентов специальных факультетов иностранных языков педагогических институтов.

Изложение истории французского языка охватывает не только все периоды его существования, но и предшествующий его образованию период. Две первые главы книги посвящены характеристике особенностей разговорной латыни и галло-романского языкового состояния. Этот очерк предыстории французского языка представляется тем более целесообразным, что учебные программы многих педагогических институтов предусматривают включение курса по введению в романскую филологию в общий курс по истории французского языка.

Основной теоретической установкой автора, определившей структуру учебника, является положение о принципиальной возможности рассматривать историю французского языка как поступательное движение, обусловленное, в основном, внутриязыковыми процессами. В связи с этим автор концентрирует свое внимание на фактах языка, ограничиваясь в отношении его внешней истории и истории цивилизации народа — его носителя лишь самым необходимым.

Н. А. Шигаревская исходит в построении книги из традиционного деления на старофранцузский (IX—XIII вв.), среднефранцузский (XIV—XV вв.), французский язык эпохи Возрождения (XVI в.), новофранцузский период (с XVII—XVIII вв.) и современный французский язык (XIX—XX вв.).

В отличие от своих предшественников, она уделяет много внимания внутренним тенденциям развития фонетики, грамматической системы, синтаксиса и лексики каждого хронологического среза, создавая таким образом картину перспективы эволюции языка.

Особенно интересно рассмотрены эти тенденции в разделе, посвященном современному французскому языку, где приводятся материалы разных речевых стилей в их взаимодействии с литературным языком. В результате, несмотря на неизбежное совпадение ряда черт смежных периодов, автору удалось убедительно показать специфику каждого из них и вместе с тем проследить поступательное движение французского языка.

Рецензируемый учебник базируется в основном на общих, как классических, так и новых трудах по истории французского языка, использует также ряд уже получивших признание монографических исследований советских и зарубежных романистов. Каждая глава учебника, посвященная определенному периоду истории французского языка, построена по следующему плану: краткий обзор экономической и социально-политической обстановки, характеристика важнейших литературных памятников эпохи; затем следуют разделы, посвященные фонетике, грамматической системе и лексике.

Отличительной чертой рецензируемого учебника по сравнению с предшествующими ему аналогичными пособиями являются систематически проводимые обзоры литературных памятников. Подобные обзоры необходимы, поскольку общий курс истории западноевропейской литературы, естественно, не может включить ряд памятников, весьма важных для истории французского языка.

Наиболее интересно представлены в учебнике разделы исторической фонетики французского языка. Плодотворным и научно обоснованным является последовательно проводимое раздельное описание синтагматических и парадигматических звуковых изменений, отражающее фонетический и фонологический аспекты изучения языкового материала. При всей краткости, диктуемой объемом учебника, автору удалось подать материал в проблемном плане, привести и дать оценку классическим и новейшим теориям, объясняющим звуковые изменения в истории французского языка.

В разделах, посвященных лексике, наиболее подробно представлено историческое словообразование. Н. А. Шигаревская использует данные общих трудов по истории французского языка Ф. Брюно, А. Доза, П. Гиро, а также работы по лексикологии Ж. Дюбуа и Э. Юге.

Что касается описания эволюции грамматической системы французского языка, то в соответствующих разделах рецензируемого учебника в весьма конденсированной форме представлены основные аналитические преобразования в структуре частей речи, образующих именную и глагольную синтагмы.

В подразделах по синтаксису, последовательно включающихся в описание грамматической системы языка от старофранцузского периода до наших дней, много места уделяется проблемам эволюции порядка слов.

Территориальное и языковое дробление французского государства наглядно представлено в пяти картах «Приложения» (стр. 279—283). Большую практическую ценность представляют сводные таблицы по фонетике и грамматике (глагол), а также список использованных в книге терминов с пояснениями автора к большинству из них. Следует приветствовать также систематически приводимые в конце каждого раздела библиографические рекомендации.

Некоторые аспекты и разделы «Истории французского языка» вызывают, однако, критические замечания. Недостаточно обоснованным как чисто хронологически, так и по существу является название I главы — «Разговорная латынь» («Le latin parlé»). В хронологических рамках поздней латыни (III—VII вв. н. э.) проявляются и развиваются не только тенденции разговорного («народного») языка, но и ряд аналитических черт, свойственных архаической латыни, и, кроме того, ряд новых тенденций, чуждых разговорной латыни классического периода. Более емким и вместе с тем более адекватным термином является «поздняя латынь».

Не представляется, с другой стороны, вполне правомерным выделение в специальный период галлороманского языкового состояния. Сам материал учебника по двум первым периодам иллюстрирует большое сходство между ними по всем уровням языка.

Неудачным в плане периодизации представляется также объединение описаний языка XVII—XVIII вв. в одну главу. Специфика языка литературных памятников XVII в., связанная, с одной стороны, с нормализаторской деятельностью пуристов, а с другой — с наследием всех предшествующих эпох, требует рассмотрения языка XVII в. как особого периода в истории французского языка, противостоящего языку XVIII в., уже очень близкому к новофранцузскому.

Спорным представляется отнесение спонтанной дифтонгизации к синтагматически обусловленным процессам. Как аргументированно доказывают А. Одрикур и А. Г. Жюйан [1], спонтанная дифтонгизация имела системно обусловленный характер и способствовала большей четкости фонемных оппозиций. Следовательно, сами парадигматические связи явились здесь импульсом изменений.

Еще далеко не решенная романистами проблема генезиса частичного артикля подана в учебнике, в целом, в верном ракурсе. Приводятся обе исходные конструкции: позднелатинская, например, *bibere de aqua* и старофранцузская, например, *du froment li ont done grant masse*. Однако автор отдает явное предпочтение первой как основному источнику частичного артикля, в то время как эта форма складывается в результате активного взаимодействия обеих конструкций, обусловленного синтаксической перестройкой внутри второй, а также эволюцией грамматического значения определенного артикля — компонента формы *du*.

Процесс формирования параллельных рядов самостоятельных и приглагольных местоимений, при всей очевидности его общей зависимости от ударения (словесного или синтагматического), взятый в частностях, применительно к формам отдельных разрядов, оказывается очень сложным и часто еще не имеет однозначного решения. Именно этим следует объяснить почти неизбежные при кратком изложении этого вопроса неточности учебника.

Так, на стр. 91 говорится, что усечение первого слога в формах дополнения *illo* > > *lo*; *illorum* > *leur* вызвано проклитическим употреблением их перед глаголом; формы же подлежащего в старофранцузском — или энклитики, или проклитики. Например: *Vos rendra il sel proverai* (Yv.); *Jo irai par vostre don* (Rol.). Как явствует из отсутствия элизии гласного, в обоих примерах *il* и *lo* сохраняют самостоятельное ударение и не являются ни проклитикой, ни энклитикой. Речь идет, вероятно, о препозиции — постпозиции этих форм по отношению к глаголу.

Лишь постепенно, по мере становления глагольной синтагмы, формы подлежащего теряют свое ударение, становясь подлинной проклитикой [2].

Несходство фонетического рефлекса *il* и *le*, в принципе одного и того же звукового комплекса (*ille* — *illo*), свидетельствует о разных путях развития этих форм.

---

[1] A. G. Haudricourt, A. C. Juilland, Essai pour une histoire structurale du phonétisme français, Paris, 1949.

[2] См. об этом процессе: A. Grad, Contribution à l'étude de la syntaxe des pronoms personnels sujets en ancien français, «Linguistica», 1954, 3.

Р. Г. Пиотровский предполагает, что апокопированная форма определенного артикля *le* возникла в постпозиции в VI в. и лишь в VII—VIII вв. была перенесена в препозицию в связи с ростом аналитических тенденций в складывающейся именной синтагме [3].

Сходной была, вероятно, и судьба приглагольных местоимений — дополнений. Старофранцузский язык, особенно ранних периодов, изобилует примерами энклитического употребления этих форм [4].

Возражение вызывает и утверждение, что самостоятельные формы в старофранцузском языке употреблялись как в ударной, *так и в неударной позиции* (стр. 93). Дело обстояло как раз наоборот. В старофранцузском языке функциональное, связанное со структурой синтагмы расхождение ударных и *неударных форм* местоимений еще только намечалось. Основной же причиной появления сильной формы для старофранцузского языка является как раз ее ударность позиционная, смысловая или эмфатическая. В приведенных на стр. 93 примерах все сильные формы несут ударение.

Некоторые аспекты эволюции грамматических категорий глагола заслуживают, как кажется, более глубокого освещения.

Осталось нераскрытым соотношение между временными и модальными значениями формы futur dans le passé (conditionnel). На стр. 104—105 рассматривается история образования этой формы, выражающей будущее действие, из латинской конструкции «инфинитив + *habebam*». На стр. 109 указывается, что в старофранцузском языке у subjonctif существует конкурентное наклонение (conditionnel). Очевидно, автор придерживается концепции, согласно которой следует различать conditionnel — временную форму и conditionnel — наклонение. Однако и в таком случае надлежало бы вскрыть причины появления модальных значений у данной формы.

В ряде случаев желательно было бы предпослать изложению конкретного материала определения исходных понятий. Возможно, что формулировка автором отправных теоретических положений устранила бы возникающие подчас недоумения. Например, непонятно, почему в разделе «Вид» (стр. 111), языковой материал представлен лишь аналитическими конструкциями «*estre* + participe présent» и «*aller* + gérondif». Высказывание о том, что «некоторые временные формы способны выражать вид», недостаточно. Представляется необходимым излагать проблемы старофранцузского вида в неразрывной связи с грамматическим значением сложных глагольных форм, прежде всего passé composé как наиболее изученной в научной литературе [5].

Спорным представляется высказывание (стр. 108) о том, что в старофранцузском языке сложные формы не являются еще относительными временами, так как не только выражают предшествование в сложном предложении, но употребляются и в независимом предложении. Подобная формулировка таит опасность отождествления грамматического значения формы с ее контекстуальной реализацией. Как аргументированно доказано А. Ивоном [6], разделение французских глагольных форм на абсолютные и относительные времена неправомерно, поскольку каждая временная форма, помимо соотнесенности с моментом речи, может указывать на отношение к другому действию. Относительно-временные значения суть частные реализации абсолютных видо-временных значений форм.

По-видимому, недостаточностью разграничения языковых и контекстуальных факторов объясняется высказывание автора о том, что «subjonctif выражает различные чувства и волеизъявления субъекта (желание, приказание, неуверенность, опасение)» (стр. 109). Фактический материал, приведенный в работе Ж. Муанье, свидетельствует о том, что выражение перечисленных выше значений не присуще старофранцузскому subjonctif [7]. Эти значения заключены в семантике глаголов главного предложения, от которого зависит придаточное, содержащее subjonctif.

Все приведенные замечания отнюдь не умаляют больших достоинств «Истории французского языка» Н. А. Шигаревской — нужного, очень удобного для пользования и очень интересно написанного учебного пособия. Оно вполне может быть рекомендовано и студентам университетов как дополнение к лекционному курсу. *М. К. Сабанеева, Г. М. Щерба*

[3] Р. Г. Пиотровский, Формирование артикля в романских языках, М.— Л., 1960.

[4] Интересный общероманский и специально старофранцузский языковой материал см. в книге Ж. Меландера: J. Melander, Étude sur l'ancienne abbréviation des pronoms personnels régimes dans les langues romanes, Uppsala, 1928.

[5] См. например: Е. А. Реферовская, История сложного перфекта во французском языке. КД, Л., 1941; H. G. Schogt, L'aspect verbal en français et l'élimination du passé simple, «Word», 20, 1, 1964; M. G. Northington, The compound past tense in Old French narrative poems, «Romance philology», XIX, 3, 1966, и др.

[6] H. Yvon, Convient-il de distinguer dans le verbe français des temps relatifs et des temps absolus?, «Le FM», 1951, 4.

[7] G. Moignet, Essai sur le mode subjonctif en latin postclassique et en ancien français, I—II, Paris, 1959.

Г. С. Щур. Теории поля в лингвистике. — М., «Наука», 1974. 256 стр.

Специальная литература, посвященная теории поля в лингвистической науке, особенно в последнее время, неуклонно растет, хотя далеко не во всех случаях авторам удается доказать, что рассматриваемое ими явление представляет собой именно поле. Более того, различные ученые вкладывают в понятие «поле» совершенно неодинаковое содержание, используя его применительно к разным явлениям. Общее же определение «поля» до сих пор вообще отсутствует. Это ведет, в частности, к подмене понятий «поле» понятиями «система», «отношение» и др., что вряд ли оправдано. Поэтому представляется весьма своевременной и чрезвычайно плодотворной задача, которую поставил перед собой автор рецензируемой монографии — попытаться, критически рассмотрев существующие концепции поля, ответить на вопрос: правомерна ли эта категория в языкознании (понятие «поля» прежде всего характерно для физики и уже давно используется в психологии и биологии) и как она соотносится с другими категориями лингвистического анализа [1].

Основой предлагаемого автором подхода является то, что он строит свою теорию на функциональной и инвариантной группировке элементов языка и допускает сознательное комбинирование этих принципов. В то же время автор требует разграничения различных типов функций и различных типов инвариантности в языке. В силу этого принцип инвариантности в той его части, где речь идет о группировках элементов на основании общих свойств, параметров, дифференциальных признаков,— отнюдь не то же самое, что интегральный принцип, поскольку инвариантность предполагает наличие общих материальных элементов, а интегральный принцип отражает лишь факт объединения элементов, в основе которого могут лежать как общность свойств (принцип инвариантности), так и общность функций, коммуникативных или структурных (функциональный принцип), а также ассоциативный принцип.

Рецензируемая книга состоит из одиннадцати глав, заключения и списка литературы. В I главе анализируются восходящие к Г. Ипсену (а фактически еще к В. Гумбольдту и Г. Остгофу) «парадигматические поля», т. е. совокупности слов, обладающие общим значением, синонимы, выделяемые на основе общего дифференциального признака. Критикуя это направление, наиболее полно развитое Й. Триром и его последователями, Г. С. Щур указывает, что «постулируемый общий семантический признак часто имеет экстралингвистическую природу» (стр. 22). Как справедливо замечает автор, преувеличение роли инвариантности невольно приводит к умалению функционального принципа, лежащего в основе многих группировок элементов. Дело в том, что инвариантное — всегда общее, но общее — отнюдь не всегда инвариантное (например — общая функция). В связи с этим автор обращает внимание на частое неразличение и смешение понятий «дифференциального признака» и «функции». При отождествлении синонимии с инвариантностью в языке либо все оказывается синонимичным, либо синонимии как таковой вообще не обнаруживается. Автор замечает, что если синонимы — это единицы с общим дифференциальным признаком, то тогда фонемы, обладающие таким признаком или признаками,— тоже синонимы, как и слова с общим суффиксом, префиксом или основой.

Во II главе рассматриваются введенные В. Порцигом так называемые синтаксические, или синтагматические поля, т. е. словосочетания и синтаксические комплексы, обнаруживающие, с одной стороны, семантическую совместимость компонентов (типа нем. *greifen — Hand*, *hören — Ohr*, *gehen — Füsse*), а с другой— структурные модели предложений, объединенные общностью семантического задания (Л. Вайсгербер) или выражающие определенный тип синтаксических отношений в пределах сложного предложения (Г. Бех, Н. И. Филичева). Когда указанное явление не интерпретируется как поле, говорят, с одной стороны, о валентности, а с другой — о коллигации и коллокации, в зависимости от того, на что делается акцент: на семантическую очетаемость или на сочетаемость в семантической структуре различных категорий и элементов разных классов.

В III главе отмечается тенденция рассматривать поля как межуровневое явление, о чем в свое время писали Ф. Брюно и О. Есперсен, а в IV главе изучаются лексические ассоциации и ассоциативные поля, которые в последние годы иногда отождествляются с семантическими полями. Автор указывает, что ассоциации (т. е. группы слов, обладающие определенным «семантическим расстоянием» по отношению к другим и объединенные вокруг определенных «слов-стимулов») не всегда являются чисто психологическими и тем более семантическими явлениями, а нередко обусловлены социаль-

[1] Различные части работы Г. С. Щура ранее были опубликованы в советских и зарубежных изданиях, а также составили теоретическое ядро его докторской диссертации. Эти работы приводятся в обширной библиографии, приложенной к рецензируемой книге (стр. 235—254).

ным опытом индивидуума. Г. С. Щур показывает, что *психофизиологическая* методика установления ассоциаций, несмотря на применение специальной аппаратуры, по крайней мере в большинстве случаев, не имеет никакого отношения к исследованию семантических полей и смыслового сходства между словом-стимулом и его ассоциатами. Автор настаивает на необходимости дифференцированного подхода к ассоциациям и установлению их типов, а также на разграничении значений термина «ассоциация» в смысле «объединение» (группировка слов) и «ассоциирование», когда речь идет о психических ассоциациях. Он считает целесообразным обозначать термином «онтологические ассоциации» способ объединения в группы элементов, обладающих общими (инвариантными) свойствами или характеристиками с точки зрения отражения их в сознании индивидуума, поскольку такие ассоциации отражают способ существования элементов. Онтологические ассоциации лишь отражают определенные объективные принципы, лежащие в основе тех или иных группировок элементов. В случае групп элементов, обладающих общими свойствами, онтологические ассоциации отражают принцип инвариантности, а в случае групп элементов, обладающих общими структурными функциями, эти ассоциации отражают функциональный принцип. Кроме того, автор выделяет эмпирические ассоциации, которые лежат в основе группировок элементов в зависимости от субъективного опыта индивидуума. Разновидностью эмпирических ассоциаций являются *парадигматические* и *синтагматические* ассоциации.

В V главе, посвященной некоторым особенностям трактовки понятия «поле» в языкознании и в других науках, на основе анализа понятия «поле» в физике и в лингвистике, указывается, что «любая группа или совокупность элементов, независимо от принципов, лежащих в основе ее объединения, обладает определенной структурой, конфигурацией, топологией и функциями. При этом принципами группировки могут быть как принцип инвариантности, так и функциональный принцип, или комбинирование этих принципов» (стр. 101). В свою очередь функция может быть как структурной, так и коммуникативной с ее вариациями — эстетической, эмоциональной и др. По мнению Г. С. Щура, функция поля может проявляться в а т т р а к ц и и [2]. Процесс аттракции, с его точки зрения, сводится к включению в группу элементов, обладающих общими признаками, новых элементов, приобретающих такие же признаки, причем эти синтагматические по своей природе признаки становятся неотъемлемой частью данного элемента. При включении же того или иного языкового элемента в д р у г у ю г р у п п у у него закрепился бы другой дифференциальный признак, инвариантный общему признаку элементов этой группы. По мнению автора, указанное явление отмечается и в фонологии, и в лексике и проявляется, в частности, в перегруппировках элементов при смене определяющего дифференциального признака.

Согласно нашей концепции, на которую ссылается и Г. С. Щур (стр. 102), значимое наличие определенной совокупности, определенного комплекса лексем, употребляемых в определенных значениях, на том или ином этапе языкового развития можно назвать лексико-семантическими микроструктурами, или наборами, а те языковые процессы, благодаря которым отдельные элементы микроструктур в той или иной мере связываются друг с другом, взаимообусловливаются и, независимо от территории, времени их существования и общности значения, образуют дискретные лексико-семантические наборы, мы называем л е к с и ч е с к о й а т т р а к ц и е й. Отсутствие тех или иных лексем в языках, в свете этой концепции, также следует признать значимым: в этих случаях существование лексико-семантических элементов, наблюдаемых в других языках в тот или иной период их развития, видимо, несовместимо с изучаемой лексической средой, исключается присущей этой среде аттракцией лексем. В языковой действительности очень часто наблюдаются связанные аттракцией (в нашем понимании) группы слов, не имеющие вообще никакого (ни инвариантного, ни функционального) общего признака.

В этой связи можно указать на идентичные лексико-семантические наборы, засвидетельствованные, с одной стороны, в древнеанглийском языке, а с другой стороны, в швейцарском диалекте современного немецкого языка. Ср., например, др.-англ. *anda* «envy, zeal»— швейц. *anden* «sehnlich begehren»; др.-англ. *andettan* «confess, acknowledge»— швейц. *anden* «anzeigen ankündigen»; др.-англ. *(a)bliccan* «to terrify»—швейц. *bläuggen*, *blügen* «einem Schrecken einjagen»; др.-англ. *broga* «fear»— швейц. *brögen* «in Schrecken jagen»; др.-англ. *caefian* «to embroider»— швейц. *Chopfen* «eine Art Sticken, in Halbbogen»; др.-англ. *cwyld* «evening»— швейц. *Chilt (Chult)* «Nacht, Dunkelheit»; др.-англ. *cylew* «spotted, speckled»— швейц. *geschüllet* «gefleckt»; др.-англ. *eorcnastan* «a precious stone»— швейц. *urchen* «rein, unvermischt, unverfälscht»; др.-англ. *fag* «multicoloured» — швейц. *fech* «bunt»; др.-англ. *flitan* «to scold»— швейц. *filzen* «schelten»; др.-англ. *lempit* «patellas»— швейц. *Lamm*, *Lamb* «vom

[2] О различных концепциях аттракции в лингвистике см.: «Sprachwissenschaftliches Wörterbuch», hrsg. vor J. Knobloch, Heidelberg, 1974, стр. 201—204.

Wasser ausgehöhlte und durchströmte Felsenkluft»; др.-англ. *lutan* «to bend»— швейц. *litzen* «falten, stülpen, umbiegen»; др.-англ. *pad* «garment»— швейц. *Pfait* «Rock»; др.-англ. *repel* «a stick» — швейц. *Röbel* «kleiner Pfahl»; др.-англ. *ungel* «fat»— швейц. *Anke* «Butter» и др. [3].

На стр. 102—103 Г. С. Щур дает свое определение поля в лингвистике: «если характеристикой поля считать наличие общего дифференциального признака у данных элементов и явление аттракции, то тогда в качестве полей в лексике выступают определенные функционально-инвариантные группы, поскольку для элементов указанных групп характерно не только наличие общего (инвариантного) признака, но и наличие коммуникативной или структурной функции». То же, по мнению автора, относится к фонологическим единицам и к объединениям лексем, которые репрезентируют межклассные отношения типа: *красный — краснота — краснеть — красно*. По другому основанию (функциональному) все эти лексемы входят в несколько классов, называемых частями речи. Таким образом, функционально-семантические группы, представляющие собой объединение лексем с общими значениями и функциями, являются частным случаем функционально-инвариантных групп. К сожалению, приводимое автором определение поля, как и прежние определения этого понятия, отражает подход к этому явлению лишь с определенной точки зрения (что не согласуется со справедливым указанием автора на многоаспектный, многомерный характер языка), а это не вскрывает его общелингвистической сущности, не гарантирует отграничения истинных полей в языке от субъективных построений отдельных исследователей и оставляет широкие возможности для разного рода толкований, позволяющих «подводить» под категорию поля практически любые явления языка. Дело в том, что, на наш взгляд, принципы инвариантности и функциональный принцип отнюдь не всегда позволяют объяснить сущность тех или иных группировок в языке, ибо в той или иной степени они неизменно несут на себе печать субъективности.

В главе VI анализируется природа семасиологического и ономасиологического подходов в лингвистике. Как указывает автор, «семасиологические исследования направлены от слова к понятию, ономасиологические — от понятия к слову» (стр. 107). Автор обращает внимание на то, что при семасиологическом подходе в основе лежит принцип инвариантности, а при ономасиологическом подходе предметом исследования являются группы, элементы которых обладают лишь общей функцией и не имеют общих лингвистических дифференциальных признаков. В связи с этим автор справедливо критикует постулирование полям оппозиций[4].

В главе VII рассматриваются морфосемантические поля в морфологии, т. е. такие группировки слов, для которых, как указывал П. Гиро, характерна как общность семантики, так и общность морфемного состава (стр. 121). В связи с этим подробно анализируется связь между описательными формами будущего и сослагательным наклонением в германских языках, которая рассматривается как своего рода универсалия. При этом подчеркивается, что различие форм аналитического будущего в отдельных германских языках определяется различием форм аналитического сослагательного в этих языках. Автор заключает (стр. 141), что «функционально-инвариантные группы, представленные описательными формами будущего времени и сослагательного наклонения, обладающие общностью морфемного состава, семантики, а часто и общностью функций, по-видимому, могут быть интерпретированы и как поля, и как системы» (с функциональной точки зрения — как системы, а с точки зрения принципа инвариантности — как поля).

В главе VIII указывается, что попытка понять природу поля не может быть успешной, если эта категория будет рассматриваться вне ее соотношения с системой и структурой. Автор дает здесь ряд важных определений: «Структура — совокупность иерархических элементов и отношения между ними, если речь идет о данном целостном объекте, или совокупность иерархических групп элементов и отношения между ними в случае объектов, состоящих из многих элементов, или в случае парадигматических структур. Система — иерархическая сеть связей между элементами или группами элементов данного объекта. Объект — полифункциональная совокупность элементов или групп элементов, находящихся в отношениях и связях» (стр. 158). Оппозиции в силу их неотделимости от свойств элементов представляют собой частный случай отношений и соотносятся со структурой, а не с системой данного объекта. Хотя между всеми элементами существуют отношения, не все элементы связаны. В синтагматике все элементы связаны и находятся в отношениях, однако в парадигматике элементы находятся лишь в отношениях. Связи не зависят от свойств элементов и являются атрибутом системы. При этом связи, как правило, существуют между элементами с общими

[3] См.: М. М. Маковский, Теория лексической аттракции, М., 1971, стр. 61—92; 195—232; его же, Сравнительно-историческая диалектография английской лексики. ДД, Л., 1969.

[4] H. E. Wiegand, Synchronische Onomasiologie und Semasiologie, Marburg, 1970

функциями. Всякая связь есть отношение, но не всякое отношение — связь.

Автор справедливо указывает, что попытка понять природу поля в лингвистике не может быть достаточно эффективной, если эта категория будет рассматриваться вне ее соотношения с системой и структурой. В этой связи Г. С. Щур указывает на то, что понятие «система» уже давно занимает важное место среди понятий, используемых для отражения мысли о том, что любые феномены существуют не изолированно, а относятся к определенным совокупностям, между элементами которых существуют связи и отношения. Анализ этой категории в различных науках привел к пониманию ее универсального характера и к появлению теории общих систем, создателем которой в первую очередь явился Л. Берталанфи. При определении систем нередко критерием служат не только определенные свойства, типичные для данных элементов, но и отсутствие этих свойств у других элементов. Такой подход характерен, в частности, при использовании оппозиций, рассматриваемых как отражение объективной упорядоченности данной системы. Это, однако, не является правомерным, поскольку любая сеть оппозиций является лишь моделью, претендующей на отражение объективной организации данных групп элементов, которые, как правило, организованы или объединены на основании нескольких признаков и характеризуются многими свойствами. Поэтому может быть много моделей описания таких групп, каждая из которых может отражать отдельный принцип, лежащий в основе данной группировки, или конкретные свойства элементов данной группировки.

Использование термина «система» вместо терминов «объект» или «совокупность объектов» в большой степени объясняется тем, что часто игнорируются различия между естественными и искусственными, а также органическими и биологическими объектами, которые являются лишь частным случаем органических объектов, т. е. таких, для которых характерно имманентное развитие и которые иногда определяются термином «саморегулирующиеся» или «самонастраивающиеся системы». Возможно этим, в частности, объясняется то, что непременным атрибутом системы считается категория целостности, что справедливо по отношению к отдельным объектам, обладающим, независимо от сложности их структуры, определенными функциями, и неприменимо к совокупностям и группам объектов, элементы которых могут одновременно иметь многие функции и относиться к нескольким классам. Практика показала, что концепция целостности во многих науках, в том числе в лингвистике, либо оказывается непродуктивной, либо понятие «целостность» остается лишь постулатом, не используемым в исследовании. Последнее также относится к понятию «ценность» (значимость), поскольку органические объекты и их значимость отнюдь не зависят от их места в системе[5]. От места в системе зависят лишь некоторые свойства этих объектов. Изменения одного элемента также не приводят к изменению всего объекта, т. е. целого. Кроме того, любая целостная система является иерархической, вследствие чего изменения не любых элементов приводят к изменению всех других элементов, но лишь некоторые конститутивные элементы и их изменения могут обусловить изменения во всей системе. Функциональный принцип, постулируемый автором, именно в том и состоит, что лишь определенные классы фонем, морфем, слов, семантических групп обусловливают возникновение данных типов структур (морфем, лексем, синтагм). Последнее — не то же самое, что дистрибуция элементов, поскольку в этом случае речь идет не об окружениях, а о том, что лишь определенные классы детерминируют другие классы в данной структуре или находятся с ними во взаимосвязи.

С точки зрения автора, сеть оппозиций не может интерпретироваться как система, в частности, потому, что многомерные оппозиции и корреляции отражают инвариантные группы и поля. Вследствие этого значимость элемента определяется не его местом в системе, а его отнесенностью к данной инвариантной группе или его включенностью в нее, причем этим обусловлены его абсолютные и парадигматические свойства, поскольку относительные свойства определяются синтагматикой, в частности структурными функциями данного элемента. Превращение синтагматических, или относительных, свойств в парадигматические и инвариантные обусловлено инвариантными группами, число которых также влияет на число синтагматических свойств, становящихся парадигматическими. Отнесенность любых элементов к тем или иным инвариантным и функциональным группам и пересечение этих групп, проявляющееся, в частности, в наложении полей, определило неприменимость при анализе языка категории целостности. По мнению автора, развитие языка неотделимо от комбинаторики его элементов. Из этого он заключает, что язык не система или форма, а система — не язык. Система есть лишь отражение функционального принципа существования лингвистических элементов, точно так же, как поле является отражением инвариантного принципа и способом существования элементов языка. Объем полей определяется количеством элементов, для которых характерен данный инвариантный признак.

[5] Ср.: E. Dupréel, Esquisse d'une philosophie des valeurs, Paris, 1939.

Точно так же объем функциональных групп определяется количеством элементов, имеющих данную коммуникативную или структурную функцию.

В трех заключительных главах автор подробно анализирует сущность топологического подхода в языкознании, соотношение синонимии и поля в языке и принципа инвариантности в лингвистике и в других науках. Особое внимание Г. С. Щур обращает на так называемый «топологический» подход в языкознании, в задачи которого входит изучение конфигурации (строения) данного объекта (множества), состоящего из некоторых классов подмножеств, и определение таких понятий, как «быть соседним», «мало отличаться», «стремиться к...», возникающих при приближенном измерении величин и на основе интуитивного понятия непрерывности.

Трактовка синонимов как полей, по мнению автора, сопряжена с рядом трудностей. И синонимам, и элементам данного поля постулируют обычно наличие общих свойств. Однако для синонимов характерно наличие общих лингвистических дифференциальных признаков и общность функции, что позволяет рассматривать такого рода группы как функционально-инвариантные. Для полей же характерно наличие общих функций у их элементов и лишь иногда общих, причем нередко экстралингвистических, дифференциальных признаков, что оправдывает трактовку групп таких элементов как функциональных групп. Возможно, что в качестве полей оправданно рассматривать группы элементов (фонем) с общим лингвистическим интегральным признаком и способностью «притягивать» к себе новые элементы, обладающие таким признаком. Следовательно, для таких групп должна быть характерна аттракция. Даже если для элементов подобных групп характерно наличие общей структурной функции, для них в то же время типично отсутствие общей коммуникативной функции, что является отличительной особенностью групп элементов, обладающих общим семантическим интегральным признаком, т. е. для синонимов.

Нельзя отрицать, что книга Г. С. Щура содержит ряд дискуссионных положений. Ценность ее, однако, состоит в том, что приведенная в ней аргументация дает возможность критически подойти к пониманию многих привычных общеязыковых категорий.

М. М. Маковский

ПО СТРАНИЦАМ НОВЫХ ЖУРНАЛОВ

Исследование истории науки о языке становится все более самостоятельным и актуальным жанром современной научной лингвистики. Появление большого количества публикаций по истории языкознания — отрадное явление, так как такие работы свидетельствуют об утверждении самосознания лингвистики, о ее зрелости и росте.

Показателем все возрастающего интереса к истории языкознания является издание международного журнала по истории языкознания «Historiographia linguistica» (ред. Э. Кёрнер), первый том которого вышел в 1974 г. Предполагаемая периодичность журнала — три выпуска в год, объединенные продолжающейся пагинацией в один том.

Определяя цели и задачи журнала, Э. Кёрнер отмечает, что журнал призван удовлетворять все более растущий интерес языковедов, психолингвистов, философов языка к различным направлениям в истории лингвистической мысли.

По мнению Кёрнера, можно выделить четыре типа исследований, посвященных истории языкознания. К первому из них относятся такие работы, как «История языкознания» (1869) Т. Бенфея или «История германской филологии» (1870) Р. Раумера, которые подводят итог предшествующему периоду языкознания. Работы второго типа призваны опровергнуть ранее существующие доктрины и наметить новые пути исследования языка. К таким работам Кёрнер относит «Введение в изучение языка» (1880) Б. Дельбрюка и книгу Г. Пауля «Принципы истории языка» (1880). В работах третьего типа, к которым Кёрнер относит книгу Х. Аренса «Языкознание. Путь развития от античности до настоящего времени» (1955), делается попытка очертить прошедший путь развития. И, наконец, к четвертому типу, по мнению Кёрнера, должны относиться работы, в которых лингвистическое прошлое должно бы рассматриваться как составная часть самой науки о языке. Такие работы пока еще не созданы.

Можно спорить об определении тех путей, по которым следует изучать историю языкознания, но нельзя не согласиться с выводом Кёрнера о том, что изучение истории лингвистики должно служить предостережением против преувеличенных претензий отдельных современных ученых, которые претендуют на оригинальность своих теорий и забывают то, что было создано предшествующими поколениями.

Каждый выпуск журнала включает в себя не менее трех статей, одного-двух критических обзоров и несколько рецензий, сопровождаемых обширной библио-

графией. Материалы журнала печатаются на английском, немецком, французском языках. Первый выпуск журнала посвящен памяти основателя и редактора международного журнала по общему языкознанию Ф. Техмера [1]. В статье Р. Робинса «О соотношении двух приемов лингвистического описания: ориентация на теорию и ориентация на факты» на примере трех периодов в развитии европейского языкознания (античность, средние века и XVII — XVIII вв.) показываются различные формы проявления этих двух контрастирующих направлений.

В статье П. Вундерли «О понимании Соссюра Г. Гийомом и его последователями» дан краткий обзор некоторых моментов теории Гийома в их отличии от взглядов Соссюра. Отличие Гийома в понимании лингвистического знака от соссюровского автор видит в том, что одна часть знака (singnifié), по Гийому, содержится в языке, а другая (signifiant) дается только в речи (discours). По мнению Вундерли, соссюровский двусторонний знак, данный в языке, распадается, разрывается и в высшей степени сомнительным образом восстанавливается на стыке языка и речи. Вундерли считает, что соссюровская дихотомия «диахрония/синхрония» не может быть приравнена к противопоставлению «глоссогения/праксеогения» у Гийома. Для Соссюра язык возникает в диахронии, для Гийома и его последователей — в глоссогении. В заключении Вундерли приходит к выводу, что Гийом заимствует у Соссюра ряд положений. Однако в одних случаях идеи Соссюра претерпевают значительное переосмысление, в других случаях сходство ограничивается терминологией.

Статья У. Рикена «Сенсуалистская критика „Речи об универсальности французского языка“ Антуана де Риваролл: некоторые аспекты связи между политикой и лингвистической теорией» касается критики У. Домергом теории «естественного» порядка слов во французском языке, отстаиваемой А. де Риваролем.

Критический обзор Б. Дэвиса посвящен книге К. Янковского. В отделе рецензий объектом внимания Т. Марки стала книга О. Семереньи. В этом разделе заслуживает внимания рецензия Д. Бартона на книгу «Антология работ Бодуэна де Куртенэ: начало структурного языкознания» [2].

Из статей второго выпуска, посвященного Дж. Бонфанте, следует отметить работу В. Салмон „Исследование о настоящем алфавите и философском языке“ Дж. Уилкинса: критики и продолжатели». Указанное сочинение, по мнению автора статьи, в истории английского языкознания примечательно тем, что в 1668 г. в нем был поставлен вопрос о создании искусственного языка. Приводится также история написания этого сочинения. К. Майнер в статье «Джон Элиот Массачусетский и становление американского языкознания» считает, что миссионер Дж. Элиот из Массачусетса (1604—1690) является истинным основателем американской лингвистики, ибо его работа «Начала индейской грамматики» («The Indian grammar begun», 1666) представляет первое научное исследование «экзотического» языка натик (Natick), проведенное на основе морфофонемной транскрипции.

Большая обзорная статья Л. Келли посвящена анализу развития грамматической мысли в период средневековья, особенно в XIII в.[3] Работы этого периода, как утверждает Келли, характеризуются объяснительным, а не описательным подходом к фактам традиционной грамматики. К этому обзору примыкает рецензия Ф. Диннена на книгу Я. Пинборга [4], в которой автор изучает философию логики и связанные с ней средневековые концепции значения.

Вообще к числу достоинств журнала следует отнести тематическую подборку проблемно-аналитических и обзорных статей. Э. Кёрнер обещает следовать этому принципу и в дальнейшем. Так, один из ближайших номеров журнала будет посвящен основам лингвистической теории Ф. Соссюра, а в обзорных статьях будут анализироваться книга «Историография языкознания» и сборник «История лингвистической мысли и современное языкознание» под ред. Г. Парре (H. Parret).

Третий выпуск журнала, посвященный Ж. Телегди, открывается интересной статьей И. Константинеску «Джон Уоллис (1616—1703)», в которой рассматривается деятельность одаренного ученого и выдающегося математика, автора «Грамматики английского языка» (1653). В этой

---

[1] См.: E. Koerner, The importance of F. Techmer's «Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft» in the developement of general linguistics, «Studies in the history of linguistics», I, Amsterdam, 1973. Реферат этой работы см. в РЖ «Общественные науки за рубежом. Серия 6. Языкознание», 1975, 2.

[2] См.: K. R. Jankowsky, The neogrammarians. A revaluation of their place in the development of linguistic science, The Hague — Paris, 1972; O. Szemerényi, Richtungen der modernen Sprachwissenschaft. Von Saussure bis Bloomfield, Heidelberg, 1971; E. Stankiewicz, A Baudouin de Courtenay anthology, Bloomington — London, 1972.

[3] Ср. G. J Bursill-Hall, Speculative grammars of the middle ages, The Hague, 1971; Thomas of Erfurt, Grammatica speculativa, London, 1972.

[4] См.: J. Pinborg, Logik und Semantik im Mittelalter, Stuttgart, 1972.

книге Дж. Уоллис первым дал систематическое описание места и способа артикуляции всех английских звуков, представив фонетику английского языка как систему звуков. Другой отличительной особенностью «Грамматики» Уоллиса является его утверждение о том, что английские предлоги выполняют роль показателей падежа и представляют собой «поверхностную» реализацию падежного значения. Небезынтересно отметить, что сам Уоллис в предисловии к своей грамматике писал, что авторы грамматики Пор-Ройяля А. Арно и К. Лансло позаимствовали его метод исследования и близко ему следовали.

В статье П. Салмона «Начало морфологии» прослеживается история становления сравнительно-исторического метода, на возникновение которого большое влияние оказали биологические исследования. У. Слагле (U. Slagle) в статье «Влияние Канта на лингвистическое мышление Гумбольдта» отмечает, что познавательные и воспринимаемые универсалии Канта сыграли решающую роль в становлении лингвистической теории Гумбольдта. В книге «О различии строения человеческих языков...» Гумбольдт выделял две отличающиеся друг от друга категории — индивидуальные объекты или понятия и универсальные отношения. Эти категории основываются на универсальных формах восприятия и логическом синтаксисе понятий. Гумбольдт рассматривает пространство и время как чистые формы восприятия (the pure forms of perception). Именно вслед за Кантом, отмечает Слагле, Гумбольдт подчеркивает важность пространственных отношений в конкретной репрезентации внечувственных отношений. В советской лингвистической литературе высказывалась, на наш взгляд, справедливая мысль о необоснованном сведении всех лингвистических идей Гумбольдта к идеям Канта [5].

В отделе рецензий этого номера помещены рецензии П. Моэра (P. Moher) на книги М. Бирвиша и Т. Гарднера, а также рецензия Дж. Хьюсона на книгу Ф. Ковача «Лингвистические структуры и лингвистические законы» [6].

Во всех трех выпусках первого тома журнала помещена составленная Э. Кёрнером аннотированная библиография по истории языкознания за период с 1822 по 1972 г. Эта библиография включает 258 наименований и представляет исключительную ценность для историка языкознания.

Интересно сообщение Кёрнера о предполагаемом издании двухтомного сборника, посвященного жизнеописанию западных лингвистов, который явится дополнением к ранее изданному [7]. Приходится выразить сожаление, что западные языковеды — составители антологий по истории языкознания — упорно игнорируют русских языковедов и их вклад в историю мировой лингвистики. В сборнике «Портреты лингвистов» под ред. Т. Себеока помещены очерки, посвященные И. А. Бодуэну де Куртенэ, С. О. Карцевскому и Н. С. Трубецкому (автор — Р. Якобсон); в предполагаемом двухтомнике намечено опубликовать очерки о Н. В. Крушевском, В. В. Радлове, А. Х. Востокове, Ф. Ф. Фортунатове. Для западных языковедов были и продолжают оставаться неизвестными лингвистические взгляды таких корифеев русской науки о языке, как М. В. Ломоносов, Ф. И. Буслаев, И. И. Срезневский, А. А. Потебня, М. М. Покровский и др. За последнее время за рубежом появилось много работ по истории языкознания, но о деятельности русских языковедов в них практически ничего не говорится.

Вместе с журналом издаются сопровождающие его серии: серия «Исследования по истории языкознания»; серия «Классики языкознания, 1800—1925» (в этой серии, выпускаемой в Амстердаме, фотомеханическим способом переиздаются классические работы по языкознанию Ф. Шлегеля, Р. Раска, Ф. Боппа, Б. Дельбрюка, А. Потта, Н. Крушевского) и серия «Современные исследования по лингвистической теории», первый номер которой «Трансформационно-порождающая парадигма и современная лингвистическая теория» содержит разделы «Синтаксис и семантика», «Фонология и морфология», «Лингвистическая теория и философия языка», «Эпистемология и история языкознания», в которых опубликованы статьи Д. Болинджера, А. Маккая, Р. Антиллы, Д. Хаймза и др.

Журнал «Historiographia linguistica» заслуживает самого пристального внимания со стороны советских языковедов, ибо он восполняет значительные лакуны в истории мировой лингвистики. Хотелось бы выразить пожелание, чтобы в журнале, претендующем на международную значимость, публиковались материалы и сообщения, посвященные истории русского языкознания.

Ф. М. Березин

---

[5] См., например: Г. В. Рамишвили, Некоторые вопросы лингвистической теории В. Гумбольдта. АКД, Тбилиси, 1960.

[6] См.: M. Bierwisch, Modern linguistics: its development, methods and problems, The Hague, 1971; Th. Gardner, *Hauptströmungen der modernen* Linguistik, Göttingen, 1973; F. Kovács, Linguistic structures and linguistic laws, Budapest, 1971.

[7] См.: «Portraits of linguists», ed. by Th. Sebeok, 1—2, Bloomington — London, 1966.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1976

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

3 декабря 1974 г. на философском ф-те Карлова ун-та состоялась научная конференция —«Академик Л. В. Щерба и современное языкознание», посвященная памяти выдающегося советского лингвиста и проведенная в связи с 30-й годовщиной со дня его смерти. Организаторы конференции видели ее цель в том, чтобы раскрыть многогранную деятельность ученого, труды которого оказали положительное влияние и на развитие языкознания в Чехословакии (особенно после 1945 г.) и не потеряли своей актуальности в наши дни.

Многосторонняя научная и педагогическая деятельность Л. В. Щербы и его большая научно-организационная работа были освещены в докладе В. Барнета «Личность Л. В. Щербы и его деятельность». Докладчик напомнил о пребывании Л. В. Щербы в Праге в 1909 г., которое, по его мнению, способствовало пробуждению интереса к богемистике в Ленинградском ун-те. В. Барнет обратил внимание на близость некоторых аспектов лингвистической теории Щербы и тезисов Пражской лингвистической школы, отметил влияние его лингвистической концепции на развитие чехословацкой русистики после 1945 г. Выступавший высоко оценил динамическое понимание Л. В. Щербой синхронного изучения языка, остановился на его общелингвистических взглядах (в частности, на преемственности языка у данного языкового коллектива), которые способствовали более современному решению проблем индоевропеистики. Характерный для Щербы акцент на изучении проблематики современных живых языков, по мнению докладчика, повысил интерес к речевой деятельности и к вопросам синтаксиса и семантики. В докладе была подчеркнута также значимость лингвистического эксперимента в языкознании как важного элемента метода Щербы. Однако сопоставительный метод Щербы, по мнению докладчика, еще не получил должной оценки.

Я. Попела в докладе «Подход Щербы к языковой действительности» рассматривал понятия языка, языкового смешения и нормы литературного языка в трудах Л. В. Щербы. Выступавший указал на преимущества трех аспектов языковых явлений у Щербы по сравнению с дихотомией «язык — речь» у Соссюра. Докладчик отметил важность метода эксперимента и так называемого негативного языкового материала при изучении живых языков, подчеркнул значимость выдвигаемого Щербой требования адекватного описания грамматики и словаря, указал на направленность его лингвистической деятельности против формалистических методов в лингвистике. Я. Попела отметил, что Щерба был близок к современному пониманию динамической синхронии, однако, по мнению докладчика, он переоценил роль смешения в развитии языковой системы. Далее докладчик подчеркнул редкостное сочетание теории и практики у Щербы.

В докладе М. Ромпортла «Л. В. Щерба как фонетист» рассматривался вопрос об отношении Щербы к современной ему чешской фонетике, т. е. к Й. Хлумскому и А. Фринте. Придерживаясь первоначально взглядов Бодуэна де Куртенэ, учеником которого он был, Л. В. Щерба от исходной фонетической позиции пришел к фонологическим оценкам, к наброскам фонологической системы исследуемого языка и к фонологической теории. Его обширный критический анализ монографии А. Фринты «Новочешское произношение» содержит ряд поправок, до сих пор сохраняющих значение для чешской фонетики. М. Догалска в докладе «„Фонетика французского языка“ Щербы» специально отметила важность предлагавшейся Щербой методики обучения фонетике французского языка в сравнении с русским языком. Я. Моравец в докладе «По-

нятие фонемы у Щербы и эволюция этого понятия» особенно высоко оценил в фонологической концепции Щербы (и в ее дальнейшей разработке ленинградской школой) внимание к звуковой материи, в чем докладчик видит его близость к фонологической концепции пражской школы. Однако, по мнению выступавшего, ленинградская школа не придавала достаточного значения различию между центральными и периферийными явлениями звуковой системы языка. Я. Моравец полагает, что при сопоставительном изучении русского и чешского, словацкого и украинского языков выявляется преимущество трактовки фонемы в концепции Щербы. Оно проявляется также в диахроническом исследовании и при морфонологическом описании. Поэтому докладчик рекомендует и в чехословацкой русистике развивать теоретические положения Щербы по вопросам фонетики.

В. Грабе в докладе «О грамматической теории Л. В. Щербы и ее актуальности в наши дни» высоко оценил вклад Щербы в теорию грамматики, в теорию частей речи, в понимание второстепенных членов предложения. Новаторское понимание грамматики у Щербы как совокупности правил речевого поведения (лучше — речевой деятельности), охватывающее и фонетику, ставит перед лингвистами, по мнению докладчика, очень трудную, но и необычайно перспективную задачу выработки комплексного набора правил речевой деятельности, который включал бы как правила выбора слов, так и правила образования форм и их фонетической реализации. Комментируя взгляды Щербы по вопросу о частях речи, докладчик, однако, не признает *это* связкой. Рассматривая синтаксическую теорию Щербы, В. Грабе возражает против трактовки Щербой некоторых определений как дополнений. Используя представленное у Щербы понятие глагольного управления, докладчик решает вопрос о том, каким членом предложения является дательный в одночленных инфинитивных предложениях. В заключение своего выступления докладчик подчеркнул недогматический характер грамматической теории Л. В. Щербы.

Лексикографической и лексикологической теории Л. В. Щербы были посвящены доклады К. Хлупачовой «Акад. Щерба как лексикограф» и Я. Шабршулы «Значение лексикологической теории и лексикографической практики для теории перевода». В названных докладах было ясно показано, что Щерба внес большой вклад в практику лексикографической работы, поднял ее до теоретического уровня, что его русско-французский словарь имел огромное значение для создания двуязычных словарей. Теоретические принципы, выдвинутые Л. В. Щербой, оказали огромное влияние на последующую лексикографическую теорию и практику (в частности, в Чехословакии). Например, его категорическое требование — работать при установлении значения с контекстом — в настоящее время является само собой разумеющимся. По мнению К. Хлупачовой, Щерба осознавал те задачи, которые современная лингвистика пытается решать при помощи объективных методов: доказать существование лексико-семантической системы в словарном составе языка и показать сумму значений слова как систему. Крайне актуальной задачей, поставленной Щербой, докладчица считает синхронно-сопоставительное изучение словарного состава разных языков с точки зрения принципов номинации. Я. Шабршула в своем выступлении остановился на вкладе Щербы в теорию перевода.

Я. Петр в докладе «Л. В. Щерба как славист и сорабист» показал, что Щерба был славистом, делавшим упор на изучение современных живых языков, используя при этом сопоставительный метод и метод эксперимента. Основное внимание докладчик уделил монографии Л. В. Щербы «Восточнолужицкое наречие» (1915). Я. Петр не только изложил историю возникновения и показал оригинальность и значение этого исследования, но и отметил его недостатки. Наряду с этим докладчик напомнил выводы Щербы о влиянии одного языка на другой, а также его интересную трактовку «поведения» лексики в двуязычной среде.

К. Кожевникова в докладе «Идеи Щербы о лингвостилистическом анализе текста» охарактеризовала методологический подход Щербы — поверхностный анализ языкового уровня текста (анализ звукового плана, фразеологии, выбора из имеющихся синонимических возможностей) служит раскрытию смысловой структуры текста и его идейно-философского плана, который поставлен в связь с литературной ситуацией в широком смысле слова. Хотя Щерба опубликовал только две работы, посвященные интерпретации поэтического текста, докладчица отметила его новаторский вклад в становление современной лингвостилистики и теории лингвостилистической интерпретации поэтического текста, в русское стиховедение и в теорию художественного перевода.

М. Затовканюк в докладе «Л. В. Щерба и методика изучения иностранных языков» остановился на книге Щербы «Преподавание иностранных языков в средней школе», подчеркнул его заслуги в научной организации изучения иностранных языков в дореволюционной России и в СССР, его способность точно и понятно формулировать актуальные проблемы лингвистической методики, отметил достоинства его сопоставительного метода. В заключение докладчик констатировал близость трудов Щербы в дан-

ной области к чешской лингвистической традиции.

Все доклады конференции будут опубликованы в третьем томе «Трудов по истории славистики», издаваемых Карловым университетом. В качестве приложения к докладу Я. Петра впервые будут опубликованы девять писем Щербы видному лужицкому ученому Э. Муке.

Я. Попела (Прага)
Перевел с чешского *Л. Н. Смирнов*

*

15—18 сентября 1975 г. в Самарканде состоялась II республиканская конференция по актуальным проблемам русского словообразования, организованная Самаркандским гос. пед. ин-том им. С. Айни. Конференция продолжила обсуждение проблем, выдвинутых на I конференции по русскому словообразованию, которая проходила в этом же институте в 1972 г.

Со вступительным словом выступил ректор Самаркандского пед. ин-та Г. И. Икрамов. Он приветствовал участников конференции и выразил уверенность, что II конференция по проблемам русского словообразования будет способствовать объединению сил ученых, работающих в этой области и окажет положительное воздействие на развитие дериватологии у нас в стране.

На конференции были представлены доклады по основным теоретическим и практическим проблемам словообразования: взаимодействие словообразования с другими ярусами языка, морфемный состав и словообразовательная структура слова, членимость и производность слова, семантические отношения слов в словообразовательной паре и словообразовательном гнезде, способы словообразования, словообразовательные процессы, проблемы морфонологии, окказиональное словообразование, вопросы составления морфемных и словообразовательных словарей.

Проблеме связи словообразования и ономасиологии было посвящено несколько докладов. Д. Н. Шмелев (Москва) в докладе «Словообразование и способы номинации» указал на важность изучения способов номинации, в число которых включается словообразование. В каждом языке существует своя система обозначений, которая позволяет ему реагировать на все внеязыковые новшества и давать названия всем новым понятиям и явлениям, используя средства и возможности данного языка. Например, каждый глагол имеет свою систему актантов, т. е. существительных, обозначающих процесс действия, его результат, объект действия (прямой или косвенный), его субъект, т. е. производитель действия, инструмент действия, место действия и т. п. Для выражения каждого из этих актантов могут быть использованы разные языковые средства: актант может быть производным от этого глагола, т. е. быть образованным от той же глагольной основы, или может быть произведенным от другой основы, или может быть использовано непроизводное существительное с другим корнем (в частности, заимствованное) и т. п.

Е. С. Кубрякова (Москва) в докладе «Еще раз о месте словообразования в системе языка» рассмотрела словообразование как часть ономасиологии с точно очерченными формальными границами. Словообразование — это область создания и функционирования однословных наименований, вторичных по природе, мотивированных по содержанию. Л. А. Шкатова (Челябинск) в докладе «Словообразование и ономасиология» также утверждала, что ономасиологию (науку о названии) следует рассматривать в тесной связи со словообразованием (наукой о структуре слов и законах их образования).

Взаимодействие словообразования и грамматики, а именно глагольной деривации и категории залога посвятили свои доклады Д. С. Бегаджиева (Самарканд) «Образование страдательного залога двухвидовых глаголов при помощи постфикса *-ся*» и Ю. Ю. Авалиани (Самарканд) «О влиянии глагольной приставочной деривации на образование страдательного залога в современном русском языке». В докладе Ю. Ю. Авалиани были рассмотрены вопросы: в какой мере приставочное словообразование способствует формированию пассивных форм и какие именно семантические группы глаголов способствуют развитию этой категории.

О взаимодействии словообразования и лексикологии говорилось в докладах О. М. Соколовой (Симферополь) «Некоторые аспекты взаимообусловленности мотивационно-словообразовательной и лексической систем языка», Д. Райновой (Болгария) «Структурно-семантическое описание лексических систем» и З. У. Блягоза (Майкоп) «Зависимость словообразовательной активности глаголов от характера их лексического значения», в последнем докладе анализировались разные значения многозначных глаголов перемещения с точки зрения словообразовательных возможностей производящих глагольных основ, выступающих в том или ином значении.

Ряд докладов был посвящен определению и уточнению основных словообразовательных понятий и терминов. А. Н. Тихонов (Самарканд) в докладе «Морфемный состав и словообразовательная структура слова» определил и разграничил морфемный и словообразова-

тельный анализ, привел примеры расхождения в морфемном составе слова и его словообразовательной структуре и примеры множественности словообразовательного строения слова, так, *об/рад/ова/ть/ся* : *об-радоваться* и *обрадовать-ся*. В словообразовательной структуре слова предлагается разграничивать глубинную и поверхностную структуры; в словах, характеризующихся глубинной словообразовательной структурой, одновременно выражены формально-семантические отношения слов всех предшествующих ступеней словообразования, вступающих последовательно в словообразовательные пары, например, *красить—пере-красить — перекраш-ива-ть—перекрашива-ни-е*.

Т. В. Булыгина (Москва) в докладе «Замечания к понятию регулярности морфонологических явлений в сфере словообразования» рассмотрела применительно к морфонологии кардинальное для словообразования понятие регулярности, которое является, с одной стороны, необходимым условием системного описания словообразования, а с другой — обнаружение регулярности является целью любого словообразовательного исследования.

П. А. Соболева (Москва) в докладе «Омонимия лексическая, словообразовательная и грамматическая» классифицировала все омонимы по трем признакам: наличие в слове лексической, словообразовательной или грамматической омонимии; чисто словообразовательными омонимами считались слова, в которых омонимичен только формант, например *лакейство* — сословие лакеев и *угодничество*.

В. С. Гимпелевич (Баку) в докладе «Заметки об окказиональном и потенциальном словообразовании» определил окказиональное слово как образованное при нарушении одного из трех обязательных компонентов словообразовательного типа: общности части речи производящих слов (*юбилеется*), общности словообразующего аффикса (*горбастый, тусклота*), общности словообразовательного значения производных слов (*военщина* во фразе В. В. Маяковского *на военщину нагло не показываюсь*).

Л. Л. Ким (Ташкент) в докладе «О понятии „тождества лексических значений" в синхронном словообразовании» говорил о случаях, когда имеет место так называемая синтаксическая деривация, т. е. меняется только синтаксическая функция слова.

Вопросы словообразовательной семантики, классификации мотивированных слов по семантическим признакам, установления типов смысловых отношений между мотивирующими и мотивированными словами получили широкое отражение во многих докладах конференции. И. С. Улуханов (Москва) в докладе «О некоторых принципах толкования значений мотивированных слов в толковых словарях» предложил во всяком толковании мотивированного слова выделять мотивирующую, формантную и дополнительную части. Для слов с тождественными неинвариантными аффиксами можно выработать стандартный образец (формулу) толкования, в которой переменной величиной будет мотивирующее слово, а постоянной — формантная часть. Были рассмотрены толкования производных отыменных глаголов и установлены типы семантических отношений между мотивированными отыменными глаголами и мотивирующими их именами.

З. М. Волоцкая (Москва) в докладе «Опыт описания одной словообразовательной категории» остановилась на типах семантических отношений между производными локативными именами и мотивирующими их словами. Б. М. Рощина (Ашхабад) рассмотрела смысловые взаимоотношения глаголов сопроводительного способа действия и их производящих в русском языке. Р. М. Гейсина (Уфа) доложила о соотношении значений глаголов и отглагольных прилагательных на *-чив* и *-лив*, В. А. Каращук (Ташкент) — о семантических отношениях между отнаречными темпоральными прилагательными и мотивирующими их наречиями. Типы семантических отношений между отглагольными существительными и мотивирующими их глаголами были разобраны в докладах А. В. Шубиной (Воронеж) и З. А. Монастыренко (Павлодар).

О. П. Ермакова (Калуга) в докладе «Фразеологичность семантики производных слов различных словообразовательных структур» сравнила степень фразеологичности у разных типов производных и установила, что более всего фразеологичность семантики присуща производным существительным, в меньшей степени — производным глаголам. Различие в степени фразеологичности особенно наглядно видно на примерах производных существительных и глаголов, имеющих общее мотивирующее слово: *сахарить* и *сахарник*; *солить* и *солончак*; *пылить* и *пыльник* и др.

В ряде докладов обсуждалась проблема строения словообразовательного гнезда. Т. Ф. Иванова (Москва) в докладе «Типы мотивационных отношений в лексемно-словообразовательном гнезде» сделала акцент на проблеме семантического устройства гнезда, выделила девять типов мотивационных связей лексических значений исходного слова гнезда и его производных и дала их классификацию. Строение словообразовательных гнезд глаголов движения рассматривалось в докладе А. Н. Тихонова и Э. М. Мухаммадиева (Самарканд); словообразовательные гнезда с исходным именем прилагательным со значением

цвета — в докладе С. А. Емельяновой (Самарканд); структурно-семантическое строение гнезда *рус-русс/росс* — в докладе Г. А. Абдуллаева (Самарканд); словообразовательные гнезда с исходным непроизводным наречием — в докладе Е. Н. Лагутовой (Самарканд).

Значительное количество докладов было посвящено формальному аспекту словообразования, причем отмечалось, что в большинстве случаев решение формальных вопросов невозможно без привлечения семантики. Р. М. Гейгер (Павлодар) в докладе «К вопросу о морфемном и формантном статусе аффиксоидов» показал словообразовательную роль таких морфем, как *-вод*, *-вед* и *-лог* и сделал вывод, что эти морфемы являются обычными корнями и ошибочно считать их аффиксоидами.

Ряд докладов был посвящен различным способам словообразования. В докладе В. М. Никитевича (Алма-Ата) «О деривационном аналитизме» предлагалось в качестве равноправного способа выделять аналитический способ выражения деривационного значения с помощью деривационных конструкций. А. Д. Зверев (Черновцы) в докладе «Семантический и формальный показатель производности слов» проанализировал проблему расхождения формальной и семантической производности.

В целой серии докладов исследовалась множественность словообразовательной структуры разных групп производных. Р. А. Сафарова (Самарканд) рассматривала множественность словообразовательной структуры производных прилагательных на *-ическ-ий* и *-чат-ый*, З. И. Шаталова (Ашхабад) — множественность словообразовательной структуры деминутивов и производных существительных с суффиксом *-щик/-чик*, В. Ф. Черепанова (Самарканд) — множественность словообразовательной структуры производных глаголов на *-/е-ствова-ть* и *-нича-ть*, С. Ю. Кураева (Ташкент) исследовала множественность словообразовательной структуры сложных агентивных существительных. На конференции широко были представлены доклады, посвященные специфике образования и значений производных определенного словообразовательного типа; так, в докладе Р. Х. Салимовой (Самарканд) рассматривалось суффиксальное словопроизводство в русском просторечии (на материале имен существительных), в докладе О. Денисенко (Самарканд) — словообразовательная структура прилагательных русской анатомической терминологии, в докладе Г. Н. Садовской (Самарканд) — семантика и формальное строение приставочных глаголов с префиксами *при-* и *из-* в сопоставлении с английскими эквивалентами.

Положительным фактором, способствовавшим успешной работе конференции, явилось издание сборника «Актуальные проблемы русского словообразования» (I, Ташкент, 1975, отв. ред. А. Н. Тихонов), содержащего тексты 90 докладов, присланных на конференцию, II том сборника выйдет в начале 1976 г.

З. М. Волоцкая (Москва)

CONTENTS

Articles: Topical tasks of Soviet linguistics; V. N. Jarceva (Moscow). Typology of languages and the problem of universals; **Discussions:** A. Vašek (Brno). Linguistic carpathology; N. D. Arutiunova (Moscow). Reference of the noun and structure of the sentence; V. M. Nikitevič (Alma-Ata). Derivational systems and the subject-matter of derivational grammar; O. A. Krylova (Moscow). The role of determinants in terms of communicative syntax; I. G. Torsujeva (Moscow). Theory of utterance and intonation; I. P. Raspopov (Voronež). What is after all the real meaning of the «structural pattern of the sentence»?; A. S. Lvov (Moscow). Proto-Slavonic stratum of the Old Slavonic word-stock; **Materials and notes:** V. Y. Myrkin (Arkhangelsk). Text, subtext and intonation; K. I. Logačev (Leningrad). The language and text of the originals of the oldest Slavonic translations; Z. D. Popova (Voronež). Greek influence on the case-system and syntactic government of prepositions in Old Slavonic and Old Russian; Y. I. Čaikina (Cerepovec). From the history of dialect-borders in the light of the colonisation of Northern Russia; S. S. Djamantajeva (Alma-Ata). Morphological features of the verbal word-forms in Kazakh; **Reviews.**

SOMMAIRE

Articles: Tâches actuelles de la linguistique soviétique; V. N. Jarceva (Moscou). Typologie linguistique et problème d'universaux; **Discussions:** A. Vašek (Brno). Carpatologie linguistique; N. D. Arutiunova (Moscou). Corrélation referentielle du nom et structure de la proposition; V. M. Nikitevič (Alma-Ata). Systèmes derivationnels et l'objet principal de la grammaire derivationnelle; O. A. Krylova (Moscou). Éléments déterminatifs à la lumière de la syntaxe communicative; I. G. Torsujeva (Moscou). Théorie de l'énoncé et l'intonation; I. P. Raspopov (Voronež). Qu'est-ce que le modèle structurel de la proposition?; A. S. Lvov (Moscou). La couche proto-slave du lexique vieux slave; **Matèriaux et notices:** V. Y. Myrkin (Arkhangelsk). Texte, sous-texte et intonation; K. I. Logačev (Léningrad). Langue et texte dans les originaux des plus vieux traductions slaves; Z. D. Popova (Voronež). L'influence grecque sur le système des cas et le régime syntactique des prépositions en vieux slave et en vieux russe; Y. I. Čaikina (Cerepovec). De l'histoire des frontières dialectales créées par la colonisation de la Russie septentrionale; S. S. Djamantajeva (Alma-Ata). Caractéristique morphologique des formes verbales en kazakh; **Comptes-rendus.**

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии — 10 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

6. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

7. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два — три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте, каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

8. Непринятые рукописи, как правило, не возвращаются.

9. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

10. Хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни. Объем хроникальной заметки — 3 — 5 стр.

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

Сдано в набор 29/XII-1975 г. Т-00658 Подписано к печати 11/III-1976 г. Тираж 7200 экз.
Зак. 3241 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл. печ. л. 14,0 Бум. л. 5 Уч.-изд. л. 15,7

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10